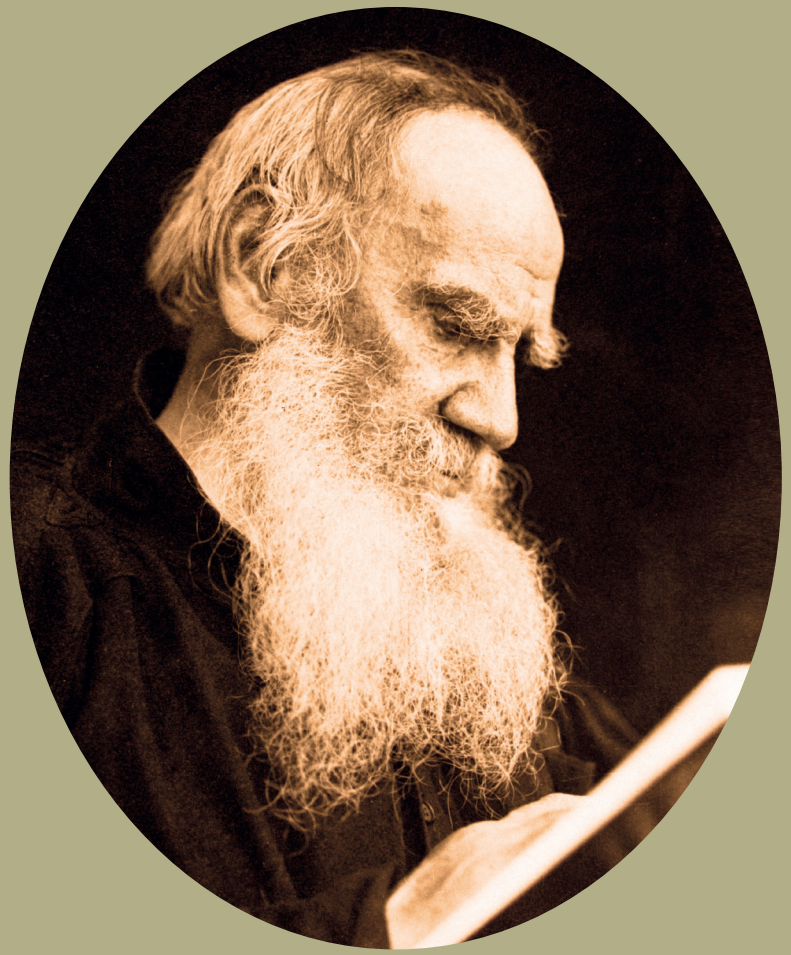
9 785990 660397

МАТЕРИАЛЫ ТОЛСТОВСКИХ ЧТЕНИЙ 2014 г. В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

Государственный музей Л.Н.Толстого



МАТЕРИАЛЫ

ТОЛСТОВСКИХ ЧТЕНИЙ 2014 г.
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

УДК 821.161.1.09:069(06)
ББК 83.3(2=411.2л61я431)
М33

***Ответственный редактор* Л. В. Гладкова.**

Составители:
Л. Г. Гладких, Ю. В. Прокопчук.

М33 Материалы Толстовских чтений 2014 г. в Государственном музее Л. Н. Толстого / отв. ред. Л. В. Гладкова; сост. Л. Г. Гладких, Ю. В. Прокопчук. — Москва : Оригинал-макет, 2015. — 336 с.

ISBN 978-5-9906603-9-7

В сборник вошли материалы научных сессий, проходивших в Государственном музее Л. Н. Толстого в 2014 г.

УДК 821.161.1.09:069(06)
ББК 83.3(2=411.2л61я431)

Издательство не несет ответственности за достоверность, полноту и актуальность содержания произведения. Из содержания этого произведения не могут вытекать никакие правовые притязания к Издательству.

Научное издание

МАТЕРИАЛЫ ТОЛСТОВСКИХ ЧТЕНИЙ 2014 г.
В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ Л. Н. ТОЛСТОГО

Верстка: О. В. Косенкова.

Оригинал-макет подготовлен компанией ООО «Оригинал-макет»
www.o-maket.ru; тел.: (495) 726-18-84
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 77.99.60.953.Д.004173.04.09 от 17.04.2009 г.
Подписано в печать 05.11.2015. Формат 60×90 $^{1}/_{16}$.
Печать цифровая. Печ. л. 21,0. Тираж 200 экз. Заказ №

9 785990 660397

ISBN 978-5-9906603-9-7

© Государственный музей Л. Н. Толстого, 2015
© Авторы статей, 2015

Содержание

РОМАН «ВОСКРЕСЕНИЕ» – ВЕРШИНА ТВОРЧЕСТВА ПОЗДНЕГО ТОЛСТОГО

А. Г. Гродецкая
Рождение «Воскресения».
Ранние незаконченные редакции 9

Е. Д. Мелешко, В. Н. Назаров
Грех и раскаяние в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» 15

Е. А. Масолова
Дискурсивные стратегии автора
в романе Толстого «Воскресение» 25

Г. А. Шпилевая, В. А. Бондаренко
Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» в свете проблемы
«социальной вины» (к характерологии русской литературы
второй половины XIX века) 33

О. В. Ланская
Языковое воплощение пространства тюрьмы
в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» 43

П. И. Мельников (Давыдов)
Опыт филологического (лингвостилистического) анализа
фрагмента из романа Л. Н. Толстого «Воскресение» 50

И. Ю. Матвеева
Упоминание о русских художниках в ранних редакциях
романа Л. Н. Толстого «Воскресение» 55

А. Н. Набиуллина
Роль художественной детали в изображении внутреннего мира
главных героев романа Л. Н. Толстого «Воскресение» 66

А. С. Кондратьев
Роман «Воскресение» как духовное завещание Л. Н. Толстого 74

Г. М. Евтушенко
Чтение варианта романа Л. Н. Толстого «Воскресение» в Ясной Поляне (по материалам воспоминаний Ильи Гинцбурга) 82

ПРОБЛЕМЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО

М. В. Строганов
О пресловутых противоречиях Л. Толстого 91

В. Б. Ремизов
Л. Н. Толстой и славянский вопрос в контексте проблем современной эпохи 99

И. Ф. Салманова
От «Исповеди» Л. Н. Толстого к исповедальной драме 130

Ю. В. Прокопчук
«Истина в движении»: апория Зенона «Ахиллес и черепаха» в трудах Л. Н. Толстого и П. П. Николаева 140

К. А. Нагина
Дом сумасшедших как метафора человеческого существования в «Исповеди» Л. Н. Толстого 147

Е. Ю. Полтавец
«Божеское» и «человеческое» в танатопоэтике Л. Н. Толстого: Андрей Болконский и Анатолий Светлогуб 156

В. А. Недзвецкий
Л. Н. Толстой как великий гражданин России (по материалам книги И. В. Петровицкой «Лев Толстой — публицист и общественный деятель») 165

ПОЗДНИЙ ТОЛСТОЙ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ: ТВОРЧЕСТВО, ВЕРА, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С. В. Панов
Моральный эксперимент в поэтике позднего Толстого: динамика аффектов, суждение о долге и рождение идеолога 183

Ю. В. Фомина
Невербальный образ ложной жизни в повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» ... 197

М. А. Можарова
Художественное творчество Л. Н. Толстого в оценке И. С. Аксакова ... 201

В. А. Лещева
Притча как способ выражения авторского начала в трактате Л. Н. Толстого «В чем моя вера?» ... 207

Н. В. Волохова
Общественная деятельность Л. Н. Толстого и его публицистика периода участия в московской переписи 1882 г. ... 213

И. И. Сизова
Современники Л. Н. Толстого о комедии «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (по материалам фонда И. И. Горбунова-Посадова в РГАЛИ) ... 219

И. А. Гордеева
«Все люди — братья»: российские радикальные пацифисты во время Первой мировой войны ... 227

Е. Н. Строганова
«Искать в себе, а не вне себя...» Л. Н. Толстой и И. П. Ювачев ... 236

М. А. Кривцова
Встречи с Л. Н. Толстым и М. О. Меньшиковым (по материалам писем воронежца И. В. Гуляева) ... 243

Г. В. Жирков
«Посредник» — издательство нового типа: союз «совместных» редакторов ... 249

И. Б. Павлова
М. Е. Салтыков-Щедрин и издательство «Посредник» ... 262

Е. П. Гриценко
Толстые — издатели книг для народа ... 267

Н. И. Гаврилова
Константин Михайлович Сибиряков: штрихи к биографии (к вопросу о круге деятелей издательства «Посредник») ... 277

Т. М. Осипова
И. А. Беневский корреспондент и адресат издательства «Посредник» (по документам архива И. А. Беневского) 286

Е. Д. Михайлова
Письма И. И. Горбунова-Посадова В. Д. Бонч-Бруевичу первых послереволюционных лет..... 295

В. Н. Чисников
«Дело» о тайном письме киевского арестанта А. А. Васильева графу Льву Толстому 327

Роман «Воскресение» — вершина творчества позднего Толстого

А. Г. ГРОДЕЦКАЯ
г. Санкт-Петербург

Рождение «Воскресения». Ранние незаконченные редакции

Генезис «Воскресения» детально изучен, правда, изучение это проходило в уже достаточно отдаленные времена. Среди ученых, занимавшихся творческой историей романа, прежде всего должно быть названо имя Николая Каллиниковича Гудзия, подготовившего основной текст «Воскресения», его редакции и варианты для Юбилейного 90-томного издания и позднее, в соавторстве с Е. А. Майминым — для серии «Литературные памятники». Нельзя не вспомнить и заслуженные имена В. А. Жданова, Э. Е. Зайденшнур, К. Н. Ломунова и другие [1].

Особенность поздних толстовских произведений состоит в том, что и хронология, и обстоятельства работы над текстами подробно документированы — в дневниках и письмах самого Толстого, в переписке и мемуарах его семьи и окружения. Для «Воскресения» документирующим материалом служат также письма и воспоминания непосредственных участников творческого процесса — А. Ф. Кони, подарившего Толстому сюжет, В. Г. Черткова, принимавшего участие в переписывании, редактировании и издании текста, А. Ф. Маркса, издателя-редактора «Нивы» и первых отдельных изданий романа, Р. И. Сементковского, державшего в «Ниве» его корректуру, Л. О. Пастернака, его иллюстратора. Материалы к *творческой истории* «Воскресения» многочисленны. Материалы же *истории* или *генезиса текста* — в буквальном смысле слова необъятны, поскольку и рукописи, и правленые корректуры «Воскресения» сохранились почти полностью.

Объем рукописей и корректур романа — 7044 листа (тогда как «Войны и мира» — 5202 листа, «Анны Карениной» — 2651 лист)[2]. Однако это без учета оборотов листов в автографах... Рукописный фонд «Воскресения» в действительности значительно больше [3].

В известной статье «Творческие стимулы Л. Толстого» Б. М. Эйхенбаум признавался: «Первое ощущение редактора, приступающего к ра-

боте над рукописями Толстого,— паника. <...> Он берет небольшую вещь — «Крейцерову сонату», которая в печати занимает около пяти печатных листов; ему приносят целый тюк рукописей: 800 листов. <...> А что делать с такой вещью, как «Воскресение»? Рукописи этого романа занимают целый сундук»[4].

Проблема, «что делать... с «Воскресением»», была решена Н. К. Гудзием в 32-м и 33-м томах Юбилейного издания. Помимо подготовки основного текста, он описал и систематизировал «огромный и сложнейший», по его словам, рукописно-корректурный фонд романа, разграничив и реконструировав *восемь* его основных редакций, *две* незаконченные и *шесть* законченных.

Толстой начал работу над «Воскресением» в декабре 1889 г. Первая рукопись датирована 26 декабря. Это и есть, собственно, первая незаконченная редакция будущего «Воскресения». Рукопись в 35 листов не имеет названия, она пока — «Коневская» и в дневниках Толстого упоминается и как повесть, и как рассказ. Над первой редакцией Толстой продолжил работу в 1890 г., создав вторую, также оставшуюся незавершенной.

Вновь к «коневскому» сюжету он на короткое время вернулся в 1895 г. Но только летом 1898-го в связи с остро вставшей проблемой финансирования переселения духоборов погрузился в работу надолго. В октябре 1898 г. был заключен договор с Марксом о печатании повести «Воскресение» (пока это еще повесть) объемом примерно в 12 печатных листов. В марте 1899 г. стартовала публикация в «Ниве», закончившаяся в декабре.

И в течение всего года, параллельно с публикацией, Толстой работает непосредственно в гранках. Объем текста — теперь уже романа — возрастает с 12 до 30 печатных листов, а его третья (сибирская) часть фактически в гранках «Нивы» и создается.

Рукописи романа открывают поразительные вещи. Как это ни парадоксально, но в наборной рукописи (т.е. осенью 1898 г.) вообще нет политических заключенных, есть только уголовные. И лишь в эпилоге намечено, что в Сибири Катюша выходит замуж за бывшего политического каторжанина Аносова (позднее он станет Вильгельмсоном и затем Симонсоном), который служит землемером и при этом «совершенно освободился от напущенного на себя революционерства и не мог даже подумать, зачем оно ему»[5]. То есть все, что связано с политическими заключенными, входит в роман только на последнем этапе работы над текстом — в 1899 г.!

Корректурный этап, вне сомнений, самый сложный этап движения текста. Гранки романа из-за не прекращавшейся правки перенабирались по несколько раз. Отчаянные письма и телеграммы издателя «Нивы» Маркса лета и осени 1899 г. не уступают известным письмам

П. И. Бирюкова, державшего корректуру «Войны и мира». Л. О. Пастернак, готовивший иллюстрации к «Воскресению», не зная деталей дальнейшего развития сюжета, вынужден был постоянно обращаться с письмами к Сементковскому. Так, например, 16 сентября 1899 г., впервые узнав, что у романа появилась третья часть, он писал ему: «... вот для меня новость?! — значит, еще и 3-я часть. Сколько же глав?»[6].

Одновременно с печатанием в «Ниве», где роман жестко цензуровался[7], он в течение 1899 г. выходил в бесцензурном варианте в собственном издательстве Черткова «Свободное слово» в Лондоне. По договоренности с Марксом Черткову отсылались дубликаты корректурных листов «Нивы» с внесенной Толстым правкой, но без цензурных изъятий и искажений. Цензурная история «Воскресения» — самостоятельный большой сюжет.

Однако вернемся к ранним редакциям.

Первая редакция «Воскресения» во многих отношениях замечательна. Она сохранилась в виде автографа с обильной, неодновременной правкой Толстого (Рук. 1)[8] и авторизованной *неполной* копии, выполненной Е. И. Поповым (Рук. 2), педагогом и переводчиком, близким Толстому в последние двадцать лет его жизни.

Текст этой редакции по автографу, без воспроизведения зачеркнутых вариантов, был впервые опубликован Н. Н. Гусевым в 1928 г.[9], и тот же текст, с расшифровкой крупных зачеркнутых фрагментов, помещен в 33-м томе (33, 3–18)[10], позднейшая толстовская правка в Рук. 2 (копии Попова) не воспроизводилась.

Сюжет «коневской» повести в первой редакции несложен. Валерьян Юшкин (так зовут будущего Нехлюдова) по дороге в армию (речь идет о Крымской войне) заезжает в имение к горячо любящим его тетушкам, где между ним и воспитанницей тетушек Катюшей возникает первая, свежая и чистая влюбленность, вместе с которой возникает и сильное физическое влечение. Антиномизм *духовного/животного* уже в этой редакции открыто обозначен.

Валерьян приезжает к тетушкам в страстную пятницу, и его согрешение, насилие над Катюшей происходит в ночь с воскресенья на понедельник, после Пасхи и пасхальной заутрени в церкви. Эти смыслообразующие подробности сохранятся во всех рукописях и корректурах вплоть до окончательного текста. Они в результате определят выбор и названия романа, и евангельских эпиграфов, и многочисленных евангельских аллюзий. Название — вместе с единичным эпиграфом (Ин 11, 25, 26.)»Я есмь воскресение и жизнь...»[11] — появится во 2-й незаконченной редакции, в 1890 г.

На следующий день после греха с Катюшей Валерьян уезжает, она же бежит к поезду, чтобы или вернуть его, или — покончить с собой.

Три центральных эпизода 1-й редакции поразительно близки по содержанию к окончательному тексту. Это приезд Валерьяна и вспыхнувшая влюбленность, пасхальная служба и христосование у церкви и эпизод, когда Валерьян смотрит на Катюшу с улицы через окно девичьей. Здесь — впервые возникает звуковая картина ледохода на реке: «Там, на реке, в тумане, шла неустанная тихая работа, то сопело что-то, то трещало, то осыпалось, то звенело — ломало лед». В звуках реки — не только борьба и ломка, *звенит* в душе Валерьяна — и жалость к Катюше. Здесь, как всегда у Толстого, человеку напоминает о себе мыслящее, живое Мироздание, творящая Природа, и созидающая, и разрушающая.

Подробно прописан эпизод, когда в ночь после отъезда Валерьяна Катюша бежит на железную дорогу. Поезд проходит мимо, и она Валерьяна не видит, в отличие от более поздних редакций. Эпизод появления поезда насыщен инфернальной живописью: «Только что она дошла до края откоса, и поезд с своими тремя глазами показался из-за выемки. Он засвистел, как ей показалось, увидав ее, но ветер подхватил тотчас же и дым и звук и отнес их. И вот беззвучно выдвинулся паровоз, за ним темный вагон, и одно за другим побежали светящиеся окна». Поезд проходит, однако «несколько времени слышались еще звуки, светились огни и пахло дымом...».

Далее кратко изложена история Катюши: беременность, изгнание, роды, вынужденное сожительство... После окончания войны Валерьян пытается ее разыскать, однако узнав, что она «испортилась», забывает о ней. Дается цепочка фактов его холостой жизни в течение двенадцати лет. И наконец, мы видим его за утренним кофе в гостиной, готовящимся к сессии окружного суда. И — входящим в залу суда. На этом текст 1-го автографа обрывается.

Первый автограф — единственная *полная* рукопись в огромном рукописном фонде романа. Уже его копия, копия Попова, демонстрирует специфику поздних толстовских рукописей — их «текучесть». Как отдельные листы, так и те редкие фрагменты, которые остались не правлеными (они вырезаются ножницами), перекладываются из рукописи в рукопись, порой далеко вперед, существуя таким образом в составе разных редакций и вариантов. При этом в них вносится постоянно прирастающая, обильная правка, отражающая новый этап работы над текстом. Вычленение самостоятельных редакций и вариантов требует поэтому расслоения правленых Толстым копий и восстановления листов копий в составе более ранних рукописей, т.е. фактически нуждаются в реконструкции каждая рукопись и почти каждый ее автономный фрагмент.

И так — на всех этапах работы.

2-я ранняя незаконченная редакция «Воскресения» известна только по ее началу, опубликованному Н. К. Гудзием в Юбилейном изда-

нии (*Юб.* Т. 33. С. 19–22). Продолжение состоит из многочисленных обрезков, фактически не поддающихся реконструкции. Авторизованная копия автографа (рукой Марии Львовны), с обильной толстовской правкой, также сильно изрезана. Варианты толстовской правки в тексте копии при публикации 2-й редакции, так же, как и при публикации 1-й редакции, не учтены.

Во 2-й редакции Толстой перевертывает фабульную конструкцию. Действие начинается с получения героем (это Аркадий Нехлюдов) повестки на заседание суда. Во время сессии суда он узнает в подсудимой проститутке Катюшу.

Как известно, редакционный комитет Юбилейного издания отказался от публикации предварительных материалов толстовских текстов в полном объеме, печатались только «варианты, представляющие интерес в художественном, биографическом или историческом отношениях» (1, XIV).

Рукописи «Воскресения», начиная с самых ранних и до самых поздних, еще ждут своего исследователя и публикатора.

---

[1] См.: *Гудзий Н. К.* 1) История писания и печатания «Воскресения» (33, 329–422); 2)»Воскресение» // Гудзий Н. К. Как работал Л. Толстой. М., 1936. С. 78–212; *Жданов В. А.* Творческая история романа Л. Н. Толстого «Воскресение». М., 1960; *Гудзий Н. К., Маймин Е. А.* Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» // Толстой Л. Н. Воскресение. М., 1964. С. 483–545 (сер. «Лит. памятники»); *Зайденшнур Э. Е.* Коневская повесть Л. Н. Толстого // В мире книг. 1975. № 7. С. 68–70; *Ломунов К. Н.* Над страницами «Воскресения». М., 1979. См. также: *Динерштейн Е. А.* «Фабрикант» читателей: А. Ф. Маркс. М.: Книга, 1986. С. 53–65 (гл. «Звездный час», о публикации романа в «Ниве»); также: **Роман** Л. Н. Толстого «Воскресение»: Историко-функциональное исследование. М., 1991. О текстологической работе Н. К. Гудзия см.: *Гродецкая А. Г.* Текст «Воскресения» в реконструкции Н. К. Гудзия: (принципы, полемика, итоги) // Русская литература. 2012. № 3. С. 70–84.

[2] См.: Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого. М., 1855. С. 370–371, 95, 188.

[3] См.: *Гродецкая А. Г.* 1) «Совершенно исключительные трудности» (о текстологии «Воскресения») // Яснополянский сборник. 2012. Тула, 2012. С. 348–363; 2) Лабиринты рукописей «Воскресения» // Лев Толстой в Иерусалиме: Материалы междунар. науч. конф. «Лев Толстой: после юбилея». М., 2013. С. 221–235.

[4] *Эйхенбаум Б.* Творческие стимулы Л. Толстого [1935] // *Эйхенбаум Б.* О прозе. Л., 1969. С. 77.

[5] *Гудзий Н. К.* Как работал Толстой. С. 148.

[6] *Пастернак Л. О.* Письма к Р. И. Сементковскому / Публ. Л. И. Кузьминой // Русская литература. 1975. № 3. С. 191.

[7] В. Бонч-Бруевич, причастный к подготовке лондонского издания, насчитал в романе 497 разного рода пропусков и искажений общим объемом в 16250 слов; две главы были изъяты полностью, несколько глав, преимущественно в третьей части, сокращены вдвое и втрое (см.: *Бонч-Бруевич В.* По поводу русского издания «Воскресения» Л. Н. Толстого // Минувшие годы. 1908. № 11. С. 316).

[8] Здесь и ниже нумерация дана по «Описанию рукописей...».

[9] Воскресение: (Первая редакция начала романа) // Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сб. / Собрал и редактировал Н. Н. Гусев. М.; Л., 1928. С. 21–36.

[10] Перепечатан также в издании романа в «Литературных памятниках» (С. 385–400). Замечу, что копия Е. И. Попова уточняет некоторые, очень незначительные, прочтения зачеркнутых и вновь восстановленных фрагментов.

[11] Рук. 3, л. 1; заглавие и эпиграф вписаны.

Е. Д. МЕЛЕШКО, В. Н. НАЗАРОВ
г. Тула

Грех и раскаяние в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»

Роман Л. Н. Толстого неоднозначен и в определенной степени загадочен. Может быть потому, что он был задуман как «роман de longue haleine» — «роман большого дыхания», в котором сфокусированы, по мнению писателя, все «неисполненные замыслы» и который, как всякое великое произведение, наполнен различными смыслами. Каждый век и каждое поколение прочитывает эти смыслы по-своему...

В чем смысл романа «Воскресение», как он открывается для нашего современника? Ведь сюжет банален и лишен драматизма, характерного для времени Толстого, особенно для современного молодого читателя, искушенного картинами смертей, откровенного разврата, нравственных падений и обманов. Барин обманул молодую девушку, затем, по прошествии лет, увидел ее в суде, предложил ей спасение, брак, даже пошел за ней на каторгу (какой сюжет для комиксов!). Сколько таких, еще более драматических судеб эпохи российской перестройки рассказано нам с экранов телевидения и газетных полос. И как мы к ним привыкли! Ведь это судьбы других, а не нас и наших близких... Вспоминается эпитафия на могиле известного французского философа: «Кстати умирают другие...».

И все же... почему этот вполне банальный сюжет романа так завораживает? Наверное, потому, что Толстой, как и Данте в своей гениальной «Божественной комедии», показал *круги ада* современной жизни, только в отличие от Данте, он рисует сошествие в ад не *после смерти*, а в течение всей *человеческой жизни — от рождения до смерти*. Этот ад, выписанный Толстым, зависит от морального выбора человека и связан с колоссальной духовной работой преодоления греха — раскаянием и самосовершенствованием.

Ад. Сошествие в ад начинается с рождения для людей определенного социального положения. Катюша Маслова, например, с рождения,

как и сотни других младенцев в русских деревнях, была приговорена к голодной мучительной смерти, однако, физически была спасена сентиментальными тетушками Нехлюдова[1].

Условия жизни Масловой в доме терпимости сопоставимы с кругами ада падших грешниц[2]. Ад в романе высвечен Толстым в его описании условий осужденных: тюрьма, этапирование и т.д. Все эти условия ассоциируются с нечеловеческими мучениями и страданиями грешников-преступников, попадающих в ад. Но если условия ада (невыносимый жар, стояние в холоде, воде, экскрементах и т.д.)[3] — наказание и связаны с божественной карой, то в представлении Нехлюдова эти невыносимые условия жизни[4], повлекшие многочисленные мучительные смерти этапированных каторжан, создаются государственными людьми, представителями судебных и надзирательных органов, которые «если не были губернаторами, смотрителями, офицерами, двадцать раз подумали бы о том, можно ли отправлять людей в такую жару, двадцать раз дорогой остановились бы <...>, свели бы несчастье, выказали бы сострадание». Однако виновных в убийстве нет: «И что ужаснее всего, что убили, и никто не знает, кто его убил. А убили. Никто не виноват, а люди убиты и убиты все-таки этими самыми не виноватыми в их смертях людьми»[5].

Ад «Воскресения» — это *нравственный хаос*, в котором все поставлено с ног на голову, рожденные жить — умирают, невиновные подвергаются мучительным пыткам и неправедному суду, родных людей разлучают, виновным воздается прощение, а наказание — дьявольски искажено идеей нравственного и духовного «исправления» преступников на каторге, в тюрьме. Такова «перевернутая» реальность жизни, ее абсурдность и нравственная выхолощенность, выписана Толстым с необыкновенно художественной и психологической правдой...

Так что же такое ад современной жизни романа «Воскресение», тот ад, в котором живут все люди, независимо от социального положения? Ад — порождение *зла*, зла, которое очевидно, как зло социальное. Однако, зла, как это не парадоксально звучит, по мнению, Толстого, не существует, оно иллюзорно...

Грех. Зло в понимании Толстого имеет двойственный парадоксальный смысл. «Мы называем злом все то,— пишет Толстой во вводном, ключевом изречении к разделу «Зло» в «Пути жизни»,— что нарушает благо нашей телесной жизни. А между тем вся жизнь наша есть только постепенное освобождение души от того, что составляет благо тела. И потому для того, кто понимает жизнь такою, какая она действительно есть, *нет зла*» *(*курсив наш. — *Е. М., В. Н.*)[6]. Эту мысль Толстой приводит в еще более парадоксальной и лаконичной форме: «То, что мы считаем для себя злом, есть большею частью не понятое еще нами добро»[7].

Таким образом, позиция Толстого в определении зла двойственна и противоречива: с одной стороны, зло реально не существует, это — иллюзия, с другой,— зло есть «непонятое добро», следовательно, зло для Толстого *эфемерно, иллюзорно и в то же время реально.* В этом смысле (реальности зла) Толстой ориентируется на христианское понимание зла[8].

Толстой выделяет различные виды зла, и, в целом, опыт восприятия и переживания зла оказался смещенным в область *зла социального,* прежде всего *собственности* и *власти,* которые мыслитель рассматривает в качестве *моральных пороков* личности и общества: греха тунеядства и праздности, греха корыстолюбия и богатства, греха властолюбия, соблазна неравенства и соблазна насилия.

Совокупность грехов, согласно учению Толстого,— зло, в его онтологическом и этическом смыслах. Зло конкретизируется в понятии *греха.* В узком же смысле грех понимается как «потворство телесным похотям»; соблазн — как «ложное представление человека о своем отношении к миру», а суеверие — как «принятое на веру ложное учение»[9]. Соотношение между грехами, соблазнами и суевериями[10] Толстой сформулировал следующим образом: «От тела — грехи, от мнения людей — соблазны, от недоверия к своему разуму — суеверия»[11].

Следовательно, существующее зло есть то, что *создано самим человеком.* Зло не онтологично по своей природе, оно персонифицировано непосредственно в грехах, то есть в поступках и что более важно, в мыслях, которые мотивируют поступки. В романе «Воскресение» Толстой высвечивает этапы развития греха: зарождение — развитие — искоренение, показывает их внутреннюю и внешнюю мотивацию: трансформацию греха в социальное зло, сложное переплетение родовых, социальных, семейных личных грехов, которые искажают судьбы, изменяют души, уничтожают и совершенствуют человека.

Нехлюдов всю свою сознательную жизнь прожил, ориентируясь на иллюзию добра, доверяясь «общественному суеверию жизни», основанного на привычках и правилах повседневности людей его круга. Будучи молодым юношей, он считал «своим настоящим *я* духовное существо», поэтому мир представлялся ему божественной тайной, природа, женщина — поэтической загадкой... Именно в это время возникает первое чисто чувство к Катюше. Однако перемена, которая произошла с ним, превратила поэтического чистого юношу в «развращенного эгоиста, любящего только свое наслаждение». Это произошло вследствие того, что Нехлюдов «перестал верить себе и стал верить другим. Перестал же он верить себе, а стал верить другим <...>, потому, что жить, веря себе, было очень трудно: веря себе всякий вопрос надо решать не пользу своего животного *я,* ищущего легких радостей, а, почти всегда, против него; веря же другим, решать нечего было, все уже было

решено, и решено всегда против духовного в пользу животного *я*. Мало того, веря себе, он всегда подвергался осуждению других,— веря другим, он получал одобрение людей, окружающих его»[12]. Это состояние жизни определяется в романе как ***«хроническое сумашествие эгоизма»,*** именно оно мотивирует поступки и мысли героя, которые препятствуют любви и, как следствие, противоречат нравственности.

Толстой показывает, как, казалось бы, простая банальная интрижка с горничной, перерастает в масштабное предательство не только близкого и любимого когда-то человека, но и в предательство самого себя; ведь и Нехлюдов, и Катюша Маслова после рокового сближения и гибели их общего ребенка, смерть которого в определенном смысле символична, потеряли свое *духовное достоинство:* то поэтическое, светлое и чистое, что составляло квинтэссенцию души. Эта душевная особенность высвечивается в любви: «В любви между мужчиной и женщиной бывает всегда одна минута, когда любовь эта доходит до своего зенита, когда нет в ней ничего сознательного рассудочного и нет ничего чувственного. Такой минутой была для Нехлюдова эта ночь светло Христова воскресения. Когда он вспоминал Катюшу, то из всех положений, в которых он видел ее, эта минута застилала все другие. Черная, гладкая, блестящая головка, белое платье со складками, девственно охватывающее ее грудь и невысокую грудь, и этот румянец, и эти нежные чуть-чуть от бессонной ночи косящие глянцевитые черные глаза, и на всем существе ее две главные черты: *чистота девственности любви* (курсив наш. — *Е. М., В. Н.)* не только к нему,— он знал это — но любви ко всем и ко всему, не только хорошему, что только есть в мире,— к тому нищему, с которым она поцеловалась. Он знал, что в ней была эта любовь, потому что он в себе в эту ночь и в это утро сознавал ее, и сознавал, что в этой любви он сливался с нею в одно»[13].

Соборность и религиозность этого чувства подчеркивают низость греха, обусловленного «животным чувством», которое «выпроставшись из-за прежнего чувства хорошей любви к ней, овладело им и царило одно, ничего другое не признавая»[14]. Сила этого религиозного чувства такова, что даже после десяти лет забвения этого случая с Масловой роковая встреча в суде «требовала от него признания своей бессердечности, жестокости, подлости, давших ему возможность спокойно жить эти десять лет с таким грехом на совести»[15].

Грех (предательство любви), обусловленный животной страстью, развивает такие пороки как гордость, эгоизм, себялюбие, бессердечность, жестокость, черствость, пошлость и др. Эта схема соотношения греха и порока очевидна в романе, когда герой, «исполненный чувства некоторого самодовольства достигнутой цели», «в состоянии сумашествия эгоизма <...> думал только о себе — о том осудят ли его и насколько, если узнают о том, как он с ней поступил, а не о том, что она

испытывает и что с ней будет». Или когда совал ей за пазуху деньги, «не потому что ей эти деньги нужны, а потому, что так всегда делают, и его бы считали нечестным человеком, если бы он, воспользовавшись ею, не заплатил бы за это»[16].

Грех, совершенный Нехлюдовым отразился на судьбе Масловой, бросив ее на самое дно жизни, обезличив и умертвив в ней, прежде всего, *доверие* к людям[17]. Греховный поступок, таким образом, вовлекает в свою дьявольскую орбиту все большее количество безнравственных поступков, мотивов, людей, формируя в своей совокупности *коллективное зло*, которое сосредотачивается в судебных учреждениях, тюрьмах и каторгах. На страницах романа «Воскресение» — судьбы людей, убийц, воров, политзаключенных, которые по тем или иным причинам попадают в тюремное «колесо сансары», делая свой моральный выбор. В этом плане роман «Воскресения» представляет собой масштабное историческое и культурное полотно нравов, проект, раскрывающий смысл «большого дыхания».

Рост души. Раскаяние

Социальное зло в романе «Воскресение» впечатляет не только своей масштабностью, но и тем, что, казалось бы, оно распространено повсюду, и главное,— зло торжествует своей непреодолимостью и кажущейся справедливостью. Человеческие грехи как «атомы» зла, по мысли Толстого, тем страшны, что они проникают в повседневную жизнь, составляя ткань повседневности. Значит ли это, что зло непреодолимо? И возможно ли искоренение греха?

В своем последнем произведении «Путь жизни» Толстой считает, что в этой жизни человек не может освободиться от грехов, что он может быть только более или менее грешен, но безгрешным не может быть никогда. Однако в самом сознании своей греховности, мобилизующим человека на борьбу с собственными пороками и скрывается тот момент «благодати» и «спасения свыше», которые характеризуют истинно христианский путь преодоления зла.

В романе «Воскресение» преодоление греха связано понятиями роста души, раскаяния, умоперемены, самосовершенствования. *Раскаяние первая ступень роста души*. Рост души в романе представлен как *постепенное осознание* последствий совершенного греха. Первый импульс — *мучительное воспоминание,* которое рождает *нравственное потрясение и страх общественного порицания*[18].

Нехлюдов в суде с ужасом узнает в подсудимой девушку, воспитанницу-горничную, «в которую он в одно время был влюблен, именно влюблен, а потом в каком-то безумном чаду соблазнил и бросил, и о которой никогда не вспоминал, потому что воспоминание это было слишком мучительно, слишком явно обличало его и показывало,

что он, столь гордый своей порядочностью, не только непорядочно, но прямо подло поступил с этой женщиной»[19]. Раскаяние Нехлюдова связано с глубочайшим эмоциональным и нравственным потрясением, хотя внешне «по усвоенной привычке, положив ногу на ногу и небрежно играя своим pince-nez, в самоуверенной позе сидел на своем втором стуле первого ряда», однако, внутренняя работа души продолжалась и давала почувствовать «всю жестокость, подлость, низость не только этого своего поступка, но и всей своей праздной, развратной, жестокой и самодовольной жизни, и та страшная завеса, которая каким-то чудом все это время, все эти двенадцать лет скрывала от него и это преступление, и всю его последующую жизнь, уже колебалась, и он урывками уже заглядывал за нее»[20]. Нравственное потрясение как начало осознания греха приводит к Богу, молитвенное обращение к Богу нашего героя означало, что «Бог, живший в нем, проснулся в его сознании», поэтому «он почувствовал себя им и почувствовал не только свободу, бодрость и радость жизни, но почувствовал *все могущество добра (*курсив наш. — *Е. М., В. Н.).* Все, все самое лучшее, что только мог сделать человек, он чувствовал себя теперь способным сделать это»[21]. С ощущением божественного присутствия связано и с чувство любви ко всем людям: «Удивительное дело: с тех пор как Нехлюдов понял, что дурен и противен сам себе, с тех пор другие перестали быть противны ему; напротив, он чувствовал к Аграфене Петровне и к Корнею ласковое и уважительное чувство. Ему хотелось покаяться и перед Корнеем...»[22]. Таким образом, Бог идентичен любви, которая распространяется на всех людей, а грех — препятствие любви и Богу. Открытие Нехлюдовым жестокой и абсурдной реальности, в которой он находился, вызывает *ужас* и это экзистенциальное чувство «ужасания» сопряжено с *удивлением* «как он мог не видеть этого прежде, как могли другие не видеть этого»[23].

С другой стороны, абсурдность бытия и, главное,— *осознание* этой абсурдности являются мощной мотивацией не только к поступку, но и к *изменению образа жизни*. Нехлюдов понимает необходимость этих перемен: «прежде Нехлюдов играл своим чувством любования на самого себя, на свое раскаяние, теперь ему было просто страшно. Бросить ее — он чувствовал это — теперь он не мог, а между тем не мог себе представить, что выйдет из его отношения к ней»[24].

Характерно и то, что в романе рост души связывается с определенными чувствами. Для Нехлюдова — это чувства, как мы это показали выше, *ужаса, страха, удивления*. Маслова ощущает *боль*, которую она пытается погасить прежними привычками — выпивкой, курением: «Она в первую минуту вспомнила смутно о том новом, чудном мире чувств и мыслей, который открыт был ей прелестным юношей, любившем ее и любимым ею, и потом об его непонятной жестокости и целом ряде унижений, страданий, которые последовали за этим вол-

шебным счастьем и вытекали из него. И ей сделалось больно»[25]. Боль рождает в Масловой желание отомстить или использовать Нехлюдова, и, одновременно боль — знак *пробуждающегося достоинства* личности, именно болезненный рост души дает ей право отвергнуть предложение Нехлюдова, почувствовать тщеславный лоск его раскаяния: «Я каторжная, а ты князь,— вскрикнула она, вся преображенная гневом, вырывая у него руку. — Ты мной хочешь спастись,— продолжала она, торопясь высказать все, что поднялось в ее душе. — Ты мной в этой жизни услаждался, мной же хочешь и на том свете спастись! Противен ты мне, и очки твои, и жирная, поганая вся рожа твоя. Уйди, уйди ты! — закричала она, энергическим движением вскочив на ноги»[26].

Отношение к Нехлюдову постепенно меняется, по мере того, как меняется и он сам, его поступки не только по отношению к ней, Масловой, но и по отношению к каторжным, политическим, которым Нехлюдов бескорыстно помогает.

Радость совершенная — радость преодоления зла. Это понятие является центральным в религиозно-нравственном учении Толстого и вершиной нравственного пафоса романа. Умоперемена, произошедшая в Нехлюдове и Масловой проявляется не только внутренне, но и во внешнем виде Масловой, образе жизни и мыслей Нехлюдова. «После двух месяцев похода по этапу происшедшая в ней перемена проявилась и в ее наружности. Она похудела, загорела, как будто постарела; на висках и около рта обозначились морщинки, волосы она не распускала, а повязывала голову платком, и ни в одежде, ни в прическе, ни в обращеньи не было уже прежних признаков кокетства. И эта происшедшая и происходившая в ней перемена не переставая вызывала в Нехлюдове особенно радостное чувство»[27].

Само понятие и состояние «радости преодоления зла», как нам кажется, лучше всего передают противоречивость толстовского понимания природы зла. Зло выступает здесь и как самостоятельная, реальная сила, которую необходимо побороть и преодолеть, и как иллюзия, разрушение которой и создает ощущение радости и свободы. Ибо абсолютная, «совершенная радость» возможна только в случае ощущения абсолютного преодоления злой силы, полного освобождения от нее, что достигается только в результате радикального искоренения зла как иллюзии. И вместе с тем радость приобретает высший смысл, если речь идет о преодолении реальной, предметной силы зла. Грех рассматривается Толстым как *препятствие, мешающее проявлению любви.* Значение данного препятствия Толстой склонен оценивать весьма позитивно, усматривая в нем динамический момент *самосовершенствования* и *самоспасения.* Таким образом, грехи как препятствия, мешающие проявлению любви, самоценны не только в силу того, что процесс их преодоления доставляет «совершенную радость», но также

и в силу того, что без грехов невозможно познание высшей истины, которая одна может помочь человеку реально отвратиться от зла и всецело стать на сторону добра. Речь здесь, конечно, идет не о пассивном состоянии греховности, но активном осознании своих грехов, ведущем к «умоперемене». Толстой выделяет различные виды зла, и, в целом, опыт восприятия и переживания зла оказался смещенным в область *зла социального,* прежде всего *собственности* и *власти,* которые мыслитель рассматривает в качестве *моральных пороков* личности и общества: греха тунеядства и праздности, греха корыстолюбия и богатства, греха властолюбия, соблазна неравенства и соблазна насилия.

Круговорот греха: бесполезность раскаяния

Предполагало ли полное очищение от греха любострастия женитьбу Нехлюдова на Екатерине Масловой? Толстой не отвечает прямо на этот вопрос, но гипотетическая логика развития сюжета однозначно говорит о том, что тяжелейшие испытания Нехлюдова по очищению от греха пропали даром. Понимая, что Маслова, уходя с Симонсоном, приносит себя в жертву, освобождая Нехлюдова, и вместе с тем продолжая страдать, потому что не перестает любить его, он не в силах признаться себе в этом. «Нехлюдов вдруг почувствовал страшную усталость». При этом, как подчеркивает Толстой, он устал не от бессонной ночи, не от волнения, не от путешествия в Сибирь, но «страшно устал от всей жизни». У Нехлюдова не хватает силы воли довести до конца дело раскаяния, дело очищения от собственного конкретного греха. Вместо этого приехав в гостиницу, он открывает Евангелие и переключается на «общее дело» избавления от абстрактного зла. «Так вот оно, дело моей жизни»,— думает он. — Только кончилось одно, началось другое». Но это — обманная мысль, то, что Толстой называет суеверием — «ложной наукой». Дело раскаяния не кончилось, ибо любовь Масловой так и не была скреплена семейными узами, и, следовательно, оказалась незащищенной от новых соблазнов. Значит, и «другое дело» (борьба со всеобщим злом) не могло начаться. Толстой интуитивно прочувствовал это в возможном виртуальном развитии сюжета. В июле 1904 г., предполагая продолжить роман и написать «деревенского Нехлюдова», Толстой записывает в Дневнике: «Захотелось написать 2-ю часть Нехлюдова. Его работа, усталость, просыпающееся барство, соблазн женский, падение, ошибка...» (55, 66). Для Нехлюдова все как бы возвращается на круги своя.

---

[1] См.: «Старая барышня сделала выговор и за сливки, и за то, что пустили родившую женщину в скотную, и хотела уже уходить, как, увидав ребеночка, умилилась над ним и вызвалась быть его крестной матерью. Она окрестила девочку, а потом, жалея свою крестницу, давала ей молока и денег матери,

и девочка осталась жива. Старые барышни так и называли ее «спасенной»» (*Толстой Л. Н.* Воскресение. Повести. Рассказы. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». Серия вторая. Т. 116. С. 24).

[2] «Утром и днем тяжелый сон после оргии ночи. В третьем, четвертом часу усталое вставанье с грязной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах,, смотренье из-за занавесок в окно, вялые перебранки с друг другом <...>, потом выход в разукрашенную, ярко освещенную залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, куренье и прелюбодеяния с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами — всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики, и шумы, и драки, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжелый сон. И так каждый день, всю неделю» (там же. С. 28).

[3] «Из дверей камер и в коридоре слышались храп, стоны и сонный говор. Везде виднелись сплошные кучки человеческих фигур, укрытых халатами, <...> Зараженный воздух помещения политических казался чистым в сравнении с вонючей духотой, которая была здесь. Коптящая лампа, казалось, виднелась как бы сквозь туман, и дышать было трудно. Для того, чтобы пройти по коридору, не наступив и не зацепив ногою кого-нибудь из спящих, надо было высматривать вперед пустое место для следующего шага. Три человека, очевидно не нашедшие места в коридоре, расположились в сенях, под самой вонючей и текущей по швам кадкой-парашей. Один из этих людей был дурачок — старичок, которого Нехлюдов часто видал на пароходах. Другой был мальчик лет десяти; он лежал между двумя арестантами и, подложив руку под щеку, спал на ноге одного из них». Там же. С. 379.

[4] См.: «Жара еще усиливалась. Стены и камни точно дышали жарким воздухом. Ноги казалось, обжигались о горячую мостовую, и Нехлюдов почувствовал что-то вроде обжога, когда он голой рукой дотронулся до лакированного крыла пролетки». Там же. С. 312.

[5] Там же. С. 326.

[6] *Толстой Л. Н.* Путь жизни / Сост., коммент. А. Н. Николюкина; [подготовка текста, вступит. статья А. Н. Николюкина]. М., 1993. С. 358.

[7] Там же. С. 363.

[8] Контекст евангельской заповеди позволяет предположить, что зло не просто реально, оно *суперреально.* «Дьявольская» реальность зла узурпирует все права сущего быть онтологически значимым. Христос заповедует не противиться *человеческой силой* этому дьявольскому онтологизму зла, противопоставив ему *духовную сверхсущую реальность* кротости, терпения и милосердия.

[9] *Толстой Л. Н.* Путь жизни. / Сост., коммент. А. Н. Николюкина; [подготовка текста, вступит. статья А. Н. Николюкина]. М., 1993. С. 71.

[10] Из шести «родовых» грехов (похоти, праздности, корысти, властолюбия, блуда, опьянения) Толстой выводит соответствующие им пороки, или «последствия грехов». Так, грех властолюбия влечет за собой лесть, коварство, тщесла-

вие, обман, ненависть, насилие и т.д. Наряду с грехами Толстой выделяет также *пять соблазнов:* 1) соблазн личный, или соблазн приготовления; 2) соблазн семейный, или соблазн продолжения рода; 3) соблазн дела, или соблазн пользы; 4) соблазн товарищества, или соблазн верности и 5) соблазн государственный, или соблазн общего блага. В заключение Толстой рассматривает *пять видов суеверия,* или «обманов веры»: 1) перетолкование истины (ложная наука); 2) вера в чудесное; 3) установление посредничества между человеком и Богом; 4) воздействие на внешние чувства человека и 5) внушение ложной веры детям.

[11] Там же. С. 77.

[12] *Толстой Л. Н.* Воскресение. Повести. Рассказы. М., 1976. Серия «Библиотека всемирной литературы». Серия вторая. Т. 116. С. 61.

[13] Там же. С. 69.

[14] Там же. С. 72.

[15] Там же. С. 76.

[16] Там же. С. 75.

[17] Нехлюдов в разговоре с Катюшей после несправедливого приговора почувствовал, что она «мертвая женщина». Однако, «мертвой» духовно она стала после встречи с Нехлюдовым на вокзале, в поезде, когда «измученная, мокрая и грязная, она вернулась домой, и с этого дня в ней начался тот душевный переворот, вследствие которого она стала тем, что она была теперь. С этой страшной ночи она *перестала верить в добро (*курсив наш. — *Е. М., В. Н.)* Она прежде сама верила в добро и в то, что люди верят в него, но с этой ночи убедилась, что никто не верит в это, все говорят про бога и добро,— все это делают для того, чтобы обманывать людей <...>. Все люди, с которыми она сходилась — женщины — старались через нее добыть денег, мужчины, начиная со старого станового и до тюремных надзирателей,— смотрели на нее как на предмет удовольствия. И ни для кого ничего не было другого на свете как только удовольствие, именно удовольствие. <...> все жили для себя, для своего удовольствия, и все слова о боге и добре были обман. Если же когда поднимались вопросы о том. Зачем на свете все устроено так дурно, что все делают друг другу зло и все страдают, *надо было не думать об этом (*курсив наш. — *Е. М., В. Н.).* Станет скучно — покурила или выпила. Или, что лучше всего, полюбилась с мужчиной, и пройдет». Там же. С. 136.

[18] См.: «Страх перед позором, которым он покрыл себя, если бы все здесь, в зале суда, узнали бы его поступок, заглушал происходящую в нем внутреннюю работу. Страх этот первое время был сильнее всего». Там же. С. 85.

[19] Там же. С. 47.

[20] Там же. С. 87.

[21] Там же. С. 110.

[22] Там же. С. 123.

[23] Там же. С. 128.

[24] Там же. С. 166.

[25] Там же. С. 149.

[26] Там же. С. 165.

[27] Там же. С. 346.

Е. А. МАСОЛОВА
г. Новосибирск

Дискурсивные стратегии автора в романе Толстого «Воскресение»

Вокруг Толстого, отлученного от православной Церкви, создан антирелигиозный миф, не соответствующий интенциям писателя. Выявим, 1) какие дискурсивные стратегии использованы в нарративе «Воскресения», 2) какая из них доминирует и в чем это проявляется.

Среди различных дискурсов «Воскресения» преобладают социальный, мифопоэтический и христианский.

Социальный дискурс «Воскресения» составляют политический, ольфакторный и темпоральный коды; рассмотрим каждый из них.

Политические множат предательство и безнравственность; многие теряют веру в Бога, приходят к ненависти; их самоотверженность не востребована. Марья Павловна и Симонсон пытаются воздействовать на мир с помощью добра, встают на путь просветления, но через воскресение не проходят: их стремление волюнтаристски изменить социум «блокирует» духовный рост. Нехлюдов разуверился в своем мнении о высоком уровне нравственности политических, понял, что социум и попытки его ликвидировать за счет утверждения новых видов репрессий ведут к братоубийственной войне, и, отвергнув «политических бесов», открыл для себя Евангелие.

В «Воскресении» природа насыщена весенними запахами возрождающейся земли; люди же ценят лишь свои амбиции. Мир людей пронизан либо вонью и смрадом городских улиц, меблированных комнат и тюремных камер, либо удушающим парфюмом. Природная и человеческая жизнь существуют в непересекающихся топосах; благотворный запах природы противостоит зачумленному воздуху цивилизации. У Нехлюдова особая ольфакторная чувствительность, обостряющая его восприятие неблагополучия мира; герой идет к осознанию необходимости преображения всего сущего по законам Бога. Ощущая запахи в преддверии духовного преображения, герой осужда-

ет социальные законы и свой былой разврат. В финале романа доминируют запахи народного бытия, предвещающие воскресение героя; запах переводит все изображаемое в символико-философскую христианскую плоскость.

В «Воскресении» темпоральный код включает онтологическое и бытийное время. В романе упомянуто несколько дат 188* года: 28 апреля, 17 января, 15 февраля, 5 июля и 17 августа. Эти даты — почитаемые Церковью христианские праздники, присутствующие в романе как аллюзия. Толстой не напоминает их сакральность: персонажи забыли о них и чинят беззаконие, что свидетельствует о тотальном упадке религиозности[1]. Введение в роман даты убиения императора Александра II подчеркивает преступность революционных методов борьбы со злом.

По Толстому, спасительны лишь онтологическое время и природный календарь. Важнейшие события в жизни героя, предопределившие его воскресение, произошли на Масленицу, Вознесение и Пасху; совпадающая с Евангельской семантика времен года придает роману черты притчи[2].

Мифопоэтический дискурс «Воскресения» включает цветовой код и ядерные мифологемы, обладающие притчевой стратегией.

Зеленый цвет в «Воскресении» 1) связан с обновлением жизни, с надеждой на воскресение природы и человека; 2) маркирует этапы прозрения Нехлюдова. Черный цвет, будучи символом греха, по мере духовного преображения Нехлюдова теряет устрашающую семантику, превращается в номинативное цветообозначение, становится цветом жизнетворящей земли и соотносится с размышлениями Толстого о воскресении человека. Семантика красного цвета в романе меняется: от запрещающей, инфернальной — до благостной, религиозной; в конце романа красный цвет вписан в извечный ритм жизни, где нет страха, а есть своя умиротворяющая и просветляющая ритуализированная христианская сакральность. Желтый, золотой и фиолетовый цвета в романе маркируют бессмертие природы и Божественное благословление жизни людей; белый цвет связан с чистотой и благодатью. В «Воскресении» цветопись — характерологическое сюжетообразующее начало: изменяющаяся в восприятии героя цветовая гамма внешнего мира, актуализация ее положительной семантики сигнализируют о духовном преображении Нехлюдова.

Мифологемы облака и реки в «Воскресении» исполнены исконной христианской семантики, согласно которой облака образуют трон Бога, река символизирует ритуальное омовение, высший суд; переправа через реку — расставание с иллюзиями. Просветление Нехлюдова маркировано появлением облака. В «Воскресении» река — 1) одна из составляющих неискоренимой жизни, творимой по законам Бога;

2) духовная субстанция, приводящая героя к осознанию смысла жизни и воскресению. Нехлюдов — человек пути, подчинивший себя путешествию по Реке Жизни ради обретения Слова Божия.

В Евангелии и в «Воскресении» ветер — 1) энергетическое начало, преображающее землю и приносящее светлые мысли, 2) символ Божественного дыхания, 3) маркер усвоения Слова Божия. В начале романа порывы холодного ветра подтверждают жестокость социального мира; безветренная погода — символ безжизненности и нереализованных планов героя гармонизировать общество с помощью экономических преобразований. В конце романа холодный ветер не страшен тем, кто живет по совести, по законам Бога.

В «Воскресении» семантика солнца совпадает с христианской: солнце наказывает злых и гордых, а вставших на путь добра готовит к духовному преображению, к лицезрению сакральной христианской символики и воскресению. Сияющее солнце освещает путь Нехлюдова, трудной дорогой идущего к Богу.

Земной сад в романе стал отражением великого Сада, созданного Богом во благо людей. Сад в Паново 1) воспитывал справедливость, осознание необходимости жить по законам добра и любви, 2) маркировал этапы пути героя к воскресению, 3) разросся до масштабов земного сада. Пройдя годовой календарный цикл (от весны до зимы), земной сад уступил место Евангельскому Саду — ноосфере, программирующей все сущее и грядущее. Садовника, который в романе был пассажиром, слушавшим всех и желавшим рассказать о Диаволе, сменил Хозяин виноградника, Бог. В «Воскресении» Евангелие стало Древом, растущим в центре Сада, путеводной звездой для воскресающих и воскресших душ.

В «Воскресении» у темноты и ночи, как и в Евангелии, разная семантика: темнота воплощает удаленность от Бога, ночь приводит к Богу. В начале романа темнота блокировала духовное просветление и подчеркивала разрушительное начало, которое постепенно трансформировалось в лишенное страха пространство, не способное причинить зло людям. Ночь в «Воскресении» 1) выступает аналогом былого обмана и самообмана, 2) фиксирует просветление героя, его переход от тьмы неведения к жизни по законам Бога, 3)»перетекает» в будущее, переводя Дмитрия из просветляющей ночи — земного топоса добра и гармонии — в жизнь христианина. В конце романа для героя, читающего Писание, ночь наполняется религиозным смыслом.

Самый значимый в «Воскресении» *христианский дискурс*, явленный через название романа, систему персонажей, христианскую символику, христианские аллюзии и идейно-композиционный уровень.

Название романа Толстого 1) апеллирует к важнейшему христианскому празднику, 2) задает притчевое прочтение этого произве-

дения, повествующего о смене безнравственной картины мира героя на христианскую.

Все персонажи романа принадлежат двум группам: I) духовно мертвые 1) представители светского общества и пенитенциарной системы, 2) большинство арестантов, политические; II) внутренне растущие 1) Федосья, Тарас, Марья Павловна, Набатов, Симонсон, Катюша, 2) Нехлюдов.

Любимые толстовские герои осознают необходимость прощать людей и духовно преображаются. По заповедям Бога живет семья крестьянина Тараса. Сюжетная линия этой семьи выводит повествование на метафизический уровень, предвосхищая воскресение Нехлюдова. Феничка оказалась в тюрьме за попытку отравить мужа; Тарас простил ее, они стали жить душа в душу. Родственники мужа на суде оправдывали Федосью, но ее приговорили к каторге, и муж последовал за ней. Антропонимы маркируют праведность и мудрость этих людей: свекр и свекровь выступают без имен и обретают статус праведников, великодушных в прощении; Тарас назван именем патриарха Константинопольского Тарасия, неустанно помогавшего людям; «Федосья» переводится как «данная Богом». История Федосьи-раскаявшейся грешницы — притчеобразное вкрапление в роман, воплощающее необходимость прощения — влияет на Маслову, и Катюша в конце романа просит у Дмитрия прощение, проникнувшись осознанием всеобщей вины перед Богом.

Федосья, Тарас, Марья Павловна, Набатов, Симонсон, Катюша остановились на просветлении, участливой братской любви друг к другу, исключив христианскую доминанту в помыслах и делах. Отказ от своего грешного «я» и намерение неукоснительно руководствоваться Евангельскими заповедями в романе произойдет лишь у Нехлюдова, чей внутренний рост, уверен Толстой, станет первым шагом к воскресению человечества.

В «Воскресении» в 18 случаях из 16 лицезрение иконы не преображает людей: в представленном социуме икона низведена до деталей интерьера, ей сложно наставить людей на путь истинный. Роман Толстого обрамлен сценами, в которых от иконы идет благостное одухотворяющее начало: 1) на пасхальном богослужении в Паново икона сакральна, озарена свечами, дарует верующим мысли о воскресении; 2) в крестьянской избе икона освещена лампадкой, вызывает у Нехлюдова обостренное желание бороться со злом и тем самым служить Богу.

В камере Масловой 12 арестантов; 12 арестантов погибают от жары при этапировании на каторгу. Число 12 — образ народа Божия (12 Апостолов). В «Воскресении» 12 арестантов вызывают у читателя ассоциации с Апостолами Иасоном и Сосипатром, учивших арестантов Сло-

ву Божию (роман начинается 28 апреля, в день поминовения Иасона и Сосипатра). В романе Толстого у арестантов не было наставников, а потому в тюрьмах царило озлобление, и Дмитрий испытывал стыд перед заключенными. Толстой верит в появление новых учеников Учителя, которые помогут людям прийти к Богу.

Среди сокамерниц Масловой была чахоточная владимирская с грудным ребенком. Определение «владимирская» содержит аллюзию на икону Владимирской Божией Матери. Чахоточная владимирская — 1) метафора жестокости и уродливости социума; 2) имплицитно выраженная надежда на помощь Богоматери, которой христиане молятся о спасении души.

Идейно-композиционный уровень христианского дискурса в «Воскресении» проявляется при 1) воспроизведении молитв Нехлюдова, которые текстуально совпадают с молитвой православных верующих, 2) изображении двух лжеучителей, которых «забыл» Нехлюдов, 3) увеличении числа эпиграфов и усилении их роли, 4) детерминации количества глав романа Евангелием от Матфея.

Дмитрий встречает двух лжеучителей, апеллирующих к Евангелию: старика-раскольника и английского миссионера. Раскольник проповедует идеологическую самодостаточность, не вписан в православный контекст, лишен доброты и прощения. В дальнейшем Нехлюдов не вспоминает о нем и еще напряженнее размышляет о жизни. Неспособность англичанина обратить арестантов к Богу предопределена 1) наличием языкового барьера, 2) отсутствием у миссионера сострадания к заключенным, 3) его попыткой подменить Евангелие проповедью, 4) изначальной укорененностью толстовских крестьян в православии.

В первой редакции «Воскресения» (1895) один эпиграф: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин 11, 25); в каноническом тексте четыре эпиграфа из Евангелия (число 4 в богословии знаменует вселенскость). В первых трех эпиграфах романа говорится о необходимости прощать оступившегося и видеть собственные грехи, в четвертом — о возможности стать учеником Бога. Эпиграфы в «Воскресении» выступают как план-конспект, средоточие религиозно-философской проблематики вторичного, детерминированного Евангелием сюжета романа и «дублируются» в мыслях Нехлюдова, а потому каждое событие в жизни героев оценивается в двойной перспективе — эмпирического и христианского. После суда над Масловой Нехлюдов испытал вину перед Богом,— и в его мыслях прозвучал отчасти видоизмененный второй эпиграф романа (32, 326). Эпиграфы к «Воскресению», многократно предопределяя нехлюдовское неприятие как бы заново увиденных социальных изломов, играют сюжетомоделирующую роль и усиливают стратегию притчевого нарратива.

Нехлюдову потребовался истинный наставник; в последней главе романа уставший ходить и думать Нехлюдов читает Евангелие, что для героя становится и откровением, и припоминанием тех мыслей, которые он передумал за время своего духовного взросления.

Сначала герой прочитал 18 главу Евангелия от Матфея; 33 стиха (из 35) полностью воспроизведены в романе. Дмитрий трижды прерывался на осмысление прочитанного; он согласился с прочитанным четвертым стихом; стихи с седьмого по десятый показались ему неясными, хотя и очень хорошими. Евангельский текст обладает особой глубиной, до осознания которой предстоит возвыситься Нехлюдову. Далее исчезает какое-либо непонимание героем Евангелия. В третий раз воспроизведенные мысли Нехлюдова при осмыслении 18 главы содержат бóльшую отсылку к Евангелию, и герой думает о преступности социума. Для Дмитрия картина жизни России конца XIX в. стала материалом для постижения Божьих законов.

Завершает 18 главу притча о том, как Государь простил злого раба (Мф 18, 21–35). Толстой цитирует эту притчу, сохраняя разбивку по стихам. Притчу предваряют стихи 21–23, составившие первый эпиграф романа. Повторение Евангельских стихов подчеркивает их особую значимость. Слова Государя о помиловании внушают Нехлюдову убеждение, что все должны признать себя виновными перед Богом и не наказывать других. Эти мысли героя, перекликаясь с первыми тремя эпиграфами романа, предвещают духовное воскресение человечества.

Размышления Нехлюдова после прочтения 18 главы Евангелия от Матфея даны как авторский пересказ, дважды уступающий место прямой речи героя; во внутреннем монологе Дмитрия возрастает убедительность суждений; мысли героя совпадают с проповедническим пафосом Толстого-публициста.

С началом внутреннего преображения у Дмитрия все чаще происходит прорыв из эмпирического плана в мир Евангельских истин и осознание их применительно к себе и другим; заповеди Бога все в большем объеме входят в душу героя и звучат как часть его внутреннего монолога. Размышляя о неблагополучии социума, Дмитрий апеллирует к наказу Христа, данному Апостолу Петру.

Осознав неоспоримость стихов главы 18, герой возвращается к началу Евангелия от Матфея и перечитывает его вплоть до главы 5, где в четырех стихах Иисус опровергает язычников (Мф 5, 31; Мф 5, 33; Мф 5, 38; Мф 5, 43) и в 24 стихах излагает Свое учение. Нехлюдов впервые увидел в Нагорной проповеди заповеди, при установлении которых наступит Царство Божие на земле, и испытал восторг, успокоение и свободу.

Глава 18 подвигла героя к дальнейшему поиску ответов на вопросы бытия; Нагорная проповедь привела его к желанию исполнять запове-

ди Бога. Количество глав в части первой романа Толстого предопределено суммированием чисел 35 и 24, где 35–35 стихов главы 18 Евангелия от Матфея, а 24–24 стиха Нагорной проповеди с учением Христа (в ранних редакциях «Воскресения» максимум 49 глав).

В главе 5 Евангелия от Матфея 48 стихов; в первых двух — слова евангелиста о том, что Иисус поднимается и начинает говорить; Слово Бога занимает 42 стиха. В части второй «Воскресения» 42 главы (в ранних редакциях романа Толстого — от 44 до 47 глав). Вставший на путь воскресения Нехлюдов отвергает свое десятилетнее безнравственное поведение. Неприятие героем разврата соотносится с опровержением языческих догм.

В части третьей «Воскресения» 28 глав — сколько и в Евангелии от Матфея (в шестой части редакции романа Толстого 27 глав). Совпадение количества глав в Евангелии от Матфея и в последней части «Воскресения» предвещает четвертый эпиграф романа.

Количество глав в каждой части «Воскресения» и само трехчастное построение романа — метафора преображения человека. В части первой романа — концентрация безнравственного поведения людей, которые попирают заповеди Бога; 59 глав части первой — жизнь людей, презревших слово Божие. Согрешив против Бога, совестливые начинают ненавидеть себя и преображаются. Со второй части романа начинается просветление ряда персонажей. В финале романа воскресает главный герой.

Дмитрий осознал, что человек обязан исполнять Слово Божие. Эта истина максимально емко выражена в притче «О злых виноградарях», данной в пересказе автора-повествователя. Мысли Нехлюдова о своих ошибках перекликаются с грехом виноградарей, проигнорировавших волю Бога. Притча о злых виноградарях помогает герою осудить свои ошибки и остраненно увидеть социальные аномалии. Далее звучит самый продолжительный внутренний монолог Нехлюдова, ужаснувшегося отпадению человечества от заповедей Бога. Автор-повествователь, полностью разделяя позицию героя, не комментирует его речь. Мысли героя обретают проповеднический пафос, приближаются к трактатам Толстого.

Нехлюдов почти дословно цитирует 33 стих главы 6 Евангелия от Матфея. В романе этот стих оформлен курсивом и вынесен в абзац, первое предложение которого — заповедь Бога, второе — мысли героя о неоспоримости Евангелия: «*Ищите Царства Божия и правды Его, а остальное приложится вам*. А мы ищем остального и, очевидно, не находим его» (32, 444) [Ср.: «Ищите прежде всего Царства Божия и правды Его, а остальное все приложится вам» (Мф 6, 33)]. Неразрывность в одном абзаце стихов Евангелия и размышлений Дмитрия знаменует реализацию четвертого эпиграфа.

Стихи Евангелия и их осознание героем «рифмуются» с четырьмя эпиграфами, что создает кольцевую и внутренние рифмы. Автор-повествователь оценивает все с позиции Евангелия и ведет к такому миропониманию Нехлюдова. Последняя глава романа — и эпилог, и начало жизни героя во Христе: здесь излагается учение Бога; показан духовный рост Дмитрия, который, постигая Слово Божие, намерен неукоснительно исполнять его. Жизнь героя становится притчей о блудном сыне, раскаявшемся и пришедшем в Дом Отца своего.

Значима апелляция Толстого к Евангелию от Матфея: 1) оно «открывает» Новый Завет, читая который герой приобщается к Слову Бога; 2) Иисус в главах 5 и 18 излагает Свое учение, усвоив которое, человек станет как Учитель его, что обещает четвертый эпиграф.

Евангельский текст накладывается на запечатленную в романе ситуацию отпадения от Бога и обретения Его; события в жизни героев иллюстрируют правоту Евангельских истин, предопределяют движение человека к Богу; возникает художественно-смысловая синонимия Евангельских заповедей и сюжета «Воскресения»; у Евангельских заповедей сюжетомоделирующая роль притчевого нарратива. Заповеди Евангелия в последней главе романа направлены на ретроспективное осознание сюжета.

В «Воскресении» Толстой обращается к различным дискурсивным стратегиям, обладающим притчевым императивом. Социальный дискурс предопределен христианским; мифопоэтический дискурс основан на Евангельской образности; социальный и мифопоэтический дискурсы имплицитно воспроизводят идеи Евангелия. Христианский дискурс доминирует, эксплицитно воплощая Слово Бога. Вся структура «Воскресения» имеет пасхальную основу, предопределяющую его поэтику. «Воскресение» — особый символико-мифопоэтический роман-притча, где главенствует христианский реализм. Наступило время вписать позднего Толстого в широчайший контекст христианской литературы IX–XIX вв.

---

[1] *Масолова Е. А.* Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»: социальный, христианский и мифопоэтический дискурс. Новосибирск, 2014. С. 82–84.

[2] Там же. С. 91–102.

Г. А. ШПИЛЕВАЯ, В. А. БОНДАРЕНКО
г. Воронеж

Роман Л. Н. Толстого «Воскресение» в свете проблемы «социальной вины» (к характерологии русской литературы второй половины XIX века)

В настоящей статье будет предпринята попытка рассмотреть некоторые данности толстовского романа «Воскресение» на фоне «текста «неплательщика»» и проблемы «социальной вины» и *нравственного* долга русского интеллигента (разночинца или дворянина) перед народом.

Нами будет проанализирован ряд произведений (из разряда *беллетристики* и *классики*) под заявленным углом зрения, а также мы представим некую классификацию, которая складывается из самого толстовского «текста «неплательщика»», бытующего в романе «Воскресение».

Эпоха великих реформ (второй половины XIX в.) обусловила возникновение и интенсивное развитие ряда мотивов, сюжетных моделей, образов, нашедших место в художественной литературе.

Одним из устойчивых образов стал «неплательщик»[1], пополнивший характерологию русской литературы второй половины XIX в. «Неплательщик» имеет строго определенные социальные и психологические черты, этот образ (в силу своей социально-исторической актуальности) укоренен в художественных произведениях указанного периода, он часто является центральным в романах и повестях, соответствующим образом организуя сюжетно-композиционную структуру.

Неплательщиками (в прямом смысле слова) изначально называли представителей неподатных сословий (например, разночинцев), к податным же относились крестьяне, мещане, которые были обязаны платить различные виды государственных налоговых обложений.

Обобщил черты «неплательщика» и ввел в литературный оборот (переведя из социального) Г. И. Успенский в очерке «Неплательщи-

ки» (1876), где изображен интеллигент-разночинец, человек с «больной совестью».

Кроме прямого (социально-исторического) значения к понятию «неплательщик» Г. И. Успенский добавил и другой, наиболее важный для нас смысл. Интеллигентный «неплательщик» — это человек, по его собственным представлениям мало помогающий народу, защитником (в силу своего образования и развития) которого он должен быть. Поэтому удел «неплательщика» — рефлексия, ощущение собственной вины и беспомощности: «Теперь потрудитесь представить себе состояние духа наилучшего интеллигентного неплательщика. Дела, которые он делает, не связываются (если, конечно, привычка не возьмет свое) с его мыслью надлежащим образом точно и крепко; отдать на служение им силу души — нельзя: завтра вломится такое явление, которое сразу высадит целый угол только что с любовью начатого здания»[2].

Так как проблема ответственности интеллигентного разночинца (и дворянина) перед демократическими низами общества была чрезвычайно острой, то «текст «неплательщика»» отличается повышенной эмоциональностью, сюжетной напряженностью, драматизмом: «Бывают моменты, когда одновременно в разных концах неплательщичьего мира чувствуется полное удушье <...>. И вдруг как молния блеснет: «Слышали? Варенька-то! Ведь застрелилась!» Боже, как ревет иной закоснелый неплательщик в такие минуты»[3].

Исследователи, изучавшие и изучающие аспекты характерологии русской литературы XIX в., рассматривая типы *отвлеченного, сильного/слабого, идиллического, лишнего человека, мечтателя*, отмечали, что указанные характеры между собой активно интерферируют. При этом (имеется в виду наличие смешанных и отсутствие *чистых* типов) все же образуется некая «характерологическая основа», «доминанта»[4] того или иного героя.

В свое время под данным углом зрения были рассмотрены поэзия и проза Н. А. Некрасова, в частности, было отмечено, что «проблема лишнего человека <...> глубоко занимала творческое воображение»[5] писателя, поэтому он создал роман «Тонкий человек, его приключения и наблюдения», а также поэму «Саша».

Героев указанного некрасовского романа (Грачова), а также поэмы (Агарина) было предложено соотнести с типом «неплательщика» — «социологизированной версией характеров лишнего, отвлеченного и тонкого человека»[6]. «Текст неплательщика», образ «слабого человека», по мнению одного из исследователей, во многом «организовал всю зрелую лирику Н. А. Некрасова», так как человек некрасовских стихотворений «часто испытывает то же чувство вины и неоплаченного долга»[7] перед народом.

Поиски ученых в интересующем нас направлении продолжались, и в 2012 г. появилась работа, где образ «неплательщика» и проблема долга русского интеллигента были рассмотрены на обширном материале — *беллетристическом* и *классическом* — в труде В. А. Бондаренко «Тип «делового человека» и проблема социальной вины в русской литературе 1840-х — 1890-х гг.»[8].

Под классикой в указанном исследовании обозначена литература «высокохудожественная, развивающая и облагораживающая, не устаревающая в силу своих высоких общечеловеческих смыслов». Беллетристика же трактуется, как «развлекающая и просвещающая книжная продукция, сохраняющая достаточный уровень качества»[9]. Напомним, что В. Г. Белинский писал о классике как о литературе «для веков», а о беллетристике — «для минуты».

Автор упомянутой выше работы (В. А. Бондаренко) рассмотрела проблему ответственности, социорефлексии «неплательщика», переживаний «делового человека» на материале произведений таких русских классиков, как Н. В. Гоголь, И. А. Гончаров, Н. А. Некрасов, Г. И. Успенский, А. Н. Островский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой. Был сделан вывод о том, что в прозе, драме и поэзии XIX в. активно разрабатывалась тема *социальной вины*, которой обременены как персонажи, так и авторы — «концепированный» и «биографический» (термины Б. О. Кормана).

Вслед за признанными авторитетами, писателями «первого ряда» шли авторы «второго ряда», беллетристы (в принятой нами терминологии). Изучая проблему «делового человека» и социальной вины в произведениях П. Д. Боборыкина («Долго ли?», «Китай-город», «Василий Теркин»), Д. Н. Мамина-Сибиряка («Приваловские миллионы»), раннего В. В. Вересаева, А. Л. Бостром (Толстая), автор (В. А. Бондаренко) делает вывод о том, что беллетристы также изображают героя, который осознает свой долг перед народом и испытывает чувство вины перед ним. При этом характер, род деятельности, жизненные стратегии этого персонажа (чаще всего — главного) либо вообще не меняются (он по-прежнему остается промышленником, коммерсантом или «дельным помещиком»), либо его жизненная позиция и устремления лишь частично изменяются.

В классическом реалистическом произведении (где общественные данности и зависимый от них человек показаны в сложнейшем взаимодействии) легкое разрешение проблемы невозможно. Размышляя о настоящем и будущем России, о ее промышленных, аграрных, политических, культурных стратегиях, великие русские гуманисты высшую ценность видели прежде всего в духовном развитии (обновлении, перерождении, «воскресении») личности. Именно поэтому в классическом произведении редко можно обнаружить изображение выдающихся *де-*

ловых качеств, соединенных с духовными богатствами «положительно прекрасного» человека в одном центральном персонаже. Герои классического произведения (интеллигентные дворяне, разночинцы, *деловые* люди, «неплательщики»), защищая «униженных и оскорбленных» или переживая личные драмы, восставали против «власти денег» и порой кардинально меняли свою жизнь: отказывались от службы, богатства, духовно перерождались.

Говоря о проблеме социальной вины представителей привилегированных классов, особое внимание необходимо уделить творчеству Л. Н. Толстого, который в своих произведениях, в частности, в романе «Воскресение», коснулся очень важной проблемы и рассмотрел ее сквозь призму *личной* вины героя дворянина (чья социальная активность кардинально преобразилась) перед погубленным им человеком.

«Текст неплательщика», социальной вины состоятельного человека — «кающегося дворянина» (Н. К. Михайловский) — в романе «Воскресение», разумеется, обширен, так как в нем сосредоточена основная тема и идея произведения. Толстой изображает человека, который «своим прозрением и своим покаянием <...> должен как бы искупить грехи целого класса. История соблазненной им и покинутой Катюши Масловой и вполне реальна, и символична. За нею — судьба народа»[10].

В романе «Воскресение» различными способами доказывается мысль о несправедливости современного общественного устройства (в частности, судов)[11]. Мы рассмотрим различные примеры выражения авторской позиции, представленной как внесубъектными способами (композиционными), так и субъектными (слово повествователя и слово персонажа).

Субъектные способы (в данном случае) — это речь «нейтрального», но всезнающего повествователя (I), а также переданные в косвенной речи суждения героя — Нехлюдова (II), который чаще всего солидарен с повествователем. К субъектным способам выражения авторской мысли мы также отнесем использование *прямых* цитат (выделение кавычками) из речи Нехлюдова (III), и случаи применения несобственно-прямой речи (IV)[12], позволяющей автору проникнуть в сознание героя.

Из четырех указанных в нашей классификации способов выражения авторской мысли наиболее ярко и мощно в художественном тексте выделяется *прямая* оценка «концепированного» (Б. О. Корман) автора, маркированная словом повествователя. По замечанию В. А. Свительского, «психологическая проза <...> насыщена прямыми выходами оценочного плана. Настроения эпохи при этом откровенно заявляли о себе. Важны оценки повествователя — посредника между произведением и читателем»[13].

«Прямой» оценочный текст отличается обобщенностью, даже глобальностью, так как автор в нем затрагивает важные проблемы общества, мироустройства, даже теологические аспекты бытия. Например, в момент духовного прозрения Нехлюдова повествователь сообщает: «Он молился, просил бога помочь ему, вселиться в него и очистить его, а между тем то, о чем он просил, уже совершилось. Бог, живший в нем, проснулся в его сознании» (32, 103). Как видно, повествователь является посредником между героем и Богом, героем и читателем.

Иногда Толстой вкладывает свои идеи в речь повествователя (абстрагируясь от героя — Нехлюдова) для того, чтобы рассуждать о «грешной» части человечества — жертвах социальной несправедливости. В этих случаях, дабы подчеркнуть обыденность и вместе с тем крупный масштаб явления, писатель прибегает к неопределенно-личным синтаксическим конструкциям: «Обыкновенно думают, что вор, убийца, шпион, проститутка, признавая свою профессию дурною, должны стыдиться ее. Происходит же совершенно обратное. Люди, судьбою и своими грехами-ошибками поставленные в известное положение, как бы оно ни было неправильно, составляют себе такой взгляд на жизнь вообще, при котором их положение представляется им хорошим и уважительным» (32, 151). Очевидно, что это суждение повествователя восходит к взглядам «концепированного» автора (автор как «точка зрения» — в терминологии Б. О. Кормана) и даже «биографического» автора — самого Л. Н. Толстого, не раз заявлявшего данную позицию как в художественных произведениях, так и в публицистике. Нехлюдову же, занятому мыслями о своих вине и греховности, высказанная обобщенная идея не принадлежит, хотя и не противоречит его взглядам. Нехлюдов мог бы согласиться и со следующим обобщением социального характера, которое все же принадлежит повествователю (в цитируемом фрагменте нет «следа» нехлюдовского мышления): «Но разве не то же явление происходит среди богачей, хвастающихся своим богатством, т.е. грабительством, военно-начальников, хвастающихся своими победами, т.е. убийством, властителей, хвастающихся своим могуществом, т.е. насильничеством?» (32, 152).

Л. Н. Толстой не раз на страницах романа высказывал свое отношение к землевладению. Нехлюдов становился «рупором» писателя-мыслителя, писателя-гражданина. Однако есть фрагменты текста, субъектом речи в которых является все-таки повествователь: «Отношения крестьян к землевладельцу были таковы, что крестьяне находились, говоря учтиво, в полной зависимости, выражаясь же просто,— в рабстве у конторы»[14] (32, 198).

Так как повествователь и главный герой во многом согласны друг с другом, то часто «обличительный» или «покаянный» текст принадлежит повествователю, который знает *всё* о мыслях и чувствах Нехлюдова

и объясняет его душевные движения, не прибегая к прямой речи героя. Примером может служить отрывок, где речь идет о «старом Корчагине», человеке, сделавшем «блестящую» карьеру: «Нехлюдов невольно вспомнил то, что знал о жестокости этого человека, который, Бог знает для чего,— так как он был богат и знатен и ему не нужно было выслуживаться,— сек и даже вешал людей, когда был начальником края»[15] (32, 90).

Такая «двусторонняя», обоюдопроникающая манера изложения представлена в самом обширном тексте «неплательщика» в романе «Воскресение». Однако самые «острые» моменты, маркирующие разные этапы осознания героем своей вины, характеризуются введением в речь повествователя прямой речи героя, т.е. цитированием (III раздел способов субъектного выражения мысли автора в нашей классификации). Например, ««Поеду в тюрьму, скажу ей, буду просить ее простить меня. И если нужно, да, если нужно, женюсь на ней»,— думал он» (32, 117). Очевидно, что повествование в таких фрагментах очень эмоционально, оно ведется от I лица, герой «бичует» себя, не скупится на инвективы: «И вся твоя праздная, скверная жизнь. И венец всего — твой поступок с Катюшей. Негодяй, мерзавец! Они (люди) как хотят пусть судят обо мне, их я могу обмануть, но себя-то я не обману» (32, 101).

Как видно, о вине перед Катюшей и перед *своими* крестьянами (а значит, и перед всем народом) говорится в самых эмоционально насыщенных фрагментах текста и оформляется это прямой речью, графически выделенной кавычками (как «чужое» слово в общем потоке речи повествователя): «Отдать землю, ехать в Сибирь,— блохи, клопы, нечистота... Ну, что ж, коли надо нести это — понесу» (32, 226).

Как уже отмечалось, иногда в тексте романа появляется несобственно-прямая речь, и это будут примеры, отнесенные нами к IV типу способов выражения авторской идеи. Как правило, к такому способу повествования (в «покаянных» фрагментах) автор прибегает в тех случаях, когда герой находится на распутье, на пути к важному решению.

Герой и повествователь очень близки — идеологически, эмоционально, психологически — поэтому текст с несобственно-прямой речью IV типа иногда трудно отделить от того, где повествователь рассказывает о чувствах и поступках сам (II тип повествования). Однако в тексте IV типа присутствуют слова (ставшие определенными знаками), которые принадлежат герою, а не повествователю. Например: «Со времени своего последнего посещения Масленникова, в особенности после своей поездки в деревню, Нехлюдов не то что решил, но всем существом почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор» (32, 246); «И когда он представлял себе только, как он увидит ее, как он скажет ей все, как покается в своей вине перед ней, как объявит ей, что он сделает все, что может, женится на ней,

чтобы загладить свою вину,— так особенное восторженное чувство охватывало его, и слезы выступали ему на глаза» (32, 120). На наш взгляд, слово «отвращение» в первом процитированном отрывке принадлежит Нехлюдову, и сам синтаксис второго отрывка (повышенная эмоциональность, градация — увидит ... скажет... покается... объявит.. женится) указывают на авторство и присутствие самого Нехлюдова, а не объективного, всезнающего, «нейтрального» повествователя, выносящего «приговоры», типизирующего ситуации, обобщающего выводы и пр.

Мы проанализировали примеры выражения авторского мнения с помощью субъектных средств — слова (оценки) повествователя или героя, заявляющих о вине привилегированных сословий перед народом. Внесубъектные (композиционные) способы обозначения определенной позиции выделяются в тексте романа благодаря столь любимому Толстым приему контраста: описанию богатых и бедных жилищ, сытых и голодных людей, духовных скудости и щедрости и пр.

Вот как в самом начале романа описываются главные герои, еще не пережившие новую встречу, изменившую их жизни: «В то время когда Маслова, измученная длинным переходом, подходила с своими конвойными к зданию окружного суда, тот самый племянник ее воспитательниц, князь Дмитрий Иванович Нехлюдов, который соблазнил ее, лежал еще на своей высокой, пружинной с пуховым тюфяком, смятой постели и, расстегнув ворот голландской чистой ночной рубашки с заутюженными складочками на груди, курил папиросу» (32, 11). Как видно, взгляд повествователя, перемещающийся от изможденной, униженной Катюши — к мелким складочкам на ночной рубашке изнеженного Нехлюдова, заставляет читателя почувствовать всю разницу в положении героев: их социальном статусе, материальном достатке, настроении. Читатель, впервые взявший в руки «Воскресение», ждет, что же даст этот резкий контраст, как он повлияет на развитие сюжета?

Вторая половина романа изобилует сценами, демонстрирующими социальную несправедливость, жестокость и равнодушие власти, которые не могут не возмущать. Нехлюдов видел смерть двух арестантов (автор показал это крупным планом), не выдержавших перехода от тюрьмы к поезду, затем, в этот же день, на вокзале, он наблюдал, как слуги несли изнеженную княгиню Корчагину («лежачую» даму) в кресле. Обе сцены объединены в одном пространственно-временном локусе (один день, одно и то же место — вокзал, дорога к вокзалу), они увидены и оценены Нехлюдовым: «Ах, что я видел нынче,— сказал он, вдруг вспомнив второго умершего арестанта. — Два арестанта убиты <...> Их повели в этот жар. И два умерло от солнечного удара <...>. Убили те, кто насильно вели их,— раздраженно сказал Нехлюдов (32,

346); «Он посмотрел туда же и увидал шествие людей, несших на кресле даму в воздушном покрывале, окутывающем ей голову» (32, 344).

Нехлюдов, по рождению и социальному положению принадлежащий к этому же обществу, что и «лежачая» дама, делает свой выбор и связывает свою жизнь с арестантами, вагонами и решетками, мучающимися и умирающими бедняками. Герой, к радости и удовлетворению автора, нашел путь к Богу и не желает больше творить зло и быть с теми, кто мучает людей: «Шествие княгини направилось направо, к первому классу. Нехлюдов же с артельщиком, несшим вещи, и Тарасом с своим мешком пошли налево» (32, 347) — т.е. в 3-й класс.

Итак, как видно, роман Л. Н. Толстого являет собой и важный этап, и своего рода итог на пути тех поисков, которые вели писатели, создававшие произведения о «неплательщиках» — людях, осознавших свою вину перед демократическими низами общества. Масштаб толстовского таланта и уровень нравственного напряжения его «текста неплательщика», безусловно, выделяют «Воскресение» из массы романов и повестей, созданных и признанными классиками, и талантливыми беллетристами. Нехлюдов не только остро переживает свою вину перед нищим, голодным, обманутым человеком из народа (это можно сказать и о многочисленных героях других произведений), но его социальная и нравственная рефлексия не позволяют ему *служить* (т.е. делать карьеру, подобно своим друзьям, родственникам, знакомым), заставляют его порвать все отношения со своей средой. Герой отказывается от «выгодной» и «приличной» женитьбы на Мисси Корчагиной, решает земельные вопросы в пользу крестьян (так как «своей» земли быть не может!), готов вступить в брак с осужденной на каторгу Катюшей, бывшей проституткой, человеком с изломанной судьбой.

Толстой, срывая «всяческие маски», прикрывающие постыдные деяния облеченных властью богатых людей, не оставляет «неплательщику» ни одного шанса на оправдание своих поступков, приведших к страданию и падению простого человека. Герой имеет право лишь искупить свою личную вину: «...если я причиной того, что она пошла по этому пути, то я же и должен сделать, что могу, чтобы помочь ей (32, 118).

Однако для Толстого важно и то, что Нехлюдов понимает проблему глубже и шире, он осознает, те причины, которые порождают преступления, несчастье людей. И герой, и повествователь, и стоящий за ним «концепированный» автор, и сам человек и гражданин Л. Н. Толстой ненавидят те «условия», те «заведения», в которых зарождается и развивается социальная несправедливость. Всеми средствами, доступными художнику и публицисту, писатель заявляет об этом на страницах своего романа-»протеста», романа-»исповеди», романа-»обращения» к современникам.

В отличие от талантливых писателей беллетристов, решавших частные проблемы «неплательщиков» (осознавших свою вину и раскаявшихся), Толстой представляет «внешние» (социальные) и «внутренние» (духовные) события на широком общественном фоне. Если же сравнивать роман Толстого с произведениями писателей-классиков, то правомерным будет вывод о том, что в «Воскресении» интересующая нас проблема рассмотрена и представлена наиболее остро, а выводы затрагивают как личные, так и общественные сферы жизни очень многих людей — от тюремных надзирателей, управляющих имениями, офицеров — до министров (упомянут однажды и сам император).

Немаловажно и то, что сам Л. Н. Толстой, более последовательно, чем другие писатели, не только в своем творчестве, но и в частной, и в общественной жизни неизменно руководствовался одними и теми же принципами: боролся с несправедливостью, обличал зло, старался искупить вину того сословия, к которому принадлежал — создал школу, помогал голодающим, больным.

---

[1] См. об этом подробнее работу: *Шпилевая Г. А.* Образ «неплательщика» как авторская социорефлексия в русской литературе второй половины XIX — начале XX вв. // Художественный текст и культура: материалы V междунар. науч. конф. 2–4 окт. 2003 г. Владимир, 2004. С. 140–145.

[2] *Успенский Г. И.* Собр. соч.: в 9 т. М, 1956. Т. 3. С. 53.

[3] Там же. С. 56.

[4] *Фаустов А. А., Савинков С. В.* Очерки по характерологии русской литературы: середина XIX века. Воронеж, 1998. С. 4.

[5] *Зимина А. Н.* Проблема лишнего человека в творчестве Некрасова 50-х годов: поэма «Саша», роман «Тонкий человек, его приключения и наблюдения») // Учен. зап. Удмурт. гос. пед. ин-та. Ижевск, 1956. Вып. 10. С. 111.

[6] *Шпилевая Г. А.* Динамика прозы Н. А. Некрасова. Воронеж, 2006. С. 219.

[7] *Шпилевая Г. А.* Образ «неплательщика» как авторская социорефлексия в русской литературе второй половины XIX — начале XX в. ... С. 141.

[8] *Бондаренко В. А.* «Тип «делового человека» и проблема социальной вины в русской литературе 1840-х — 1890-х гг.»: дисс. ... канд. филолог. наук. Воронеж, 2012. 169 с. [9] Там же. С. 5.

[10] Русская литературная классика XIX века: учеб. пособие. Воронеж, 2001. С. 318.

[11] См. об этом подробнее в работе В. А. Свительского, отмечавшего: «...и Толстой, и Достоевский не доверяют официальному правосудию, связанному с механизмом бесчеловечной власти» (*Свительский В. А.* Личность в мире ценностей: аксиология русской психологической прозы 1860–1870-х гг. Воронеж, 2005. С. 27).

[12] Несобственно-прямая речь «позволяет автору <...> говорить и думать за своих персонажей. Тем самым создаются взаимосвязи между образом автора и образами персонажей, достигается единство художественного текста.

<...> По своим особенностям к несобственно-прямой речи близки такие тексты, которые раскрывают чувства, впечатление, ощущения персонажей» (см. Русский язык: Энциклопедия. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1998. С. 267–268).

[13] См. указ работу В. А. Свительского (позиция № 11 в данном списке литературы), С. 26.

[14] Это примеры из I разряда нашей оценочно-субъектной классификации — дается *прямая* оценка автора.

[15] Данный пример относится ко II разряду созданной нами классификации — повествователь косвенно цитирует героя — Нехлюдова.

О. В. ЛАНСКАЯ
г. Липецк

Языковое воплощение пространства тюрьмы в романе Л. Н. Толстого «Воскресение»

Тюрьма в русской литературе — образ трагический, отражающий противоречия, существующие в обществе, отношение человека к законам нравственности. Места заключения описывали в своих произведениях Ф. М. Достоевский, В. Г. Короленко, А. П. Чехов и другие писатели.

Пространство тюрьмы — одно из основных в романе Л. Н. Толстого «Воскресение», так как помогает понять характер героя, его отношение к несправедливости, унижению человеческого достоинства, раскрыть особенности общественно-политической обстановки в России в конце XIX в.

Слово *тюрьма*, одно из ключевых в тексте, имеет синонимы *острог*, *учреждение*, *этап* и *полуэтап*.

Слово *этап* с семой ‘дорога’ в Словаре В. И. Даля обозначает «острог на перепутьи и ночлег арестантов, где их принимает свежий конвой»[1], то есть тюрьму. Такое же значение имеет и слово *полуэтап* в романе Толстого «Воскресение»: «*Полуэтап* был расположен так же, как и все *этапы* и *полуэтапы* по сибирской дороге: во дворе, окруженном завостренными бревнами-палями, было три одноэтажных жилых дома»[2] (XIII; 392).

В русском языке слово *этап*, заимствованное из французского и немецкого языков, с семами ‘стойка’, ‘склад съестных припасов’, ‘амбар’ отмечено с 1847 г.[3].

Пространство полуэтапа выстроено по схеме «двор — три дома». Основывается оно, в свою очередь, на противопоставлении «арестанты — конвойная команда — офицер»: «В одном, в самом большом, с решетчатыми окнами, помещались *арестанты*, в другом — *конвойная команда*, в третьем — *офицер* и канцелярия» (XIII; 392).

Слово *дом* становится в тексте синонимом слова *тюрьма*: «Во всех трех *домах* теперь светились огни, как всегда, в особенности здесь, обманчиво обещая что-то хорошее, уютное в освещенных стенах. Перед крыльцами *домов* горели фонари, и еще фонарей пять горели около стен, освещая двор. Унтер-офицер подвел Нехлюдова по доске к крыльцу меньшего из *домов*» (XIII; 392).

Путь героя автор описывает детально, так как каждый шаг Нехлюдова значим: крыльцо — три ступеньки — передняя — внутренняя горница. Пространство дома, в котором жил офицер и находилась канцелярия, описано с помощью слов *передняя* («Поднявшись на три ступеньки, он (унтер-офицер. — *О.Л.*) пропустил его (Нехлюдова. — *О.Л.*) вперед себя в освещенную лампочкой, пропахшую угарным чадом *переднюю*» (XIII; 392), *внутренняя горница* («Увидев Нехлюдова, солдат оставил самовар, снял с Нехлюдова кожан и вошел *во внутреннюю горницу* (XIII; 392), *печь* («*У печи* солдат <...> раздувал самовар...» (XIII; 392), *дверь* («— *В дверь* ходите,— сказал солдат» (XIII; 392), *стол*, *комната, лампа* («Во второй *комнате*, освещенной висячею *лампой*, за накрытым с остатками обеда и двумя бутылками *столом* сидел <...> офицер» (XIII; 393).

Описание помещения восходит к противопоставлению «Нехлюдов — конвойный офицер», которое, в свою очередь, связано с понятиями «разные люди», «разное отношение к жизни». Так, Нехлюдов думает о свидании с Масловой, а офицер о том, как произвести впечатление на человека, принадлежащего к высшему обществу. Эти два человека абсолютно чужды и не понимают друг друга. В лексико-тематическую группу «конвойный офицер» входят номинации с отрицательной коннотацией с семами ‘пошлость’, ‘бездуховность’. Это *духи*, *перстень*, *грудь*, *плечи*, *усы*, *куртка*, словосочетания *маленькие злые глаза*, *блестящие глаза*, *очень красное лицо, неприятный смех*: «Во второй комнате <...> сидел в австрийской *куртке*, облегавшей его широкую *грудь* и *плечи*, с большими белокурыми *усами* и *очень красным лицом* офицер» (XIII; 393); «*Красное лицо* этого офицера, его *духи*, *перстень* и в особенности *неприятный смех* были очень противны Нехлюдову» (XIII; 394); «Офицер смотрел на Нехлюдова *блестящими глазами*» (XIII; 395).

В лексико-тематическую группу «конвойный офицер» входят также номинации с семами ‘национальность’, ‘внешний вид’, ‘поведение’, которые фиксируют отношение офицера к женщинам: «В Казани <...> была одна,— Эммой звали. Родом *венгерка*, а *глаза настоящие персидские* <...>. *Шику было* столько, что хоть *графине*...» (XIII; 395). У Нехлюдова отношение к женщинам иное. Он предельно искренно говорит об этом собеседнику: «...прямо скажу вам, что хотя я и сам был прежде другой, но теперь ненавижу такое отношение к женщинам» (XIII; 395).

Характеризует офицера и Нехлюдова не только отношение к женщинам, но и отношение ко всем людям вообще, к заключенным. Так, Нехлюдов воспитывает в себе уважение ко всем, с кем ему приходится иметь дело: «...он не позволял себе легкомысленно и презрительно обращаться с каким бы то ни было человеком и считал необходимым с каждым человеком говорить «вовсю»» (XIII; 394). Конвойный же офицер пытается изобразить из себя необыкновенного человека, привлечь внимание к своей персоне. Отсюда противопоставление «я — все остальные», стремление предстать перед Нехлюдовым в образе непонятого другими людьми героя: «Ведь про нашего брата такое понятие, что конвойный офицер — значит грубый человек, необразованный, а того не думают, что *человек может быть совсем для другого рожден*» (XIII; 394). Синтаксическая единица *человек может быть совсем для другого рожден* восходит к смыслам «претензия на необычность», «стремление показать свою значимость». Словосочетания *грубый человек*, *необразованный человек* приобретает сему ‘претензия на интеллигентность’.

Выслушав излияния собеседника, Нехлюдов приходит к выводу, что перед ним человек, который тяготится своей службой. Все это свидетельствует о том, что Нехлюдов и офицер друг друга не понимают. Офицер, учитывая положение князя в обществе, услышав его слова о людях, пострадавших напрасно, о необходимости облегчить страдания заключенных, начинает лгать. Его речь отрывиста, отличается незавершенностью, отсюда использование неполных предложений, употребление слов *по закону* и *стрелять* в качестве взаимодополняющих понятий, а слов *по закону* и *жалею* как понятий антонимичных, что свидетельствует о том, что существующий закон, по сути, жесток и зависит от воли бессердечного человека, обличенного властью: «Разумеется, жалеешь. Другие ничего не спускают, а я, где могу, стараюсь облегчить. Пускай лучше я пострадаю, да не они. Другие, как чуть что, сейчас *по закону*, а то — *стрелять*, а я *жалею*» (XIII; 394).

Нехлюдов, пытаясь объяснить, что к заключенным надо относиться с состраданием, говорит с собеседником по-особому, на что указывает использование сравнения *как говорят с иностранцами или детьми* (XIII; 395) с семами ‘стремление объяснить свою точку зрения’, ‘внимание к человеку, уважение к нему’, ‘разговор с человеком, которому надо объяснить то, что он плохо понимает’. Для офицера же главное — рассказать Нехлюдову о женщине, с которой он познакомился в Казани, поведать о своих любовных похождениях.

Приходим к выводу, что, характеризуя восприятие Нехлюдовым конвойного офицера, автор тем самым характеризует самого Нехлюдова как человека в высшей степени благородного, действительно переживающего воскресение души.

Дом, в котором содержались заключенные, представляет собой страшное место. С ним связано представление о деформированном пространстве. Двор перед домом освещен тускло, каким-то зловещим светом, на что указывают номинации с семами ‘неуютно’, ‘страшно’, ‘мрачно’. Сочетание темного и красного формирует представление о неживом пространстве: «...Нехлюдов вышел опять на *темный* двор, *тускло* освещаемый *красно* горевшими фонарями» (XIII; 395). Сам путь героя затем напоминает странное, страшное кружение. Вначале он попадает к дверям, которые оказываются закрытыми, так как старшой ушел в село, потом его ведут к другому входу. Границу обозначают слова *крыльцо, вход, дверь*: «Солдат повел Нехлюдова на другое *крыльцо* и подошел по доскам к другому *входу*» (XIII; 396). Значение «граница» приобретают и слова с отрицательной коннотацией с семами ‘звук’ и ‘запах’: «...когда Нехлюдов подошел ближе и отворилась *дверь*, *гуденье* это усилилось и перешло в *звук перекрикивающихся*, *ругающихся*, *смеющихся голосов*. Послышался *переливчатый звук цепей*, и *пахнуло* знакомым тяжелым *запахом испражнений* и *дегтя*»; «Войдя теперь в сени полуэтапа, где стояла огромная *вонючая кадка*, так называемая «*параха*»» (XIII; 396).

Пространство дома-тюрьмы структурируется с помощью слов *сени*, *кадка*, *коридор*, словосочетаний *камера семейных*, *большая камера холостых*, *маленькие камеры, отведенные для политических* (XIII; 396), восходящих к противопоставлению «Нехлюдов — уголовные — политические», которое отражено в тексте в номинациях лексико-тематических групп «чувства Нехлюдова к заключенным», «отношение уголовных заключенных к политическим», «отношение политических заключенных к уголовным», «противоречия в группе политических». Так, когда Нехлюдов подходил к камерам политических заключенных, то услышал, как о них отзываются уголовные. Говоривший использовал слова *дармоеды, черти*: «— Им хорошо, *дармоедам*, <...> что им, *чертям*, делается» (XIII; 397). Добавлено было неприличное ругательство. Общая оценка высказывания зафиксирована в тексте в словосочетании *недружелюбный, насмешливый хохот* (XIII; 397). В свою очередь, для Новодворова уголовные — это звери, для Крыльцова, Марьи Павловны, Катюши Масловой — люди, заслуживающие сострадания: «— Вон они *звери*! Какое может быть общение между нами и ими? — спокойно сказал Новодворов» (XIII; 409); «— Я думаю, *обижен* простой народ,— сказала она (Маслова. — *О. Л.*)» (XIII; 411).

Нет единства среди политических. Так, «Новодворову противостоит крестьянин Набатов — подвижник, просветитель крестьян, деятельный, веселый, бодрый, энергичный, ловкий, практичный, общинный человек»[4].

Слово *дом*, отражая конфликт между уголовными и политическими, в тексте приобретает сему ‘теснота’: «Помещение *этапа*, предна-

значенное для ста пятидесяти человек, вмещая четыреста пятьдесят, было так тесно, что арестанты, не помещаясь в камерах, наполняли коридор. Одни сидели и лежали на полу, другие двигались взад и вперед с пустыми и полными кипятком чайниками» (XIII; 396). Деформированность пространства фиксируется через использование словосочетаний *двигались взад, вперед, сидели, лежали на полу*, *предназначенное для ста пятидесяти человек, вмещая четыреста пятьдесят,* приобретающих семы ‘место, не предназначенное для жизни’, ‘антидом’, ‘издевательство над людьми’.

Страшно пространство камер, которое структурируется с помощью слов *нары, дверь, окна, решетки, женщины, мужчины, толпа*: «Нехлюдов заглянул *в дверь*. Вся камера была полна *женщинами* и *мужчинами* и *на нарах* и *под нарами*. В камере стоял пар от сохнувшей мокрой одежды и слышался неумолкаемый крик женских голосов. Следующая *дверь* была *дверь* камеры холостых. Эта была еще полнее, и даже в самой *двери* и выступая в коридор стояла шумная *толпа*» (XIII; 396–397); «...— Вон *окна* разбиты. — Он (Крыльцов. — *О. Л.*) указал на разбитые в двух местах *стекла* за железными *решетками*» (XIII; 401).

При этом ключевым словом при описании помещения является слово *дверь*: «Помещение политических состояло из двух маленьких камер, *двери* которых выходили в отгороженную часть коридора» (XIII; 399). У дверей, у печи, Нехлюдов встречает Симонсона, затем происходит встреча с Масловой: «Нехлюдов уже хотел пройти в первую *дверь*, когда из другой *двери*, согнувшись, с веником в руке, которым она подвигала к печке большую кучу сора и пыли, вышла Маслова» (XIII; 399–400). И объяснение Нехлюдова с Симонсоном начинается в коридоре у дверей, а продолжается в маленькой камере, так как в коридоре из-за шума, доносившегося из соседней камеры, разговаривать было нельзя. В этом страшном пространстве Симонсон говорит Нехлюдову о своих чувствах к Масловой, о том, что хочет на ней жениться.

Структурирует пространство и слово *нары* в значении «досчатый широкий помост для спанья, не вдоль стен, как на лавке, а поперек» (Сл. Д., т. II, с. 464). Данная лексическая единица — это курское *мары*, которое, по В. И. Далю, обозначает «носилки на покойников» (Сл. Д., т. II, с. 464). Имеет слово *нары* и сему ‘гроб’ (Сл. Чер., т. I, с. 559), а также ‘стол’, так как на нарах была устроена трапеза. То есть слово *нары*, обозначая «дощатый настил (как для покойников) в тюрьме, ночлежном доме, в бараке и пр.» (Сл. Чер., т. I, с. 560), ассоциируется с неволей, тяжелыми условиями жизни, гибелью человека.

Тюрьма воспринимается в тексте как пространство расширяющееся за счет топонимов, словосочетаний с семами ‘место ссылки’, ‘место заключения’, ‘место ареста’. Данные лексические и синтаксические единицы имеют и семы ‘Россия’, ‘история государства Российского’.

Это *Петербург* («С четвертого курса муж ее, замешанный в университетской истории, был выслан *из Петербурга*» (XIII; 408), *Кара* («Все полагали, что Петлин уже давно *на Каре*» (XIII; 419), *Петропавловка* («— Мне муж говорил, что Неверов видел приведенья еще в *Петропавловке*,— сказала Ранцева» (XIII; 419), *Казань* («Неверов был со мной (с Петлиным. — *О. Л.*) и повесился *в Казани*» (XIII; 419), *в тюрьмах Тюменской, Екатеринбургской, Томской* («*В тюрьмах — Тюменской, Екатеринбургской, Томской* и на этапах Нехлюдов видел, как эта цель (развращение. — *О. Л.)*, которую, казалось, поставило себе общество, успешно достигалась» (XIII, 424), *Пермская губерния, Архангельская губерния, Якутская область* («После второй тюрьмы его (Набатова. — *О. Л.*) сослали *в Пермскую губернию*. Он бежал оттуда. Его опять взяли и <...> сослали *в Архангельскую губернию*. Оттуда за отказ от присяги новому царю его приговорили к ссылке *в Якутскую область*» (XIII; 403).

Пространство тюрьмы вызывает в Нехлюдове особые чувства, изначально свойственные истинно православному человеку, что зафиксировано номинациями *чувство*, *стыд, виновность, виноватость, ужас, отвращение,* входящими в лексико-тематическую группу «чувства Нехлюдова к уголовным заключенным»: «...испытывал мучительное чувство *стыда* и сознание своей *виновности* перед ними. Самое тяжелое для него было то, что к этому чувству *стыда* и *виноватости* примешивалось еще непреодолимое *чувство отвращения* и *ужаса*. Он знал, что в том положении, в которое они были поставлены, нельзя было не быть такими, как они, и все-таки не мог подавить своего *отвращения* к ним» (XIII; 397).

Иные чувства испытывает Нехлюдов при встрече с политическими заключенными. Это и неприятие (например, Новодворова), и сострадание, и жалость. Отношение автора и Нехлюдова к политическим совпадает. Описывая заключенных, Толстой использует ряд определений с положительной коннотацией: *огромные испуганные* глаза (Вера Ефремовна); *загоревшие красивые, ловкие* руки; женщина *с умным, кротким* выражением лица (Эмилия Ранцева); *хорошенькая улыбающаяся* Грабец (XIII; 400–401); человек *деятельный, веселый, бодрый* (Набатов) (XIII; 404); *хрустальный* человек (Неверов) (XIII; 420). Значение определения *хрустальный* раскрывается через синтаксические единицы *человек, которых мало земля родит*; *всего насквозь видно*; *не мог притворяться; не то что тонкокожий, он точно весь был ободранный, и все нервы наружу* (XIII; 420).

В лексико-тематическую группу «политические» входят слова с семами ‘социальное положение’, ‘род занятий’. Это *крестьянин*, *фабричный, рабочий, курсистка*: «Оба эти политические арестанта были люди из народа: первый был *крестьянин* Набатов, второй был *фабричный* Маркел Кондратьев» (XIII; 400–401); «Грабец эта была молодень-

кая *курсистка*» (XIII; 407); «Так он (Новодворов. — *О. Л.*) относился теперь, на пути, к пропагандированному им *рабочему* Кондратьеву» (XIII; 412). Данные лексические единицы, связанные с началом описания жизни героев, оказавшихся в заключении, восходят к смыслам «народ», «требование справедливого устройства общества», «соблюдение нравственных законов», «сострадание», «милосердие», «трагические судьбы».

Итак, в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» показано «нравственное взросление и духовное преображение главного героя, <...> его отказ от профанного мышления и начало руководства заповедями Евангелия»[5].

В пространстве тюрьмы, представленном в тексте, создается атмосфера, раскрывающая чувства и переживания человека, оказавшегося в неволе; порождается отрицательное отношение к государственному устройству России второй половины XIX в.[6] Тюрьма — это пространство скорби, мучительных противоречий, поисков смысла жизни, выхода из создавшегося трагического положения. Фактически в романе поставлены вечные вопросы: конфликт человека с властью, следование нравственным законам, возрождающим душу человека.

---

[1] *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. М.: Рус. яз. — Медиа, 2006. Т. IV. С. 665. (Сл. Д.).

[2] *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 22 т. М.: Художественная литература, 1983. Далее в скобках указаны том и страница.

[3] *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка: В 2 т. 4-е изд., стереотип. М.: Русский язык, 2001. Т. II. С. 454. (Сл. Чер.).

[4] *Масолова Е. А.* Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»: социальный, христианский и мифопоэтический дискурс: монография / Е. А. Масолова. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2014. С. 69.

[5] *Масолова Е. А.* Указ. соч. С. 184.

[6] См.: *Ланская О. В.* Концептуальное поле «тюрьма» в романе Л. Н. Толстого «Воскресение» // Ментальность народа и его язык. Изменяющийся славянский мир: новое в лингвистике: сборник статей [Текст]; отв. ред. М. Влад. Пименова. СПб.: Севастополь: Рибэст, 2009. (Серия «Славянский мир». Вып. 3). С. 396.

П. И. МЕЛЬНИКОВ (ДАВЫДОВ)
г. Люберцы

Опыт филологического (лингвостилистического) анализа фрагмента из романа Л. Н. Толстого «Воскресение»

В художественном творчестве позднего Толстого происходили существенные перемены. Они в полной мере сказались в последнем романе писателя «Воскресение». Надо сказать, что антитеза и оксюморон являются излюбленными приемами в творческой мастерской Толстого. Это мы видим и на примере лингвостилистического анализа первого эпизода первой части романа.

Произведение открывается описанием городской весны: «Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы не росло на ней, как ни выгоняли всех животных и птиц,— *весна была весною даже и в городе* (курсив наш. — *П. М.*)» (32, 3). Как изменился голос Толстого! Это голос судьи и пророка, голос человека, познавшего истину и ощущающего за плечами сочувствие многомиллионного деревенского люда, глазами которого он видит и оценивает городскую жизнь. Картина весны символична: это суд над цивилизацией, мертвящей все живое, загоняющей в бездушные, стандартные формы живую жизнь, угрожающей уничтожением природе и человеку. Символично, что роман увидел свет на страницах журнала «Нива» в 1899 г., в преддверии XX в., которому будет суждено во всей научной, технической и иной прогрессивной самоуверенности поставить мир на грань катастрофы.

Как известно, композиционным «ключом» ко всему произведению обычно является вводная часть произведения — первая часть. Эта часть романа открывается несколькими цитатами из *Евангелия* (тетра) в качестве эпиграфа, что, безусловно, является отсылкой к сакраль-

ной реальности. Первая цитата «Ст. 21. Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? до семи раз? 22. Иисус говорит ему: говорю тебе: до семи, но до седмижды семидесяти раз (Мф 18) не только непосредственно устанавливает композиционную связь между идейно-тематической направленностью романа и философией сакрального текста (интегральная тематическая сема, далее — ИС), но и указывает на конкретную аналогию между Евангельской притчей и содержанием первой части (что, по сути, является дифференциальной тематической семой, далее — ДС): «*Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети*. Но люди — *большие, взрослые люди* — не переставали обманывать и мучить себя и друг друга» (курсив наш. — *П. М.*; 32, 3). Через соотнесение ИС и ДС подспудно вводится антитеза между сакральной реальностью («*красота мира Божия, данная для блага всех существ*») и миром нынешних ценностей, который «они сами выдумали, чтобы властвовать друг над другом» (32, 3).

В нравственном ключе развивает этот содержательный момент и вторая цитата, взятая также автором из Евангелия от Матфея: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? (Мф 7, 3)». Эта цитата уже указывает на одну из ключевых нравственных проблем повествования, извлекаемую из противопоставления сакральной и обыденной реальностей: «Так, в конторе губернской тюрьмы *считалось священным и важным не то, что всем животным и людям даны умиление и радость весны*, а считалось священным и важным то, что накануне получена была за номером с печатью и заголовком бумага о том, чтобы к девяти часам утра были доставлены в нынешний день, 28-го апреля, три содержащиеся в тюрьме подследственные арестанта...» (32, 4)». Обозначенная выше антитеза получает семантическую конкретизацию и дальнейшее стилистическое развитие через «расщепление» формул под «давлением» сакральной цитаты. Так реализуется композиционная диспозиция между сакральностью и обыденностью.

Далее в эпиграфе представлена цитата из Евангелия от Иоанна: «... кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин 8, 7),— отсылающая осведомленного читателя к притче о Марии Магдалине. Эта сакральная формула выполняет уже ключевую сюжетообразующую функцию в стилистической структуре романа: если первые две цитаты являются аллюзиями для введения в структуру повествования антитезы как «ключа» к нравственной характеристике главного героя (которого еще нет в первом эпизоде части, но есть его установка на совершение поступка), то третья есть первотолчок к фабуле: «И вот, на основании этого предписания, 28-го апреля в темный вонючий коридор женского отделения, в восемь часов утра, вошел старший надзи-

ратель. Вслед за ним вошла в коридор женщина с измученным лицом и вьющимися седыми волосами, одетая в кофту с рукавами, обшитыми галунами, и подпоясанную поясом с синим кантом. Это была надзирательница. — Вам Маслову? — спросила она...» (32, 4)». Читатель чувствует завершение экспозиции и приближение завязки: «Чувствуя направленные на себя взгляды, арестантка незаметно, не поворачивая головы, косилась на тех, кто смотрел на нее, и это обращенное на нее внимание веселило ее» (32, 6). Здесь антитеза приобретает энантиосемичный (взаимообратный) характер: в провинившуюся уже бросили камень и не один — она была арестована и предстала перед судом. Причем и тут описание несет демонстративно-символический характер: «*...голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки,* обдав ее ветром. *Арестантка улыбнулась и потом тяжело вздохнула, вспомнив свое положение*» (курсив наш. — *П. М.*; 32, 6). Не случайно «история арестантки Масловой была *очень обыкновенная* (курсив наш. — *П. М.*) история» (32, 6): Нехлюдов соблазнил воспитанницу в доме своих теток, Катюшу Маслову, а потом ее бросил, потому что «он перестал верить себе, а стал верить другим. Престал же он верить себе потому, что жить, веря себе, было слишком трудно: веря себе, всякий вопрос надо решать всегда не в пользу своего животного *я*, ищущего легких радостей, а почти всегда против него; веря же другим, решать нечего было, все уже было решено, и решено было всегда против духовного и в пользу животного *я*» (32, 48).

Последняя — четвертая (!) — позиция в эпиграфе занята цитатой из Евангелия от Луки: «Ученик не бывает выше своего учителя; но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его (Лк 6, 40)». На этом гиперссылка завершается. Она имеет отношение ко всему тексту романа, несмотря на узкоформульный характер сакрального содержания.

Первый эпизод экспозиции романа, таким образом, безусловно символичен и непосредственно связан многочисленными смысловыми нитями с ключевым символом «воскресение», вынесенным автором в заглавие произведения. В одиннадцатом члене Символа веры «О воскресении мертвых» читаем «*Воскресение мертвых*, которого мы «чаем» (ожидаем), последует одновременно со *Вторым и славным Пришествием Господа нашего Иисуса Христа* и будет состоять в том, что тела всех умерших соединятся со своими душами и оживут»[1], т.е. «Воскресение» есть одна из ведущих категорий Символа веры, непосредственно связанная с церковно-религиозными таинствами, определяющими жизнь верующих. Это глубокое символическое значение в религиозной практике означает следующее: «Это событие *Второго пришествия*, во время которого *воскреснут* все когда-либо жившие на земле люди — и верующие, и неверующие. Их восстановившиеся

тела будут, с одной стороны, теми же самыми, что при жизни, с другой — обретут новые свойства, станут *духовными*. «*Духовность*» тел будет заключаться, во-первых, в их неуничтожимости (бессмертии), во-вторых, в соответствии каждого тела *духовно-нравственному состоянию* обитающей в нем души. Поэтому у праведников будут прекрасные, здоровые тела, а у грешников — уродливые. Аналогичные изменения мгновенно произойдут и с теми, кто дожил до Второго пришествия. За воскресением мертвых последует Страшный суд»[2]. Из приведенного определения видно, что предлагаемое автором наименование имеет глубокий метафорический подтекст, реализуемый впоследствии в сюжетно-композиционной и идейно-тематической структуре романа. Первый же фрагмент экспозиции представляет собой описание весны, опирающееся на антитезу двух метафорических символов — «красоты» и «людей», которые разведены именно посредством признака священства. Толстовские описания изобилуют многочисленными живописными метафорическими эпитетами, которые и рисуют детализированную картину всеобщей человеческой духовной слепости, влекущей за собой духовную смерть. ИС «духовная смерть» вычленяется из контекста путем семантического напряжения между кардинальным символом «Воскресение» и символической оппозицией весны и людей, подспудно намекающей и отсылающей читателя к представлениям о бытии в религиозной картине мира, где морально-нравственный аспект синкретично слит с объективно-природным: через сакральный символ голубя арестантка Маслова возвращается к жизни через испытания, а Нехлюдов (его еще нет в повествовании) погружается в состояние «духовной смерти».

Духовная смерть Нехлюдова связана с отказом от себя, от духовного чувства стыда и совести и с принятием образа жизни, типичного для господ: «Но что же делать? Всегда так. Так это было с Шенбоком и гувернанткой, про которую он рассказывал, так это было с дядей Гришей, так это было с отцом <...>. А если все так делают, то, стало быть, так и надо» (32, 65). Категория долженствования, навязанная персонажу господской средой, в которой было распространено не только физическое, но и моральное угнетение податного сословия особенно сильно разлагает его душу и ввергает в грех. Так подспудно через оппозиции сакральных и метафорических символов автор вводит в текст философский подтекст, реализующийся в структуре романа: ключевой смысл *Воскресения* как нравственно-религиозного акта — *это спасение, которое есть «обновление души и уподобление Богу»*[3]: спасение есть избавление человека от греха, проклятия и смерти» (Патриарх Сергий Страгородский), т.е. в основе символической тайны *Воскресения* лежит спасение человеческой души, ибо она есть образ и подобие Божие. Нехлюдов своим необдуманным проступком, поддавшись душевной

слабости, обрек себя на морально-нравственные переживания и духовную смерть. И Толстой создает развернутое, эпически многомерное, художественное исследование души, отказавшей себе в спасении и, следовательно, в Воскресении.

---

[1] Энциклопедия православной жизни / Авторы-сост. Г. Калинина и Г. Стромынский. Тула: Имидж принт, 2009. С. 48.

[2] Практический справочник по православию. М.: Олма. Медиа групп, 2008. С. 86.

[3] Энциклопедия православной жизни / Авторы-сост. Г. Калинина и Г. Стромынский. Тула: Имидж принт, 2009. С. 4.

И. Ю. МАТВЕЕВА
г. Санкт-Петербург

Упоминание о русских художниках в ранних редакциях романа Л. Н. Толстого «Воскресение»

Рукописные источники романа Л. Н. Толстого «Воскресение» являются наглядным свидетельством того, как писатель в работе над текстом, по его словам, занимался «отбрасыванием», «отсеканием нагроможденного»[1]. Материалы двух незаконченных и шести законченных редакций романа демонстрируют, как Толстой, всегда остро реагировавший на вопросы и запросы современности, убирал из окончательного текста прямые называния, имена, факты, обнажая тем самым вневременные, общечеловеческие смыслы произведения. Вместе с тем чтение черновиков романа «Воскресение» обнаруживает то напряженное взаимодействие с современностью, которое провоцировало художественную работу писателя.

В вариантах второй законченной редакции романа, над которой Толстой работал осенью 1895 и зимой 1896 г., появляется разговор о русской живописи, в сцене обеда у Корчагиных (во второй редакции фамилии героев — Кармалины, Сарматовы).

Сцена обеда у Корчагиных появилась еще в первой законченной редакции будущего романа: после заседания суда, на котором Нехлюдов оказывается присяжным, а Катюша Маслова подсудимой, герой отправляется сначала домой, а потом на обед. В записке Алины Кармалиной (будущей Мисси Корчагиной) Нехлюдову, напоминающей о его роли присяжного, упомянута Третьяковская галерея: вы «не можете никак ехать с нами и Колосовым в Третьяковскую галерею...» (33, 24–25). В окончательном тексте романа в письме героини фраза сохраняется, но указание на Третьяковскую галерею снято: «не можете никак ехать с нами и Колосовым смотреть картины» (32, 13–14).

Во второй редакции романа, когда Нехлюдов приезжает в дом Корчагиных (здесь Кармалиных), в сцену введен разговор о посещении

Третьяковской галереи: Когда Нехлюдов задается вопросами: «И зачем я пришел сюда? ...Что я скажу ей?»[2] (*ОР ГМТ*. Воскресение. № 22. Л. 159), между Алиной и Колосовым разворачивается спор о живописцах: «она рассказывала ему, как они вчера были в Третьяковской галерее, как она с всегда новым восторгом любовалась Христом Крамского.

— Это не Христос, а полотер,— сказал решительно Колосов. — Хороши там только Васнецовские вещи. Не сойдемс<я> мы с вами.

— Вечно спорят,— запивая вином пирожное, громко хохоча, сказал старик Карм<алин>» (33, 112).

В разговор вступает Катерина Александровна, которая, «перемешивая русские слова французскими, рассказывала про впечатление, полученное ею от Богородицы Васнецова» (*ОР ГМТ*. Воскресение. № 22. Л. 159).

В следующем варианте второй редакции этот фрагмент развернут характеристикой Колосова, а упоминание Катерины Александровны о Богородице Васнецова снято. О Колосове добавлено: «Он изучил в 60-х годах Куглера, смотрел в Риме все достопримеч<ательности> и потому считал себя великим знатоком в искусстве, хотя был совершенно лишен всякого личного вкуса и судил об искусстве только по доверию к авторитетам» (33, 112). Первоначально в рукописи была еще одна характеристика Колосова, позже зачеркнутая: «он был чистый эстетик [в деле] живописи» (*ОР ГМТ*. Воскресение. № 23. Л. 91).

Как мы уже отмечали, в окончательном тексте романа «Воскресение» эти характеристики Колосова не сохранятся, но среди размышлений Нехлюдова, который еще далек от понимания всей полноты вины перед Катюшей, встречаются мечты об «освобождении», восходящие к указанному фрагменту второй редакции романа: «Да, подышать свободно. Уехать за границу — в Рим, заняться своей картиной...» (32, 100).

Во второй редакции романа разговор о живописи и об искусстве будет продолжен в кабинете княгини Софьи Васильевны, «лежачей дамы»: в этом эпизоде Колосов «осуждал и драму Ибсена, и высказывал по этому случаю свои старинные, когда-то, лет 30 тому назад, новые и давно отвергнутые суждения об искусстве. Соф<ья> Васил<ьевна> вставляла свои слова. Она защищала Ибсена» (*ОР ГМТ*. Воскресение. № . 23. Л. 97).

В окончательной редакции «Воскресения» остаются только крупицы от этого разговора. В доме Корчагиных Нехлюдов спрашивает: «А вы? ездили смотреть картины?». Мисси отвечает: «Мы отложили. А мы были на Lawn tennis'е...» (32, 91). Реалии и имена, возникающие в тексте второй законченной редакции, будут сняты при дальнейшей работе над романом. Только в связи с упоминанием о картине Нехлюдова, над которой герой одно время работал и которую никак не мог

закончить, в окончательном тексте «Воскресения» появится имя Репина. О картине спрашивает героя Софья Васильевна, мать Мисси Корчагиной: «Ну, а что же ваша картина, она очень интересует меня...» (32, 95). После ответа Нехлюдова, что он «совсем оставил» картину. Софья Васильевна замечает, обращаясь к Колосову: «Напрасно! Вы знаете, мне сказал сам Репин, что у него положительный талант» (32, 95).

Эстетические размышления Толстого, его связи с деятелями искусства в 1890-х годах создают вокруг приведенного разговора о живописи второй законченной редакции романа определенный сюжет.

Одновременно с работой над текстом будущего романа Толстой пишет статьи об искусстве. Дневники Толстого конца 1880–1890-х гг. отражают этапы этой работы и изобилуют размышлениями о значении искусства в современной жизни. В письмах Толстого Н. Н. Страхову и В. В. Стасову мы находим указания на многочисленные источники, которыми пользовался Толстой. Отметим, что в письме Н. Н. Страхову от 28 мая 1889 г. упомянут Франц Куглер, поклонником которого стал герой интересующего нас эпизода — Колосов. Толстой обращался к Страхову с вопросом: «Нет ли истории и теории искусства кроме Куглера...» (64, 257).

Размышления Толстого в трактате «Что такое искусство?» разворачиваются из одного существенного вопроса — о затраченных усилиях людей ради «удовлетворения требований искусства»: «Для всякого балета, цирка, оперы, оперетки, выставки, картины, концерта, печатания книги нужна напряженная работа тысяч и тысяч людей» (30, 32). Вопрос о содержательности искусства становится первоочередным для Толстого: «И потому для общества, среди которого возникают и поддерживаются произведения искусства, нужно знать, все ли то действительно искусство, что выдается за таковое ...» (30, 33).

Вопрос о содержательности искусства становится важнейшим в переписке Толстого и В. В. Стасова 1890-х гг. После чтения работы Толстого «Предисловие к сочинениям Мопассана» Стасов писал: «Еще более меня радовало и восхищало «Предисловие» тем, что оно призывает нынешних людей раньше всего — *к содержанию*, а не ко внешней оболочке художественного творения...»[3]. Кроме того, в письме Стасов делает следующее сравнение: «роман, драма, картина, статуя, опера, симфония — не *десерт*, а *обед*; не то, что должно ласкать язык и небо, а что должно питать желудок; и если провизия гнилая и протухлая, то никакой «талант» повара и кондитера ничего не стоят...»[4].

Напомним, что герои романа «Воскресение» говорят об искусстве, только закончив обед. Разговор становится именно «десертом», эта связь обнажена во второй редакции романа: Нехлюдов «видел во 1-х, то, что ни Соф<ье> Вас<ильев>не, ни Колосову нет никакого дела ни до Ибсена, ни до друг друга, и что они, переставши есть, жалеют

об этом и стараются чем-нибудь занять это пустое место. Пустое место это занимал кофе с ликером, кот<орый> причмокивая пил Колосов и, между прочим, и разговор» (*ОР ГМТ*. Воскресение. № . 23. Л. 78).

В окончательном тексте романа упоминания о живописи, музыке, театре и о людях искусства фрагментарны и связаны с жизнью высшего света и чиновников. Занятия живописью Нехлюдова отмечены уже в 4 главе первой части романа. Звуки «надоевшей рапсодии» Листа Нехлюдов слышит в доме смотрителя тюрьмы. Приехав к адвокату Фанарину, чтобы помочь Масловой, Нехлюдов встречает писателя, а жена адвоката приглашает героя на «литературное утро». Позже, когда Нехлюдов говорит о бессмысленности суда, несправедливости судебной системы, адвокат зовет Нехлюдова потолковать об «общих вопросах» и встретиться с «учеными, литераторами, художниками». О французском театре и о приезжей актрисе, разговаривают Нехлюдов и Mariette в гостиной графини Чарской. В третьей части романа Нехлюдов, следуя за Масловой в Сибирь, попадает в гости к генералу, где слушает пятую симфонию Бетховена.

В названных эпизодах разоблачается «ложное» искусство, имеющее основной целью удовольствие и далеко стоящее от насущных вопросов человеческой жизни.

Внимание Толстого к вопросам искусства имеет не только общефилософский характер. Эстетические работы Толстого — это результат живого диалога с эпохой. В рамках нашей темы коснемся только вопроса о живописи.

Упоминание Третьяковской галереи в ранних редакциях романа «Воскресение» относится к 1895–1896 гг., незадолго до этого времени галерея была торжественно передана в дар Москве. С самим П. М. Третьяковым Толстого связывало личное знакомство и переписка. В 1889 г. Толстой подробно осматривал собранную Третьяковым коллекцию, в дневнике писателя от 14 марта 1889 г. есть запись: «переправил еще об искусстве. <...> Пошел к Третьякову» (50, 51–52). В письме Третьякову от 14 июня 1894 г. Толстой вновь говорит о своих посещениях галереи: «Я нынче зимою был три раза в вашей галерее...» (67, 154). В этом же письме Толстой касается вопросов современной живописи: «Форма — техника выработана в наше время до большого совершенства <...>, но людей, обладающих содержанием, то есть, художественной мыслью, то есть новым освещением важных вопросов жизни <...> становится все меньше и меньше...» (67, 154). Современную живопись, по словам Толстого, составляют «бессмысленные жанры и выдуманные исторические или религиозные картины, как Уде, или Беро, или наш Васнецов. Искренних сердцем содержательных картин нет» (67, 154).

Имена художников, упомянутых во второй редакции романа «Воскресение» (И. Н. Крамской, В. М. Васнецов) и в окончательной редак-

ции (И. Е. Репин) связаны с Передвижными выставками[5]. К работам этих художников Толстой обращается в трактате «Что такое искусство?»: здесь назван рисунок Крамского, в котором, по словам Толстого, выразилась именно «любовь христианская» (30, 160), религиозная живопись Васнецова оценивается Толстым как «скверное подражание подражанию подражаний» (30, 146). В «Предисловии к сочинениям Мопассана» Толстой назовет Репина «современным высококультурным художником, изображающим жизнь, не понимая ее смысла» (30, 15).

О пристальном внимании Толстого к вопросам современной русской живописи свидетельствует его переписка. Подробные «отчеты» о Передвижных выставках мы находим в письмах Н. Н. Страхова, например, в письме 15 марта 1878 г.: «Ужасно жаль, что Вы не посмотрели передвижников. Это ряд этюдов в реалистическом духе. Некоторые удивительны по красоте, напр. Ржаное поле Шишкина. Другие по безобразию, напр. Кочегар Ярошенко и протодьякон Репина. Есть и удивительный технический фокус — просвет в сосновом лесе — Куинджи. Портреты — бесподобные — лучший Крамского — князь Дм. Ал. Оболенский; его же Некрасов не так хорош. Словом — русская школа (Стасов напечатал, что она зародилась в 1862 г.) со всеми достоинствами и недостатками»[6].

В. В. Стасов в свою очередь послал Толстому статью «Передвижная выставка 1878 года». В ответном письме Толстой благодарил Стасова за статью («фельетон»), выражал заинтересованность работами Г. Г. Мясоедова, К. А. Савицкого, обсуждал талант И. Е. Репина и высказывал сожаление, что не смог повидать И. Н. Крамского[7].

Упоминания о посещении выставок встречаются в дневнике Толстого, например, запись от 7 апреля 1884 г.: «Иду на выставку. Прекрасно Крамского. Репина — не вышло. Говорил с Третьяковым порядочно»[8] (49, 79). Софья Андреевна Толстая в письмах к мужу рассказывала о художественных выставках, например, в письме от 15 апреля 1887 г.: «Была сегодня на выставке. <...> Перед картиной Паленова «Грешница» я в нерешительности и недоумении. «Дурно» — никак нельзя сказать. Скорее, «хорошо», но холодно действует, ничего не говорит ни одна фигура. Сидит Христос (профиль Черткова) рыжеватый, глядит на грешницу, которую держат двое. Толпа людей. Лица все выдуманные и неговорящие: всякое отдельно хорошо, но что же? Так и хочется их оживить; — это не люди, не страсти, не жизнь — это только картина. <...> Есть чудесные портреты — Гаршин Репина, удивительно хорош»[9].

Именно об этой выставке Толстой писал Н. Н. Ге 14 мая 1887 г.: «Меня затащили на выставку. Так ведь ничего похожего на картины, как произведения человеческой души, а не рук, нету...» (64, 46).

Разговор об искусстве в доме Корчагиных (Кармалиных), во второй редакции романа «Воскресение» строится вокруг вопроса об изо-

бражении Христа. Алина Кармалина «восхищена» Христом Крамского[10], которого Колосов называет «полотером». По воспоминаниям В. Ф. Лазурского[11], очень близкую характеристику Толстой давал изображению Христа у В. Д. Поленова в картине «Христос и грешница»: «Поленов красив, но бессодержателен... Христос у него — какой-то полотер»[12]. Напротив того, о Христе Крамского Толстой высказывался очень сочувственно: ««Христос» Крамского — великая вещь. Я понимаю этого Христа и вижу в нем глубокую мысль, <...> повесьте у себя эту картину — она вечно будет тревожить вашу душу»[13].

Показательно письмо к Третьякову от 14 июля 1894 г., где Толстой говорит об изображении Христа в русской живописи, следующим образом противопоставляя художников: «Одни ужасаются на последние картины Ге, а другие на — не умею как назвать — мазню Васнецова, которая висит у вас в галерее... Люди ужасаются на произведения Васнецова, потому что они исполнены лжи, и все знают, что ни таких Христов, ни Саваофов, ни Богородиц не было, не могло быть и не должно быть; люди же, ужасающиеся на произведения Ге, ужасаются только потому, что не находят в ней той лжи, которую они любят» (67, 175). Далее Толстой дает очень краткую характеристику картине Крамского «Христос в пустыне»: «это лучший Христос, которого я знаю» (67, 175).

Нужно заметить, что Толстой неоднократно противопоставлял работы Васнецова и Ге, например, в письме к Третьякову от 15 июля 1894 г.: «Различие главное между Ге и Васнецовым еще в том, что Ге открывает людям то, что впереди их, зовет их к деятельности и добру и опережает свое время на столетие, тогда как Васнецов зовет людей назад, в тот мрак, из которого они с такими усилиями и жертвами только что выбираются, зовет их к неподвижности, суеверию, дикости и отстает от своего времени на столетие» (67, 176).

Необходимость новой трактовки евангельских сюжетов и образа Христа ощущалась живописцами. В книге, посвященной Н. Н. Ге, Стасов приводил слова архитектора Льва Даля о религиозной живописи второй половины XIX в.: в изображении святых «совсем другая мода пошла»[14]. В письме к Стасову от 30 апреля 1884 г. Крамской писал: «Я отвергаю изображение исторического Христа на том основании, что он во всяком случае будет мифом — и мифом... фатальным...»[15]. Крамской создал совершенно другой образ Христа. Неслучайно художник находил соответствия своим живописным поискам в религиозных размышлениях Толстого. По поводу «Соединения и перевода четырех евангелий» Крамской писал Стасову: «До сих пор думали наивные люди, усыпленные ортодоксальными комментаторами, что евангелие есть мирная книга, теперь им с этим заблуждением придется распрощаться. ...Это очень и очень беспощадное учение, но беспощадное к эгоизму и лицемерию человеческому <...> Решительно Лев Толстой достоин

теперь кары — и если еще не готовится на его голову бед, то опять-таки по недоразумению»[16].

Об остро современном звучании христианского учения, о разрушении «канона», как шор и ширм, закрывающих драматизм содержания евангельских текстов, Крамской писал Толстому в 1885 г.: «В самом деле, как Вам дать понятие о той буре, которую Вы во мне подымали хотя бы, например, переводом евангелия. Я знал и знаю, что смысл этой книги, несмотря на постоянное чтение, совершенно утрачен, и вдруг есть новый перевод, понятный каждому. Я был поражен и испуган, испуган тем, что теперь сделалось возможным новое распятие проповедника, что современный человек (как и древний) готов будет распять Христа с тем же самым убеждением, как и еврей Иерусалима. <...> Это ужасная книга для человечества, и в то же время единственно спасительная»[17].

В небольшом диалоге о художниках и картинах во второй редакции романа «Воскресение» противопоставлены истинное искусство, которое говорит о самом важном, и искусство «традиционное».

В разговоре о живописцах ранней редакции романа «Воскресение» не упомянут, но присутствует еще один герой. Письма Толстого первой половины 1890-х гг., где речь идет о современной живописи, всегда связаны с творчеством Н. Н. Ге. Ге скончался 1 июня 1894 г., незадолго до этого в Петербурге его картина «Распятие» была снята с выставки. Толстой видел картину «Распятие» 12 февраля 1894 г. в Москве в мастерской С. И. Мамонтова, а вскоре после снятия картины писал художнику: «То, что картину сняли, и то, что про нее говорили — очень хорошо и поучительно. В особенности слова: «Это — бойня». <...> Снятие с выставки — ваше торжество» (67, 81).

Герои романа «Воскресение» не упоминают картин Ге, потому что не могли бы их увидеть в Третьяковской галерее в 1890 г., это время действия романа. Но необыкновенно активное общение с художником в годы начальной работы над романом, живое участие в судьбе его картин создают те смыслы, которые проявятся в тексте произведения.

П. Н. Ге, сын художника, писал о работах Ге позднего периода (1884–1894 гг.): «Для Ге открывается вновь широкое поле деятельности. Он примыкает к общему движению и параллельно литературной деятельности в это время графа Л. Н. Толстого, дает в живописи целый ряд картин на сюжеты из евангелия»[18].

Толстой, высоко оценив уже ранние «евангельские картины» Н. Н. Ге [19], признавал, что более никто из художников «не знает того содержания этих картин <...>, никто не может их так искренно выразить и никто не может их так написать» (64, 46).

Нужно сказать, что судьба поздних работ Ге складывалась драматично, его христианские сюжеты были не поняты и не приняты ни зри-

телями, ни критикой: основной причиной неприятия стала трактовка образа Христа. Подчеркивая связь своих поисков с размышлениями Толстого[20], Ге писал: «Толстой и мы искали одного и того же. Для меня началась новая жизнь. Я с совершенно новой точки зрения написал картину «Выход с тайной вечери». Христос почувствовал начало агонии, которая преследовала его раньше. В этой картине у меня новое отношение к Христу»[21].

Все последующие значительные работы Ге: «Что есть истина?» (1890), «Синедрион» (1892) и «Распятие» (1894) — были сняты с выставок.

Картина «Что есть истина?» появилась на XVIII Передвижной выставке в Петербурге и возбудила, как писал Н. К. Михайловский, «особенно много толков», «ее или непомерно хвалят или непомерно бранят...»[22]. В работе Ге критически оценивалось прежде всего изображение Христа: по описанию А. С. Суворина, «волосы у него всклокочены, вид угрюмый, глаза блестят злобой»[23]. В отзыве А. С. Суворина сформулировано всеобщее желание — видеть Христа, «идеально великого во все время своих страданий»[24].

Картина провисела на выставке только несколько дней. Как позднее писал Стасов, картину «велено было тотчас взять оттуда»[25]. Тем не менее, раздавались голоса, приветствующие картину Ге, оценившие именно трактовку образа Христа. В рецензии Д. Л. Мордовцева, писателя и историка, картина осмыслена очень близко к тому, как понимал ее Толстой. Неслучайно Д. Л. Мордовцев задается вопросом: «Любопытно только знать, видел ли эту картину Лев Толстой?»[26]

В конце января 1890 г. Ге привез рисунок картины «Что есть истина?» в Ясную Поляну. В дневнике от 28 января 1890 г. Толстой записал: «Приехал Ге старший, привез рисунок картины — очень хорошо» (51, 15). Переписка Толстого и Ге дает представление о том, как двигалась работа художника — диалог писателя и художника часто определял движение работы.

Толстой принимал непосредственное участие в дальнейшей судьбе картины. В письме к Ге от 22 августа 1890 г. Толстой признавался: «Третьякову я, грешный человек, писал, когда еще вы были у нас, под секретом от всех. Мне искренно было жалко его, что он по недоразумению упустит ту картину, во имя которой он скупает всякую дрянь, надеясь на то, что, собрав весь навоз, попадет и жемчужина» (65, 145–146).

Действительно Толстой писал Третьякову о необходимости приобретения картины «Что есть истина?» 11 июня 1890 г. А в следующем письме (30 июня 1890 г.) Толстой, охарактеризовав все новые попытки изображения Христа в работах Иванова, Крамского, Поленова, подробно объяснял Третьякову, как он понимает картину «Что есть истина?» и ее значение для живописного искусства: «И вот Ге взял самый

простой и теперь понятный, после того как он его взял, мотив; Христос и его учение не на одних словах, а и на словах, и на деле в столкновении с учением мира, то есть тот мотив, который составляет главное значение явления Христа. <...> На картине изображен с совершенной исторической верностью тот момент, когда Христа водили, мучили, били, таскали из одной кутузки в другую, от одного начальства к другому и привели к губернатору, добрейшему малому, которому дела нет ни до Христа, ни до евреев, но еще менее до какой-то истины, о которой ему, знакомому со всеми учеными и философами Рима, толкует этот оборванец; ему дело только до высшего начальства, чтоб не ошибиться перед ним. Христос видит, что перед ним заблудший человек, заплывший жиром, но он не решается отвергнуть его по одному виду и потому начинает высказывать ему сущность своего учения. Но губернатору не до этого, он говорит: какая такая истина? и уходит. И Христос смотрит с грустью на этого непронизываемого человека» (65, 124–125). В заключение письма Толстой подчеркивал: «Таково было положение тогда, таково положение тысячи, миллионы раз повторяется везде, всегда между учением истины и представителями сего мира. И это выражено на картине. И это верно исторически, и верно современно, и потому хватает за сердце всякого, того, у кого есть сердце» (65, 125).

Толстой в письмах к разным адресатам неоднократно будет объяснять то, как он понимает картину Ге. Особый интерес представляет письмо Толстого к Джорджу Кеннану, писателю и публицисту, создавшему серию очерков после путешествия в Сибирь[27]. Показательно, что в обращении к Кеннану Толстой подчеркивал современное звучание евангельского сюжета в картине Ге — сюжета «везде во всем мире» повторяющейся борьбы «нравственного, разумного состояния человека» и «утонченного, и добродушного, и самоуверенного насилия» (65, 140–141). Картина Ге должна была быть выставлена в Америке, и Толстой объяснял, как он понимает картину, с целью обратить на нее внимание американской публики: «Смысл картины, на мой взгляд, следующий: в историческом отношении она выражает ту минуту, когда Иисуса, после бессонной ночи, во время которой его, связанного, водили из места в место, били, привели к Пилату. Пилат — римский губернатор, вроде наших сибирских губернаторов, которых вы знаете, живет только интересами метрополии и, разумеется, с презрением и некоторой гадливостью относится к тем смутам, да еще религиозным, грубого, суеверного народа, которым он управляет. Тут-то и происходит разговор [Иоанна] XVIII, 33–38, в котором добродушный губернатор хочет опуститься en bon prince до варварских интересов своих подчиненных и, как это свойственно важным людям, составил себе понятие о том, о чем он спрашивает, и сам вперед говорит, не интересуясь даже ответами; с улыбкой снисхождения, я полагаю, все говорит: «Так ты царь?»

Иисус измучен, и одного взгляда на это выхоленное, самодовольное, отупевшее от роскошной жизни лицо достаточно, чтобы понять ту пропасть, которая их разделяет...» (65, 139).

Подробно о последних картинах Толстой будет писать Третьякову после известия о смерти художника в 1894 г.: «О значении последних произведений Ге я вам писал когда-то: в них выражен не Христос как человек, один сам с собою и с Богом, как у него же в «Гефсиманском саду» и у Крамского «в пустыне» <...>, а Христос в известном олицетворяющем всегдашнее и теперешнее положение всех последователей Христа отношение его к окружающему миру» (67, 175).

В письмах 1894 г. в высказываниях Толстого о Ге звучит прежде всего глубочайшая скорбь из-за смерти духовно близкого человека, с которым его связывали личная дружба и более десяти лет переписки, но всегда остается неизменной высокая оценка творчества художника. В письме к Стасову от 12 июня 1894 г. Толстой говорил о Ге как о художнике, «делающем эпоху в искусстве» (67, 147).

После смерти Ге часть его картин находилась в Ясной Поляне, и Толстой даже писал Стасову об устройстве музея: «О картинах Ге и всем том, что он оставил, у меня такая мысль: устроить музей Ге, в кот<ором> собрать все его картины, преимущественно запрещенные, рисунки, картоны, этюды и все, что он делал, и хранить это и показывать...» (67, 216)[28]. Кроме того, Толстой передал Стасову письма Ге для книги. О переписке писателя и художника Стасов позже напишет Толстому: «Я думаю, что во весь ваш век вы не писали к кому бы то ни было писем более важных, более громадно-содержательных, более из глубины души и жизни, в минуты вашего самого высокого творчества»[29].

Прокомментированный разговор о художниках, появившийся в ранних редакциях романа «Воскресение», не сохранится в его окончательном тексте. Однако противопоставление истинного, духовного существования человека и ложных, «выдуманных» законов, утвердившихся в мире, которое Толстой видел в качестве основного содержания картин Н. Н. Ге, становится организующим принципом повествования в последнем романе писателя.

---

[1] *Пастернак Л. О.* Как создавалось «Воскресение» // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 171.

[2] Нумерация рукописей, относящихся к роману «Воскресение», дана по: Описание рукописей художественных произведений Л. Н. Толстого. М., 1955. С. 376 (здесь и далее: *ОР ГМТ*. Воскресение. Номер папки и соответствующий лист).

[3] Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878–1906. [Л.], 1929. С. 131.

[4] Там же. С. 131.

[5] О связях Толстого с художниками-передвижниками см.: Толстой и художники. М., 1978; Толстой и изобразительное искусство. М., 1981.

[6] Толстовский музей. Том II: Переписка Л. Н. Толстого и Н. Н. Страхова. 1870–1894. СПб., 1914. С. 155.

[7] См. письмо Л. Н. Толстого к В. В. Стасову от 6 апреля 1878 г. (62, 404–405).

[8] В дневнике Л. Н. Толстого говорится о XII Передвижной выставке, упомянуты картины И. Н. Крамского «Безутешное горе» и И. Е. Репина «Не ждали».

[9] *Толстая С. А.* Письма к Л. Н. Толстому. 1862–1910. М.; Л., 1936. С. 404.

[10] Картина И. Н. Крамского «Христос в пустыне».

[11] Лазурский В. Ф. жил в Ясной Поляне летом 1894 г. в качестве преподавателя латинского и греческого языков сыновей Толстого — Андрея и Михаила.

[12] Лазурский В. Ф. Дневник // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1978. Т. 2. С. 54

[13] *Жиркевич А. В.* Встречи с Толстым // Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников... Т. 2. С. 13.

[14] Стасов В. В. Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и переписка. М., 1904. С. 313.

[15] *Крамской И. Н.* Письма. Статьи: В 2 т. М., 1966. Т. 2. С. 138.

[16] Там же. С. 138.

[17] Там же. С. 170.

[18] *Ге П. Н.* Главные течения русской живописи XIX века. [М]., 1904. С. 7.

[19] Картины Н. Н. Ге «Христос в Гефсиманском саду» и «Тайная вечеря».

[20] Об этом см.: *Порудоминский В. И.* Николай Ге. М., 1970. С. 161–267; Николай Николаевич Ге. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М., 1978. С. 117–137.

[21] Цит. по: *Стасов В. В.* Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и переписка... С. 313.

[22] Цит. по: *Михайловский Н. К.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. СПб., 1909. С. 759. Первоначально статья опубликована: Русские ведомости. 1890. 38 февраля № 57.

[23] Цит. по: *Суворин А. С.* Маленькие письма // Н. Н. Ге. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников. М., 1978. С. 153. Первоначально статья опубликована: Новое время. 1890. 21 февраля (5 марта) № 5022.

[24] Там же. С 154.

[25] *Стасов В. В.* Н. Н. Ге, его жизнь, произведения и переписка... С. 322

[26] Цит по: *Мордовцев Д.* «Что есть истина?» // Н. Н. Ге. Письма. Статьи. Критика. Воспоминания современников... С. 155. Первоначально статья опубликована: Новости и биржевая газета. Изд. 1. 1890. 17 февраля. № 47.

[27] Толстой пользовался материалами, собранными Д. Кеннаном во время путешествия по Сибири, при работе над романом «Воскресение».

[28] Позже Толстой будет вести переговоры с П. М. Третьяковым о передаче картин Н. Н. Ге на сохранение. Об этом см.: письмо Толстого к Н. Н. Ге-младшему от 4 марта 1895 г. (68, 41).

[29] Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1878–1906... С. 148.

А. Н. НАБИУЛЛИНА
г. Казань

Роль художественной детали в изображении внутреннего мира главных героев романа Л. Н. Толстого «Воскресение»

«Воскресение» — один из выдающихся романов Л. Н. Толстого, по праву названный самим автором лучшим из того, что он когда-либо писал.

Принцип «захватить все», использованный Толстым при написании «Войны и мира», становится ведущим и при создании «Воскресения». Отсюда возникает художественное сопоставление, по задумке писателя обнажающее контраст между «роскошью роскошествующих и нищетой бедствующих»[1]. Немаловажную роль при сопоставлении противоположных начал играет художественная деталь, служащая своеобразным авторским ключом для распознавания сути того или иного героя.

В романе, написанном в преддверии революции, писатель уже не использует свой излюбленный прием, «диалектику души», в полной мере. Б. М. Эйхенбаум считает, что Толстой «вовсе отказывается от «диалектики души»»[2] в поздний период творчества. Глубокий психологический анализ по отношению к персонажам из высшего правящего сословия или к представителям общественных низов — рабочих, крестьян, подсудимых и заключенных — чаще всего заменяется художественной деталью. Но и при описании внутренних переживаний главных героев писателю удается умело вплести в повествование деталь, указывающую на то или иное состояние героя или обстоятельства, вызвавшие это состояние.

Художественная деталь — одно из средств создания образа, которое помогает представить воплощенный характер, картину, предмет, действие, переживание в их своеобразии и неповторимости. Деталь фиксирует внимание читателя на том, что писателю кажется наиболее важным, характерным в природе, в человеке или в окружающем его предметном мире. Деталь важна и значима как часть художественного

целого. Другими словами, смысл и сила детали в том, что бесконечно малое раскрывает целое.

А. Б. Есин в классификации деталей выделяет *внешние* и *психологические* детали. *Внешние детали* рисуют внешнее, предметное бытие людей, их наружность и среду обитания и подразделяются на портретные, пейзажные и вещные. *Психологические детали* изображают внутренний мир человека. Ученый обращает внимание на условность такого деления: «Внешняя деталь становится психологической, если передает, выражает те или иные душевные движения (в таком случае мы говорим о психологическом портрете) или включается в ход размышлений и переживаний героя»[3].

С помощью художественной детали писателю удается выразить не только свое отношение к героям, но и показать читателю то, что видят вокруг себя его герои. С помощью деталей мы узнаем о мироощущении героев, их взглядах на жизнь.

Как правило, знакомство с героями у Толстого начинается с *портретных деталей*, которые описывают не только внешний облик героев, но и отражают их внутренний мир.

Н. К. Гудзий отмечал, что в «Воскресении» писатель «очень часто прибегает к приему контрастных сопоставлений»[4], в чем мы убеждаемся с первых страниц романа.

В противовес свежему весеннему воздуху и яркому теплому солнцу писатель рисует атмосферу тюрьмы, пропитанную «тифозным воздухом», «запахом испражнений, дегтя и гнили» (32, 4). В этой удручающей затхлости мы встречаем главную героиню впервые: «невысокая и очень полногрудая женщина в сером халате, надетом на белую кофту и белую юбку... голова была повязана белой косынкой... все лицо женщины было той особенной белизны, которая бывает на лицах людей, проведших долгое время взаперти... В лице этом поражали, особенно на матовой бледности лица, очень черные, несколько подпухшие, но очень оживленные глаза, из которых один косил немного» (32, 4–5). Неоднократное повторение в портрете героини белого цвета будто заставляет образ Катюши светиться в мрачной темноте тюремной камеры. Белый цвет — цвет чистоты и невинности. И упавшая в глазах арестантка, блудница, претендует на свободу и чистую жизнь.

В описании утреннего туалета Дмитрия Ивановича Нехлюдова писатель явно выражает позицию равнодушия своего героя к происходящему, как к извечной рутине, наполненной только скукой и бессмысленностью. Неслучайно знакомство с «не вполне свежим, но чистым и душистым» (32, 12) героем происходит в пространстве, пропитанным «искусственным запахом эликсиров, одеколона, фиксатуаров, духов» (32, 12). «Искусственные запахи» здесь подобны тюремному воздуху, которому противопоставлена весенняя свежесть, свежесть пробужде-

ния жизни и души, которой так не хватает Нехлюдову. Даже неоконченные картины, развешанные в мастерской *«напомнили ему испытанное с особой силой в последнее время чувство бессилия...»* (32, 17).

Одними из показательных эпизодов, иллюстрирующих меняющееся отношение автора к героям, и героев к жизни является сцена богослужения.

Неслучайно Нехлюдов приезжает к тетушкам «в конце марта, в Страстную пятницу» (32, 51) — в тот самый день, который оканчивает Великий пост. Великая пятница — пятница Страстной недели, которая посвящена воспоминанию крестной смерти Иисуса Христа, снятию с креста Его тела и погребения. По христианской традиции в этот день следует провести в скорби, молитве, поменьше пререкаться и не ссориться ни с кем, а также ничего не есть.

Благоговейное состояние, в котором пребывает герой в этот священный день по прибытию к тетушкам и Катюше, сохраняется на протяжении нескольких дней, до той самой заутрени, которая оставит в его памяти самое светлое и сильное воспоминание на всю жизнь: «Когда он в черной темноте, кое-где только освещаемой белеющим снегом, шлепая по воде, въехал на прядущем ушами при виде зажженных вокруг церкви плошек жеребце на церковный двор, служба уже началась» (32, 54). Описательные детали «в черной темноте» и «шлепающий по воде» неким образом отсылают нас к образу Христа, ходящего по воде и несущего людям свет и добро сквозь тьму непонимания. В дальнейшем эта аллегория оправдается: Нехлюдов, пройдя бюрократические испытания, столкнувшись с непониманием и собственными противоречиями, воскреснет духовно.

Войдя в церковь, Нехлюдов видит мужиков: «...старики в домодельных кафтанах и лаптях и чистых белых онучах...» и баб: «...в красных шелковых платках, плисовых поддевках, с ярко-красными рукавами и синими, зелеными, красными, пестрыми юбками», скромных старушек «в белых платках», Матрену Павловну «в переливчатом лиловом платье и белой с каймою шали», Катюшу «в белом с складочками на лифе, с голубым поясом и красным бантиком на черной голове» (32, 54–55). Внешние портретные детали представлены у Толстого пестро и разнообразно. Цветосимволика также имеет определенный смысл. Использование жизнеутверждающих цветов при описании нарядов пришедших в церковь людей позволяет писателю создать атмосферу праздника, витавшего в воздухе, замеченную главным героем, Нехлюдовым, сразу же после прибытия на службу. В тот день любовь героев достигла своего зенита, но уже ночью случилось то, что изменит жизнь Катюши и Нехлюдова навсегда.

Другие чувства вызывают у Нехлюдова арестанты, описанные в тесных своих камерах в «позорных одеждах»: «...светло-желтые хала-

ты, короткие, широкие штаны и коты» (32, 178–179). Арестанты вызывали своим видом сочувствие князя, он испытывал к ним сострадание, одновременно стыдясь себя и того, что он смотрит на их страдания. В арестантах Нехлюдов увидел страждущих людей, опущенных до состояния животных, о чем свидетельствует такая деталь: «...внимание его было поглощено большой темно-серой многоногой вошью, которая ползла между волос по щеке благообразного каменщика» (32, 179–180). Скотское отношение к людям вызывает у Нехлюдова состояние физической тошноты и искреннее недоумение.

Портретные детали иногда переходят в психологические. В суде взгляд косящих черных глаз, смотрящих на Нехлюдова, вызвал у героя ощущение, которое он испытывал на охоте, сравнив Катюшу с недобитой птицей, которая бьется в ягдташе: «и гадко, и жалко, и досадно» (32, 67). На этом сравнения главных героев с представителями животного мира не заканчиваются: Катюша во время суда сравнивается с затравленным зверем; воспоминания о юности и любви к Нехлюдову «были так заперты, замазаны, как пчелы замазывают гнезда клочней (червей), которые могут погубить всю пчелиную работу, чтобы к ним не было никакого доступа» (32, 153); а Нехлюдов со щенком, которого хозяин тычет носом в ту гадость, в которой он повинен; у Нехлюдова же возникает «животная страсть» к Катюше, у которой «так же, как кваканье лягушек, дрожали губы» (32, 261).

Главные герои сравниваются с представителями животного мира в те самые моменты, когда невозможно слукавить, подменить, разыграть свои естественные человеческие чувства искусственными. В этих сравнениях в романе прослеживается мысль Толстого об абсолютной естественной гармонии природы, контрастирующая с мыслью о дисгармонии в человеческом обществе.

Особую атмосферу в произведении создают *вещные детали*, которые передают обстановку пространства, в котором находятся герои.

В то время, когда Нехлюдов первый раз приходит ночью к Катюше, «в девичьей горела маленькая лампа» (32, 61), которая погасла именно перед тем, как Нехлюдов попал в комнату девушки. И уже в темноте, когда «красный глаз в окне исчез, остался один туман» (32, 62) происходит грехопадение героев. Художественная деталь, связанная со светом, встречается в романе неоднократно. В сцене, где Нехлюдов покидает Катюшу, Толстой снова использует художественную деталь, связанную со светом. Например, в вагоне, где ехал Нехлюдов, был «особенно яркий свет», «горели отекшие толстые свечи». А когда поезд уезжает, «последний вагон с фонарем» остается сзади, и героиня остается «вне защиты» (32, 130–131).

В ночь, когда душа Нехлюдова была полна смятений, описан «неясный, невеселый, неестественный свет без своего источника»,

и от того, что герой видел сквозь этот свет, казалось ему «и радостно и тревожно» (32, 304).

На последних страницах романа, перед финальной точкой в произведении, «Нехлюдов уставился на свет горевшей лампы и замер» (32, 443).

Герою, во что бы то ни стало желающему возродить духовно «мертвую женщину» Маслову, которую прежде он знал милым существом, хочется изменить свою внешнюю жизнь. В его доме после свидания с Масловой «началась усиленная работа: проветривания, развешивания и выбивания всяких шерстяных и меховых вещей...» (32, 154), эта «уборка» повторится после приезда Нехлюдова из Панова. С помощью описания вещных деталей писателю удается провести параллель между внешним очищением дома от ненужного хлама и внутренним состоянием героя, постепенно очищающего свою душу.

Пространство деревни, в которое герой попадает после гнетущей атмосферы острога, вызывает у героя сентиментальные чувства, и всюду отмечается чистота: «чистая комната», «блестящие ботинки», «холодная чистейшая ключевая вода» (32, 201, 203), «...он почувствовал себя таким же, с той же свежестью, чистотой...» (32, 208). Неслучайно после «чистого» пространства деревни Нехлюдов «почувствовал отвращение к той своей среде, в которой он жил до сих пор, к той среде, где так старательно скрыты были страдания, несомые миллионами людей...» (32, 246).

Однако в деревне герой не только испытал чувство ностальгии. В Нехлюдове проснулось живое сочувствие, сострадание к тяготам жизни крестьян. Жалость Нехлюдов испытывает и к мукам «старческого» улыбающегося ребенка и к бабам, пришедшим просить за свою скотину, и к вдовам, и к сиротам, старикам и животным. В описании чувств героя содержится скрытое сравнение рабочего народа с лошадьми, запертыми в ограде, «в которой они съели всю траву под ногами, будут худы и будут мереть от голода, пока им не дадут возможности пользоваться <...> землей» (32, 218).

Огромное значение в романе имеют *детали пейзажа*.

В самом начале романа пейзажные детали способствуют воссозданию обстановки, в которой пребывают герои. Знакомство с главной героиней романа, Катюшей Масловой, предваряет описание свежего весеннего утра, со всей присущей ему прелестью пробуждения природы, радостью обновления жизни, с жизненными переменами, которые происходят не только в природе, но вот-вот произойдут и в жизни героини.

Первый весенний дождь, зазеленевшая трава, березы, осыпавшиеся в садах зеленым пухом, черемуха и тополи, расправляющие свои длинные пахучие листья — все это пейзажные детали, сопровождаю-

щие пробуждение природы и момент духовного пробуждения Нехлюдова, пребывающего в решимости навестить Маслову в тюрьме.

Пейзажные детали в романе также призваны воссоздать атмосферу, в которой происходят переломные моменты в жизни и в сознании героев. В ту ночь, когда Нехлюдов соблазнил Катюшу, светил «ущербный месяц, мрачно освещая что-то черное и страшное» (32, 63). Пейзажные детали в данном случае не сулят жизни героев ничего хорошего, что замечает сам главный герой.

Пейзаж этой страшной для обоих героев ночи в точности повторится в романе в эпизоде суда, где Нехлюдов вспоминает совершенный им поступок: «Ему вспомнилась та страшная ночь с ломавшимся льдом, туманом и, главное, тем ущербным, перевернутым месяцем, который перед утром взошел и освещал что-то черное и страшное» (32, 67).

Образ месяца становится символичным. Всякий раз, когда в сознании героев происходит переворот, в описании пейзажа встречается этот образ.

Зарождающееся в герое чувство справедливости совпадает с заревом поднимающегося месяца, который светлым и совсем полным тогда, когда Нехлюдов по-новому взглянул на старый привычный мир. Он «вспомнил острог, бритые головы, камеры, отвратительный запах, цепи и рядом с этим — безумную роскошь своей и всей городской, столичной, господской жизни. Все было совсем ясно и несомненно» (32, 225).

В момент понимания Нехлюдовым истинной цели своей жизни — быть не хозяином, а слугой — мы встречаем в романе подробное описание бушующей стихии: «Черная туча совсем надвинулась, и стали видны уже не зарницы, а молнии <...>. Долетела одна капля, другая, забарабанило по лопухам, железу крыши, и ярко вспыхнул весь воздух; все затихло» и вдруг «страшно треснуло что-то над самой головой» (32, 226). Явления природы описаны намеренно параллельно с чувствами героя: в тот самый момент, когда разразился гром, Нехлюдов понял, что все в его жизни было неправильно. Лишь после понимания истинной цели понимания жизни герой сел у окна «...любуясь на убегающую тучу и на открывшийся опять месяц» (32, 226), который уже не был перевернут, в отличие от тех эпизодов, в которых описывалось моральное падение героев.

Другая картина ночного пейзажа иллюстрирует чувства Катюши, которая готова броситься под поезд после того, как она поняла, что Нехлюдов бросает ее: «Была темная осенняя, дождливая, ветряная ночь. Дождь то начинал хлестать <...>, то переставал. В поле, под ногами, не было видно дороги, а в лесу было черно, как в печи, и Катюша, хотя и знала хорошо дорогу, сбилась с нее...»; «...она была за водокачкой, вне защиты, и ветер набросился на нее, срывая с головы ее платок и облепляя с одной стороны платьем ее ноги. Платок снесло

с нее ветром, но она все бежала». (32, 130–131). Противодействующая стремлениям героини ухватиться за свою любовь и надежду природа показывает не только ее отчаяние, но и произошедший в этот момент душевный переворот «...вследствие которого она сделалась тем, чем была теперь. С этой страшной ночи она перестала верить в добро» (32, 132).

Психологические детали в романе показывают всю остроту чувств, переживаемых героями в разных ситуациях.

В начале романа описан такой эпизод, где главная героиня, вышедшая из острога, ощущает себя веселой, освобожденной хоть на время от тюремного смрада. Но Катюша быстро вспоминает свое положение, когда «голубь вспорхнул и, трепеща крыльями, пролетел мимо самого уха арестантки, обдав ее ветром» (32, 6). Голубь, олицетворяющий потерянную свободу,— еще одна деталь-символ характеризующий жизнь героини в заточении. По своей сути это деталь вещная, но ее функция в данном случае скорее психологическая, чем описательная.

Другое эмоциональное состояние героини передается через мимику. При встрече с Нехлюдовым Катюша играет и жеманничает с ним, пытаясь добиться своих целей — взять у князя деньги или замолвить словечко за одну из заключенных. Поведение героини в этом случае сопровождается периодическими поглядываниями на Нехлюдова и улыбками: «...Маслова, вертя головой и взглядывая на него», «взглядывая на него, опуская глаза и улыбаясь» (32, 165). Однако, когда Нехлюдов говорит Катюше о своем намерении жениться на ней, то все жеманные манеры пропадают, уступая место мимике, выдающей переживания героини о прошлом: «Лицо ее вдруг выразило испуг. Косые глаза ее, остановившись, смотрели и не смотрели на него...», «проговорила она, злобно хмурясь», «сказала она и, раскрыв рот, остановилась», «вдруг быстро заговорила она и вся багрово покраснела», «проговорила она и громко засмеялась», «злобно передразнила она», «вырывая у него руку», «закричала она, энергическим движением вскочив на ноги» (32, 165–166); «...губы ее задрожали», «...какое большое усилие она сделала, чтобы удержать слезы» (32, 195). Чувства героини проступают через мимику и жесты в градации. Чем больше Нехлюдов говорит ей о намерении искупить свою вину перед ней, тем больше в Катюше разжигалось омерзение к барину. Нервозность героини, невозможность «найти себе место», успокоиться и при этом осознание собственного бессилия и впадение в оцепенение проявляется в ее жестах: «Маслова опять села, опустив глаза и крепко сжав свои скрещенные пальцами маленькие руки» (32, 166); «Маслова <...> села <...>, опустив руки на колена», «Маслова, не отвечая, сидела... болтая не достающими до полу ногами» (32, 196); «...она багрово покраснела и, перебирая рукою край кофты, опустила глаза» (32, 306–307).

Видя решимость Нехлюдова в намерении следовать за нею всюду, Катюша с трудом сдерживает улыбку, а «лицо ее просияло радостью» (32, 243). Смена эмоционального фона заканчивается для героини психологической разрядкой. Вернувшись в палату, Маслова «...закатилась громким и таким заразительным смехом, что несколько детей тоже расхохотались» (32, 244). Но вспомнив прошлое, героиня меняется в лице: «...лицо стало унылое, и морщина врезалась между бровей» (32, 244).

Эмоциональное состояние Нехлюдова передается в диалогах через психологические детали крайне скудно: «весь дрожа, тихо сказал» (32, 166), «сказал он решительно» (32, 187); «он почувствовал, что краснеет» (32,432). Чувства главного героя в данном случае не представлены в градации, что может судить о неком постоянстве в отношении его намерения загладить свою вину перед Катюшей.

Таким образом, рассмотрев в романе детали, раскрывающие внутренний мир главных героев, можно сказать, что художественная деталь заставляет обратить внимание на то главное, что определяет характер человека, его внутренний и внешний мир. Деталь отражает изображаемую автором картину, предмет или характер в неповторимой индивидуальности, заставляет поверить тому, что говорит автор, развивает чувство сопереживания и чуткость к художественному тексту.

Внутренние переживания Катюши в основном переданы психологическими деталями — мимикой и жестами, в отличие от Нехлюдова, переживания которого представлены с помощью параллельного с монологами героя включения в повествование пейзажных деталей.

Вещные детали играют в романе символическую и морализующую роль. С вещными деталями связаны воспоминания героев о прошлом, надежды на счастье. Наиболее частотной деталью-символом является свет (такие его разновидности, как лампа, свеча, огонь, фонарь).

Из поэтических средств, использованных в романе, часто встречаются эпитеты и сравнения. Толстой широко использует повторяющиеся эпитеты при описании портрета, интерьера, психического состояния главных героев. Нагнетание их создает сильное и яркое художественное впечатление, которое часто служит разоблачительным целям. Простые, меткие сравнения главных героев с животными используются для характеристики чувств и переживаний положительных героев и играют разоблачительную роль.

---

[1] *Толстой Л. Н.* Избранные письма. 1882–1899 годы. М., 2010. С. 26.

[2] *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой. Семидесятые годы. Л., 1960. С. 250.

[3] *Есин А. Б.* Принципы и приемы анализа литературного произведения. М., 2003. С. 75–76.

[4] *Гудзий Н. К.* Лев Толстой. Критико-биографический очерк. М., 1960. С. 155.

А. С. КОНДРАТЬЕВ
г. Липецк

Роман «Воскресение» как духовное завещание Л. Н. Толстого

Замысел выстраданного произведения, восходящий к впечатлениям от драматических коллизий нравственных исканий человека в опыте его становления на изломе эпох русской жизни, сориентирован прежде всего на восприятие романа грядущими поколениями, к которым и обращены предостережения Толстого от изощренных уловок глобального помрачения человеческого разума, доводящих людей в судебно-исправительных ведомствах до состояния бесприютных бродяг, «предвосхитивших новейшее учение Ницше и считающих все возможным и не запрещенным» (32, 413), в том числе и радикальное перекодирование человеческой природы. А. Блок в 1908 г. однозначно определил «Воскресение» Толстого как «завещание уходящего столетия новому»[1], составленное глубоким знатоком «нового человеческого духа»[2], порожденного историческим перепутьем русской цивилизации, не империей, а именно цивилизацией, укорененной в православной традиции миропонимания.

Размышляя над открывшимися в грядущем безднами падения человека, Толстой ощущал себя по предопределению избранным показывать, что «должно быть или уже есть в будущем» (55, 73), и сориентированным на диалог с потомками: «...приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и месту, которые будут слышать меня» (56, 76). И в то же время сомневался: не исключено, что предпочтут «оставаться в своем невежестве спокойно-самодовольными» (56, 77). Художнику, наделенному пророческим даром, суждено приоткрыть завесу времени, дабы «представить себе будущее» и, «руководясь соображениями о нем, вернее решать поступки настоящего» (55, 170). Толстого отличало безграничное доверие к жизни как таковой во всей ее многомерности и неисчерпаемости, что и нашло свое отражение, например, в Дневнике 30 декабря

1907 г.: «Нельзя представить себе другой жизни, кроме той, какая есть, т.е. нельзя представить себе другого дарования бесконечному количеству существ сознания блага, радости жизни» (56; 86).

Однако все попытки самонадеянного вмешательства в жизнь или же дерзкие планы перекодирования культурно-цивилизованных доминант человеческой природы Толстой безоговорочно отвергает. Так резко и однозначно он отвечал 11 сентября 1902 г. венской газете «Die Zeit» на просьбу высказаться о ширящемся распространении и влиянии в Европе ницшеанства: «В последнее время я все чаще и чаще с разных сторон вижу не только признаки озверения людей, но слышу и читаю не только оправдания, но и восхваления такому озверению» (73, 291).

Е. П. Барышников, подводя итоги своим наблюдения над духовной составляющей романа Толстого «Воскресение», еще в 1980-е гг. едва ли не впервые обратил внимание на обозначенные писателем и актуализированные новым веков преисполненные трагизма черты российской действительности, ломавшей человеческие судьбы: «Если всякий общественный строй живет сбалансированным противоборством антагонизмов, то в романе Толстого антагонизмы особенно обострены, а их единство граничит с парадоксом. Любое усиление напряженности на одном полюсе сразу же вызывает ответную реакцию на другом. Возникает впечатление «перегретой» общественной системы, элементы которой не могут выйти из неустойчивого равновесия, будучи прикованными друг к другу и способными развиваться лишь за счет накопления внутренней напряженности, усиления и без того опасного уровня противоречий в замкнутом силовом поле»[3]. И в связи с этим особо значимы мысли Нехлюдова о пережитом перед чтением Евангелия: «Все то страшное зло, которое он увидел и узнал, <...> торжествовало, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его» (32, 439). Еще задолго до появления термина *глобализация* Е. П. Барышников делает вывод: «Столь неожиданный финал не случаен в мире глобальной поляризации, в которой очутилась Россия, по мнению Толстого»[4]. И духовный писатель С. А. Нилус охвачен чувством безысходной обреченности от надвигающейся изощренной расправы над человеком: «Что-то грозное, стихийное, как тяжелые свинцовые тучи, непомерною тяжестью над некогда светлым горизонтом Православной России»[5]. Так что Русский мир, а шире — славянство, оказался на пороге испытаний дефолтом и подменой ценностных ориентиров.

Национальное самосознание в наши дни выбирается из плена глобальной ограниченности, посягнувшей на традиции и уклад жизни, а также из тупиков государственно-исторического неведения, так что обостренно воспринимают толстовские предостережения. В наше

время учреждены демократической Скандинавией «супермаркеты по торговле детьми» в режиме ювенального террора, а смерть безвинно убиенных детей Донбасса оправдывается пресловутым форматом государственного суверенитета, под который цинично-страстно вбрасывается в сознание, даже детей и подростков, психоинформационный вирус русофобской истерии. Легализованная в просвещенной Европе педерастия становится базовым критерием прогрессивной толерантности, когда вымыслы и безумства обретают смысл безусловной очевидности, не опровержимой никакими аргументами. Толстой на грани XIX–XX вв., рассматривая *земельный* вопрос, считал недопустимым и преступным владение землей,— на рубеже XX–XXI вв. узаконено право *владения* жизнью человека при откровенном попустительстве различных гуманитарных миссий и фондов. Писатель С. А. Шаргунов в своем «Донбасском дневнике» приводит невероятные для эпохи Толстого слова плачущей женщины: «Мы не крысы и не мыши, скажите там, наверху!»[6] Толстой развенчивал и отрицал какие бы то ни было притязания воспаленного воображения на утверждение всеобщего блага: «Ничто так мешает улучшению жизни людей, как забота об устройстве, общей жизни, об исправлении, улучшении других» (55, 131).

Толстой в антропологических воззрениях исходит из того, что непреложным условием духовной состоятельности человека на путях его самореализации является не что иное, как осознание человеком глубинной соприродности с *другим* и укорененности свой судьбы в нравственных традициях окружения, а также — в ощущении *исконной* сопричастности судьбам Отечества и мира, что достижимо лишь как итог индивидуального самовыражения: «Есть нечто непреходящее, неизменяющееся <...>, непространственное, невременное и нечастичное, а цельное. Я знаю, что оно есть, сознаю себя в нем, но вижу себя ограниченным телом в пространстве и движении во времени. Мне представляется, что были за тысячу веков мои предки-люди и до них их предки-животные — все это и будет в бесконечном времени. Представляется тоже, что я моим телом занимаю одно определенное место среди бесконечного пространства и сознаю не только то, что все это было и будет, но что все это и в бесконечном пространстве, и в бесконечном времени все это я же» (56, 47). Понимания человека как *Все* и *часть Всего*, Толстой определяет смысл его жизни в единении людей на духовных основаниях, но не связанными искушающими заблуждениями впечатляющей самодостаточности, когда успешная состоятельность эгоистической ограниченности преподносится как истинное содержание жизни. Осознание тщетности заблуждений насчет предопределенного человеческим самомнением благодатного пути переживает каждый, раньше или позже: Пьер Безухов в «Войне и мире» признается князю Андрею в мучительной тяжести нравственного неведения: «...я

жил для себя и погубил свою жизнь» (10, 110). Но сколь же сложно распознать *константы* и *переменные* в опыте самоопределения, да если еще они исходят не из выбора на духовном перепутье, а преподносятся, как и в эпоху «Воскресения», под покровом достигнутых высот прогресса непреложными завоеваниями обольщенного гордыней помраченного ума.

Расстроенность мира и неустроенность человека, прервавшего исконные связи с окружением, когда «теряем людей, которые умирают: так расходимся с ними, что они хуже, чем умерли» (52, 113), а также отличающегося ослаблением чувства собственной укорененности в культурно-историческом наследии народа, или полярность, антиномичность художественного мира романа «Воскресение» — все это воспроизведено психологически убедительно в самом начале повествования о преодолении Нехлюдовым самоуверенной *ограниченности* мировосприятия, тогда как извне навязывалась человеку обманчивая широта горизонтов, замыкающих человеческую природу на превратной и самодостаточной обособленности от жизни мира во всей его полноте и исчерпанности.

Человек, одержимый противоборством закона жизни природы и мира, утрачивает связи с другими, переставая ощущать себя *частью Всего*. Толстой выделяет как *обособленность* человека от природы и мира, когда весна, наступившая и проявившаяся даже в городе, не занимает людей, посчитавших куда важнее «властвовать друг над другом». Писатель подчеркивает *разобщенность* людей: в тюремной камере встречает живительное по-весеннему утро спасенная тетками Нехлюдова и совращенная их обожаемым племянником Катюша, в то время как он сам, не разобравшийся в отношениях с женщинами присяжный заседатель, пробуждается в роскошных апартаментах, дабы направиться в суд. Да и сам человек, избравший путь стяжания успеха на вершинах власти, лишен внутренней целостности и раздираем противоречиями и путаницей в ценностных представлениях и поведенческих мотивах, ведь в нем «животный человек <...> совершенно задавил духовного» (32, 53), превратив романтически настроенного юношу, к радости близких, в утонченного эгоиста, сосредоточенного на удовлетворении потребностей в наслаждении. Впоследствии же под влиянием впечатлений от явно стихийной неуправляемости жизненных процессов Нехлюдов, вспоминая неуемную праздность бесшабашной юности, расставит иные акценты: «Отвратительна животность зверя в человеке» (32, 303).

Выход человека из отлаженной *системы соотношений* составляющих жизни, как-то: природа и мир, а с другой стороны, народ и общество — обусловлен осознанием дурманящей исключительности, т.е. сосредоточенностью человеческой природы на актуализации *Все-*

го. Смоделированная ущербность человеческой природы позволяет, таким образом, насаждать испепеляющий разврат, все же направляя-таки безумного прожектора[7] губернатором в Сибирь, и не допускать каких бы то ни было отсылок к нравственности или религиозному чувству. Всякая апелляция к безусловным началам и авторитетам не вписывается в контекст нового уровня развития общественных и межличностных отношений. Необходимо признать, что Верховенский в «Бесах» Ф. М. Достоевского пока что грезил и пустословил о своих планах на переиначивание человеческой природы для упрочения власти страждущих и жаждущих, конечно втайне от самих себя, хлеба и зрелищ, однако толстовские герои уже при местах и во власти. И всего-то лет прошло ничего!

Толстой в «Воскресении» выразил настороженную обеспокоенность деформацией духовных доминант человеческой природы иного плана — устремленностью к псевдоподвижническому служению общему делу со стороны неподготовленных для этого и не реализовавших себя ни в чем. Так, Вера Богодуховская, ступившая на стезю политических, объясняла пресыщенному удовольствиями Нехлюдову, намерение изменить свою жизнь: «...хочу только одного — хочу быть полезной людям и ничего не могу, потому что ничего не знаю» (32, 169).

Человеческая опустошенность и нравственная неразвитость отличают графа Ивана Михайловича, как и «других малообразованных, самоуверенных чиновников» (32, 252), связанных между собой далеко не бескорыстной заинтересованностью в упрочении служебного успеха и распоряжающихся людскими судьбами.

Толстой в статье «О безумии» развивает эту тему и приходит к выводу, что желание примкнуть к общему движению новоявленных радетелей о благе Отечества есть не что иное, как «превратное понятие о назначении своей жизни» (38, 397), проявляющееся в самонадеянном праве вмешиваться в жизнь других, не выстроив собственную, дабы вкусить не выпавшего на их долю ощущения полноты собственной значимости, достигаемой на путях интеллектуально-духовного совершенствования. Отрешенность от жизни во всех ее бесчисленных проявлениях доводит Маркела Кондратьева, грезившего начетнически постигнуть законы бытия, до состояния ощущения отвлеченности от реалий и сердечной причастности к какому-то вымороченному культурно-историческому пространству: «...не уставал ядовито и озлобленно смеяться над попами и над религиозными догматами <...>. Ко всем товарищам он относился сдержанно, равнодушно <...>. К женщинам же, на которых он смотрел как на помеху во всех нужных делах <...>, питал непреодолимое презрение» (32, 395). Усеченность и внутренняя оскопленность человеческой природы, жизненные силы которой сосредоточились по другую сторону от эгоистических при-

тязаний на становлении претенциозной исключительности — на механическом и рассудочном *подчинении* себя *Всему* и осознании себя только лишь его *частью*, что закономерно привносит в жизнь человека некий налет приключенческого романтизма в якобы вынужденных скитаниях по миру и расшатывает характер, обрекая таким образом на обезличенность, сверстанную под издержки жертвенного служения призрачному общему благу. Эгоисты же, по сути, растворяются в мире вещей, возведенных в культ и наделенных статусом неких святынь, так что когда Нехлюдов замыслил освободиться от собственности, тяготившей его на завоеванных высотах духовного преображения, то супруг сестры, Игнатий Никифорович, продвинувшийся по судейскому поприщу, не смог-таки понять своего шурина: «Вообще это поступок, граничащий с ненормальностью» (32, 316). И даже не исключалась в его мыслях и возможность опеки над ним, однако он надеялся, что Наталье Ивановне, сестре Нехлюдова, удастся переубедить странноватого родственника.

Художественная логика воплощения нравственных исканий Нехлюдова подчиняется отслеживанию закономерностей восстановления духовной целостности человеческой природы. Выйдя из плена заблуждений об аксиологических координатах становления своей судьбы и словно оценивая себя, прежнего, уже со стороны, Нехлюдов пережил после созерцания в театре игры в жизнь долгожданный и счастливый миг просветления, когда «темнота незнания» отступила: «Ясно было, что все то, что считается важным и хорошим, все это ничтожно или гадко и что весь этот блеск, вся эта роскошь прикрывают преступления старые, всем привычные, не только не наказуемые, но торжествующие и изукрашенные всею тою прелестью, которую только могут придумать люди» (32, 304). Постигая в, казалось бы, житейских коллизиях евангельскую мудрость сопричастности опыта самопознания — становлению человечества, Неклюдов пытается объяснить сестре, сосредоточившейся исключительно на мирском, произошедшие в нем перемены, сводящиеся к преодолению разделяющих его с другими барьеров: «Я не ее исправить, а себя исправить хочу» (32, 317). Так что спасение себя оказывается для него возможным как избавление Катюши от страданий, выпавших на ее долю после роковой встречи с Нехлюдовым. И Маслова, несмотря на безнадежность предпринятых Нехлюдовым усилий по смягчению ее участи, преображается, возвращаясь в атмосферу доверия к благодатным основам становления человека: «...она уже давно опять любила его и любила так, что невольно исполняла все то, что и чего он желал от нее: перестала пить, курить, оставила кокетство и поступила в больницу служанкой» (32, 309).

Сознательно выстроенные в глобальном и поляризованном пространстве жизни ограждения между людьми и миром, духовно раст-

левающие человека, расщепляя его природу, все же далеко не долговечны, и все порожденное тщетными притязаниями немощных помышлений освобождает место росткам сущего и исконного. Развивая тему восстановления нравственно деградировавшего мира, которая направляла творческие искания с самых первых сочинений, Толстой в 1907 г. обращается и к нам, его читателям эпохи поисков выхода из нарождавшейся истерии глобального и псевдосогласного обустройства мира: «Воскресение значит то, что из гроба своей личности выходишь посредством любви в жизнь Всего, в любовное сознание всего, с чем входишь в общение, в соприкосновение, в готовность любви ко всему» (56, 71), что представляет собой сохранение духовной целостности человеческой природы, а значит, и мира, испытавшего на себе разрушительное влияние самонадеянного человека, греховно замыслившего преображение жизни по своим лекалам и установкам.

Духовное преображение Нехлюдова со всей очевидностью и художественной убедительностью выявляет нравственную состоятельность Русского мира, устоявшего под воздействием расчеловечивающего европейского опыта самоопределения, что на рубеже XIX–XX вв. было значимым в культурно-цивилизованном плане для национального самосознания, каковым является и для нас, переживающих трагические потрясения современности. Обращаясь к злободневно-публицистической проблематике, Толстой в романе «Воскресение» выявляет смысл перспективы преодоления кризиса духовных доминант и восстановления укорененности в отечественной культурной традиции сбившегося с праведного пути человека. И поэтому позднее творчество Толстого, квинтэссенцией которого является роман «Воскресение», прочитывается в контексте нравственных проблем современности как опыт духовного наставления человечества: «Главное спасение от всех бед — это сознание людьми своих обязанностей к Богу и поставление их впереди всех других обязанностей: помнить, что прежде, чем я — Царь, кучер, городовой, я — человек. Это, только это одно я желал бы проповедовать всем людям» (55, 11). В связи с этим освоение жизнеутверждающего пафоса романа «Воскресение» — одна и из прецедентных задач современного гуманитарного знания.

---

[1] *Блок А.* Записные книжки. 1901–1920. М., 1965. С. 114.

[2] Лев Толстой и В. В. Стасов. Переписка. 1879–1906. Л., 1929. С. 236.

[3] *Барышников Е. П.* Образная концепция мира в прозе Л. Н. Толстого. М., 2014. С. 153–154. Фундаментальная монография «талантливого и вдумчивого исследователя» (Л. Д. Громова-Опульская) увидела свет более чем через 30 лет благодаря усилиям его ученика — Н. М. Валеева, заслуженного деятеля науки РФ и Республики Татарстан. Выводы Е. П. Барышникова об идейно-художественном содержании романа «Воскресение» учитывает В. Б. Ремизов в своей

книге «Роман Л. Н. Толстого «Воскресение»: концепция жизни и формы ее воплощения» (Воронеж, 1986), без которой нельзя представить пути дальнейшего освоения произведения Толстого — итогового откровения русской классики о человеке и мире. Е. П. Барышников высоко оценил книгу В. Б. Ремизова (В мире Толстого // Подъем. Воронеж. 1987. № 3. С. 142–143).

[4] Там же. С. 154.

[5] *Нилус С. А.* Великое в малом. Сергиев Посад, 1917. С. 9.

[6] *Шаргунов С.* Все время: бабах! // Советская Россия. М., 2014. № 113. С. 3.

[7] Сенатор Сковородников, отмежевавшийся от моральных ориентиров, перед началом слушания дела Масловой парирует выразившему осуждение однополой любви»: «Я вам в нашей литературе укажу на проект <...>, чтобы это не считалось преступлением и возможен был брак между мужчинами <...>, цитируя полное заглавие сочинения и даже год и место издания» (32, 275), а когда узнал, что автора — в губернаторы, то с иронией предложил направить туда и такого же архиерея.

Г. М. ЕВТУШЕНКО
г. Москва

Чтение варианта романа Л. Н. Толстого «Воскресение» в Ясной Поляне (по материалам воспоминаний Ильи Гинцбурга)

Интерес к личности Льва Николаевича Толстого и его окружения постоянен и непреходящ. Широкая публика хотела бы читать, слушать, видеть любимого писателя. Многие деятели искусства стремились его рисовать, снимать и лепить. Не слишком этого желал сам Толстой. Он отказывался позировать художникам, возражал против присутствия и съемки кинематографистов. Но все же ни один писатель, живший примерно в одно время с Львом Толстым, не оставил после себя такого большого количества снимков, съемок, живописных произведений и скульптурных изображений, как граф Толстой. Современники понимали, что важно запечатлеть Толстого при жизни, дать возможность миру узнать, что происходит в Ясной Поляне, кто окружает писателя и как проходит его повседневная жизнь. Предметом источниковедческого анализа для исследователей часто становятся мемуары и воспоминания тех, кто имел дело с Толстым при жизни, был допущен в «ближний» (что наиболее интересно), но даже и в дальний круг его окружения. Воспоминания о поездках в Ясную Поляну написал и скульптор Илья Яковлевич Гинцбург (1859–1939). Вместе с литературным и музыкальным критиком Владимиром Васильевичем Стасовым он неоднократно бывал в Ясной Поляне и еще при жизни Толстого оставил об этом воспоминания.

Впервые он взялся за перо, когда умер его ближайший друг и соратник. К годовщине смерти Стасова была написана и 13 января 1907 г. опубликована в газете «Русское слово» статья «Стасов у Толстого», где И. Я. Гинцбург вспоминал о том, что это посещение запомнилось ему

больше других. Во-первых, потому, что тогда читали главы из «Воскресения», а, во-вторых, потому, что тогда состоялась последняя встреча Стасова с Толстым.

Гинцбург пишет, что это было в середине августа 1904 г. Долгое время считалось, что Гинцбург ошибается в датировке последней встречи Стасова с Толстым, что она относится к 1903 г. Об этом рассуждает историк русской литературы, литературовед Борис Львович Модзалевский в статье «В. В. Стасов и Л. Н. Толстой»[1]. Однако сохранилось письмо Стасова к Толстому от 8 сентября 1904 г., где написано, что Стасов и Гинцбург возвратились из Ясной Поляны 6 сентября 1904 г. Таким образом, то, о чем пишет Гинцбург, подтверждается и рассказом Стасова о чтении Толстым нового произведения[2].

Итак, по воспоминаниям Гинцбурга, они со Стасовым «приехали под вечер, прямо к обеду. Лев Николаевич и Софья Андреевна выскочили из-за стола и обнялись со Стасовым»[3].

Скульптор подробно описывает обстановку в доме Толстых в тот момент, когда путешественники туда приехали. Их охватил эмоциональный подъем от встречи с «Великим Львом». Стасова посадили рядом с Софьей Андреевной, а Гинцбурга — между Толстым и незнакомцем. Лев Николаевич представил сидящего за столом Николая Васильевича Орлова, художника, которого писатель очень высоко ценил за то, что тот изображал тяжелую и бесправную жизнь русского крестьянства. Дальше Гинцбург содержательно передает начавшиеся оживленные разговоры. «Стасов был в ударе и рассказывал так интересно, что все дружно смеялись»[4].

Скульптору удается познакомить читателя с легкой непринужденной атмосферой за столом. Он любуется тем, как Толстой шутит и даже рассказывает смешные анекдоты присутствующим. Вряд ли можно упрекнуть автора в чрезмерной восторженности. Он искренен в приятии той атмосферы, в которой оказался в Ясной Поляне. Выпускник Академии Художеств акцентирует те детали, которые, по его мнению, могут быть интересны читающей публике. И передает их, окрашивая личным отношением к происходящему. В этом смысле его воспоминания сами превращаются в источник, из которого можно получить новую персонифицированную «гинцбурговскую» информацию: кто был в это время рядом с Толстым, как себя вели люди, что волновало Льва Николаевича в это время. Как пишет В. С. Листов, «реальное время в таких случаях как бы вытесняется *образом* времени»[5], воссозданного и переданного читателям яснополянским гостем.

После обеда, по свидетельству скульптора, гости разбредаются по своим делам, а Стасов и Гинцбург остаются с Толстым. «Толстой

в то время работал над «большим календарем с изречениями» и писал о Шекспире. Он тут же начал излагать свой, уже известный теперь, взгляд на Шекспира. Стасов пробовал защищать Шекспира от жестоких порицаний Толстого, но тот не только не смягчал своих нападок, но и еще сильнее их выражал»[6]. Илья Яковлевич пишет, что опасался, вместе с присутствующим в комнате Алексеем Петровичем Сергеенко, чтобы спор не обострился. Но, к счастью, спор не принял угрожающих размеров, и собеседники перешли на другие темы. Повествование Гинцбурга дышит человеколюбием и гуманизмом. Скульптор не хочет быть свидетелем конфликта или поединка друзей. Он рад, что без человеческих потерь можно выйти из острой ситуации.

Рассказывая об этих других посетителях Ясной Поляны, Гинцбург рисует яркие портреты деятелей культуры того времени. «Владимир Васильевич Стасов не мог успокоиться: «Каков Лев Николаевич! А насчет Шекспира я ему еще выскажу свое мнение. Пусть он знает. Что я не могу согласиться с ним»[7].

Гинцбург развертывает перед читателями картину жизни в Ясной Поляне, неизвестную широкому кругу. Интерес к «легендарной» жизни Льва Толстого поддерживался поклонниками и почитателями его таланта по всему миру и не угас, а даже усилился после смерти писателя. Скульптор передает воздух толстовской усадьбы, проявляет внимание к подробностям времяпрепровождения гостей и хозяев Ясной Поляны. В этот приезд Стасову и Гинцбургу довелось увидеть Толстого верхом на лошади, поговорить о Герцене, которого Толстой любил читать и цитировал наизусть, узнать, над чем Толстой работал в то время.

Но вся эта радостная встреча друзей и собеседников, описанная скульптором, для читателей оказывается лишь прелюдией к главному событию. Кульминацией этой части воспоминаний становится эпизод чтения Толстым фрагментов своих новых произведений. Гинцбург приводит слова Стасова:

«Все, что я вижу и слышу здесь — так важно, так ценно, что хотелось бы еще долго оставаться здесь. Знаете ли, что я придумал? Ведь мы решили послезавтра уехать. Так вот, я завтра попрошу Льва Николаевича, чтобы он прочел нам что-нибудь из своих новых вещей. Помните, в прошлом году я просил, и он исполнил. Как он читает! Помните? Божественно хорошо!»[8]

На следующий день Стасов изложил свою просьбу Толстому, и тот согласился вечером прочесть что-то из недавно написанного.

«После чая все с нетерпеньем ждали обещанного. Лев Николаевич принес из своей комнаты тетрадку. Стасов сел возле него. Софья Андреевна, все еще больная, сидела в своем углу у круглого столика и что-то вышивала. Другие сидели в противоположном углу зала и занима-

лись наклеиванием изречений для календаря, над которым работал тогда Толстой. Я сел возле Льва Николаевича, намереваясь зачертить его во время чтения»[9].

Отметим, что Гинцбург излагает события почти сценарным письмом. Он, активно используя глагольные формы, описывает сначала действие, потом эмоциональное состояние свое и присутствующих. Он растягивает время, запечатлевает и останавливает его. Мы имеем дело со своеобразными «сцеплениями» (по выражению Толстого), «монтажными склейками», если передать их суть в терминах кинематографа. Мемуарист как бы сгущает время, уплотняет его. Вспомним Бахтина: «Время здесь становится художественно зримым, пространство же интенсифицируется, втягивается в движение времени, сюжета, истории. Приметы времени раскрываются в пространстве, а пространство осмысляется и измеряется временем»[10].

Лев Николаевич начал читать отрывок из «Воскресения». Начав читать, он скоро остановился:

— Не разбираю я своего почерка. Пусть кто-нибудь другой прочтет. Он передал тетрадь своей дочери, но она не очень легко читала, хотя больше всех знала почерк своего отца. Тогда Лев Николаевич опять попросил тетрадь и стал читать. Не о Шекспире, не изречения, а читал он вещь из жгучей жизни, с первых же слов захватывающим образом подействовавшую на нас. Моментами рассказ был до того поразителен, что я должен был перестать рисовать. Карандаш вываливался из рук. В зале было гробовое молчание, и все, притаив дыхание, слушали.

<...> комната матери несчастного заключенного. Она узнает, что сына осудили на смерть. Она в безумии рвется из дома <...>. Знакомые и доктор ее удерживают, дают ей капли, и она в изнеможении падает.

Тюрьма. Жизнь заключенного, молодого, красивого, образованного юноши. Ему сообщают о смертном приговоре. Он не верит и не понимает, за что. У Льва Николаевича является дрожь в голосе. Глаза его наполняются слезами. Все еще более опустили голову и с затаенным дыханием мучительно слушают...

<...> Соседняя камера в тюрьме. Раскольник терзается мыслью об осужденном политическом преступнике. <...>

Сцена в другой камере, где политический преступник в одиночном заключении. Заключенный чувствует, как у него путаются мысли, как он лишается рассудка.

— Смотритель! Смотритель! — кричит близкий к безумию заключенный.

Является смотритель. «Что Вам угодно?» — «Ничего... Я боюсь! Мне дурно!» — Смотритель уходит, но этот крик повторяется.

Страх этого несчастного выражается с такой силой, что, слушая описание этого страха, дрожь пробегает по телу и сердце усиленно бьется.

Лев Николаевич прерывает чтение. Голос его обрывается, мы ждем. Плачущим голосом Лев Николаевич продолжает повествовать.

Таких правдивых глубоких по мысли и по жизненной правде сцен целый ряд. Лев Николаевич <...> показывал ту страдальческую молодую Россию, которая оставлена всеми благомыслящими русскими на произвол злой судьбы. <...>

Лев Николаевич кончил, мы еще сидели, как в оцепенении. <...>

— Четвертая часть еще не готова,— прервал тишину Лев Николаевич.

Было уже поздно, и мы, поднявшись с места, разошлись, не чувствуя больше в этот вечер нужды в каких бы то ни было посторонних разговорах»[11].

Продолжая «рассказы очевидца», Гинцбург вводит своего читателя в два мира — мир Толстого и мир российской действительности того времени, по которому Лев Николаевич водил своих слушателей, читая роман. Толстой рассказывает о том, что волнует граждан России, находясь у себя дома, в привычной обстановке, под лампой в гостиной. А мир, который Толстой разворачивает перед слушателями, мир арестантов и заключенных, открывшийся перед собравшимися, окрашен эмоционально: он страшен и ужасен. Контраст очень яркий, построенный на огромном перепаде социальных температур. Отсюда некое ощущение «приоткрытого занавеса» или заглядывания в замочную скважину, как раз тот комплекс, на основании которого и «действует» кинематограф. Однако автор воспоминаний весьма убедителен в своем описании, потому что передает свои впечатления от того, что видит и чувствует во время толстовского чтения.

Известно, что, когда Гоголь читал «Ревизора» слушателям, это был театр. Николай Васильевич исполнял все роли. По свидетельству очевидцев, Гоголь читал гораздо лучше, чем играли потом исполнители, хотя для последних в отсутствие режиссера автор даже написал «Замечания для господ актеров». То же произошло и с Пушкиным. В 1826 г. у Веневитинова он читал «Бориса Годунова» и буквально заворожил публику своим исполнением. Так и Толстой, для которого искусство и есть прежде всего способность «заразить» окружающих.

Пожалуй, никто из мемуаристов, кроме Гинцбурга, не смог передать в автобиографических материалах столь ценные, иногда единственные в своем роде образные впечатления от восприятия

произведений Льва Толстого другими людьми. Как настоящий писатель, Илья Яковлевич отталкивается от события. Он, будучи непосредственным свидетелем и участником, передает событийные сущность и значимость. Но уже не в камне или бронзе, как он привык это делать, а в слове. Примечательно, что русский язык не был Гинцбургу родным — он родился в Гродно. При поступлении в Академию художеств он брал уроки русского языка, чтобы не выделяться в студенческой среде. Жена художника Савицкого учила его грамоте и письму.

Любопытно, что в 1-м и 2-м изданиях книги «Лев Толстой в воспоминаниях современников» сообщение Гинцбурга о том, что Л. Н. Толстой читал главы из «Воскресения» рассматривается, как ошибочное. Те, кто имел дело с 1-й редакцией воспоминаний Гинцбурга, утверждают, что Толстой читал один из первых вариантов произведения «Божеское и человеческое», над которым он работал в 1904–1905 гг.[12]

Точнее, отрывок, который читал Толстой, первоначально входил в вариант романа «Воскресение», но еще в рукописи был исключен из него автором. К сюжету этого отрывка Толстой вернулся через несколько лет, озаглавив его «Божеское и человеческое». Гинцбург этого знать не мог. Он пользовался информацией, полученной «из первых рук», т.е. от самого Толстого.

Нельзя не заметить, что воспоминания Гинцбурга хоть и овеяны трепетно- почтительным отношением к Толстому, дают уникальную картину того, как происходило чтение глав из нового произведения (теперь мы можем сказать только предположительно — варианта романа «Воскресение») Толстого в Ясной Поляне, кто и как слушал и воспринимал Толстого в эти дни. Для сегодняшнего читателя и исследователя текстологический анализ произведений Толстого доступен. И тот материал, который Гинцбург называет «главами из романа «Воскресение»», сегодня легко устанавливается с помощью сравнительного текстологического анализа. Но в данном случае для нас важным было иметь представление о том, как сам Толстой знакомил свое окружение с новыми произведениями, и мы получили эти сведения, благодаря воспоминаниям И. Я. Гинцбурга, интересного мемуариста и литератора.

---

[1] Лев Николаевич Толстой. Юбилейный сборник. М.; Л.: ГИЗ, 1928. С. 332–387.

[2] Л. Н. Толстой и В. В Стасов. Переписка 1878–1906. Л.: Прибой, 1929. С. 355.

[3] Скульптор Илья Гинцбург. Стасов у Толстого // Воспоминания, статьи, письма. Л.: Художник РСФСР, 1964. С. 153.

[4] Там же.

[5] *Листов В. С.* И дольше века длится синема. М.: Материк, 2007. С. 257.

[6] Скульптор Илья Гинцбург. Стасов у Толстого // Воспоминания, статьи, письма. Л.: Художник РСФСР, 1964. С. 153–154.

[7] Там же. С. 154.

[8] Там же. С. 155.

[9] Там же. С. 156.

[10] *Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики. М.: Художественная литература, 1975. С. 504.

[11] Скульптор Илья Гинцбург. Стасов у Толстого // Воспоминания, статьи, письма. Л.: Художник РСФСР, 1964. С. 156–158.

[12] См.: К истории создания «Божеского и человеческого» // Толстой. Памятники творчества и жизни. М.: Задруга, 1920. Т. 2. С. 8–18.

Проблемы мировоззрения Л. Н. Толстого

М. В. СТРОГАНОВ
г. Тверь

О пресловутых противоречиях Л. Толстого

Всякий, кто писал о Л. Толстом даже в первой половине 1980-х гг., вынужден был положительно отреагировать на слова В. И. Ленина о «кричащих противоречиях» Толстого. Слова эти можно было обставить так, чтобы дезавуировать их смысл, но с ними надо было соглашаться. Некоторые, даже весьма мудрые исследователи (например, Б. М. Эйхенбаум), искренне пытались обосновать свою веру в эти слова. Но большинство — немудрое и немудрящее научное сообщество — повторяло эти слова просто так, не задумываясь над их смыслом. Поступать так, несомненно, и правильнее, и легче.

Между тем, несмотря на постоянное упоминание, концепция «кричащих противоречий» не объясняла и не могла объяснить Толстого и только предопределяла ограничительное восприятие его «до сих», причем все, что было «от сих», старательно вычеркивалось. Исследователи (?), конечно, понимали, что нельзя взять в разведку, в супруги, на работу половину человека, а другую его половину, как не соответствующую требованиям, отстранить от исполнения военно-братских, супружеских, служебных обязанностей. Но с Толстым они поступали именно так: «до сих» полное собрание сочинений изучалось самым тщательным образом, а «от сих» можно было даже и не читать. Вследствие этого даже опытные толстоведы делали ошибку и писали название знаменитого трактата Толстого следующим образом: «Царство Божие внутри нас» (вместо *вас*).

Цель моей статьи состоит в опровержении ходячего утверждения, что Л. Н. Толстому были свойственны противоречия, и уж тем более «кричащие», поскольку за этим утверждением не стоит ровным счетом ничего. Этот тезис о противоречиях Толстой впервые был вполне определенно озвучен в первых рецензиях на повесть «Казаки». Потом, с каждым новым выступлением Толстого, это мнение звучало все громче, от частого повторения оно становилось будто бы авторитетнее. На третьем этапе появилась красивая формула «десница и «шуйца».

На четвертом этапе эта образность приобрела черты научного коммунизма в виде «кричащих противоречий». А завершилось все это тривиальными суждениями о противоречивости Толстого, как будто бы он в большей степени противоречив, чем какой-либо другой человек.

Настойчиво подчеркивая, что противоречия, приписываемые Толстому, на самом деле мнимые, я тем не менее признаю, конечно, реальную сложность личности Толстого, составленной из на самом деле трудно соединимых частей. Но, подчеркивая это, я ставлю перед собой другую задачу — избежать собственных исследовательских противоречий в разделении единой личности писателя «от сих» и «до сих».

При этом я хочу повторить, что уже не раз приходилось повторять. Современное толстоведение не может сказать никакого принципиально нового слова о Толстом. По большому счету все уже о Толстом сказано. Все это можно отнести и к любому другому русскому писателю, который неоднократно становился предметом научного исследования. Место Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Достоевского в историко-литературном процессе совершенно справедливо и многократно осмыслены, ничего нового добавить к оценке этих (и других) авторов нельзя. Мы можем уточнить комментарий, привлечь новые материалы, но общая характеристика остается неизменной. Только добросовестное признание в этом позволит историко-литературной науке двигаться дальше.

Итак, продолжим. По большому счету все уже о Толстом сказано. О телесности Толстого сказал Мережковский, о приемах работы Толстого — Эйхенбаум. Современному толстоведению остается только повторять и распространять «мысли великих людей». То же самое относится и к моей статье. Я едва ли скажу нечто новое. Я просто повторю уже сказанное.

Дело в том, что я своей работой хочу вернуть в активный оборот блистательную статью П. В. Анненкова «Граф Л. Н. Толстой», которая была написана в 1863 г. как рецензия на повесть «Казаки» и напечатана в газете «Санкт-Петербургские ведомости» (№ 144–145. 27–28 июня). Статья эта известна, но не имеет в глазах научной общественности того значения, которого она на самом деле заслуживает. Напоминая основные положения этой статьи, я хотел бы подчеркнуть глубину наблюдений и обобщений Анненкова.

Анненков начинает с указания на руссоизм Толстого: «дар чрезвычайно тонкого анализа помыслов и душевных движений человека» Толстой употребляет «на преследование всего того, что ему кажется искусственным, ложным и условным в *цивилизованном* обществе»[1]. Отличие руссоизма Толстого от предшественников (Пушкин, Лермонтов) состоит, по мнению Анненкова, в том, что герой, носитель идей Руссо, «впервые низведен в реальный мир и от реального мира уже получил все черты и краски, посредством которых выражается писателем»[2]. Ан-

ненков видит руссоистскую тенденцию во всем творчестве Толстого, начиная с повестей «Детство» и «Отрочество». При этом он отмечает, что «анализ» (тенденция) Толстого «никогда не выражался сухо, сам для себя или при помощи нарочно приготовленных для него типов»; исключение из этого правила Анненков видит лишь в «Люцерне».

Кстати заметим, что это суждение Анненкова обращает наше внимание на один важный парадокс. Сюжет «Люцерна», как известно, не выдуман Толстым; напротив того, Толстой слишком добросовестно следует в этом рассказе за фактом из своей собственной жизни. И видим, именно это добросовестное следование за фактом и сообщает «Люцерну» лобовую публицистичность и художественную неубедительность. То, что было сильно, потрясающе в жизни, оказывается вовсе не сильным и не столь потрясающим в искусстве. Все это остро ставит перед нами вопрос о соотношении действительности и вымысла в искусстве, о характере отношений искусства и действительности.

Характерной чертой личности Толстого является, по Анненкову, самостоятельность мышления: «капризная и заносчиво-оригинальная мысль, которая уже не сносит какого бы то ни было самого законного посягательства на свою свободу, представляйся оно хоть в форме дознанного исторического закона, или в форме несомненного, многолетнего опыта, или, наконец, в виде лучезарного художнического произведения»[3]. Речь идет о свойственной Толстому наполеоновской претензии создать теорию, книгу, совершить поступок, сделать дело, которые перевернули бы мир, и для того, чтобы перевернуть мир, Толстой не хочет оглядываться ни на какие авторитеты. «Идеал цивилизации» Толстой замещает «страстным влечением к простоте, естественности, силе и правдивости непосредственных явлений жизни. Душа его отдана всему, что еще не выделилось вполне из природного состояния, из оков материи и из фатализма истории, всему, что развивается бессознательно, покоряясь, с одной стороны, врожденным и, стало быть, искренним побуждениям своего организма, а с другой — удовлетворяя духовную свою природу только теми нравственными представлениями, только той наукой, поэзией и философией, которые сложились в течение веков, неведомым образом и сами собой вокруг человека как различные пласты его родной почвы. Здесь только и истина для Толстого. В этом влечении кроются и источники его постоянной, предвзятой идеи, управляющей всей художественной его деятельностью»[4]. Анненков закончил общую характеристику Толстого, а Толстой еще и не думал о «Войне и мире». Между тем Анненков в этой характеристике уже совершенно четко предсказал (или, если угодно, передним числом подытожил) всю концепцию «Войны и мира».

После создания перспективы, в которой следует воспринимать повесть «Казаки», Анненков анализирует самую повесть и постоян-

но подчеркивает при этом: «Как бы ни относились к этой идее, к каким бы соображениям и выводам она вас ни приводила, но произведение, на ней основанное, благодаря участию настоящих творческих сил в его создании остается все-таки образцовым по строгой верности изображений, по истине и теплоте колорита, по свежести, красоте и вместе реальности всех своих подробностей. Мы уже заметили, что искусство выбирает для себя предметы совершенно независимо от существующих мнений, относительно их достоинства или их недостатков, но оно уже никогда не лжет. Тот еще не понял романа, кто не почувствовал в главных действующих лицах его, пересчитанных нами выше, удивительного сочетания поэзии с самой жестокой, изобличающей правдой»[5]. Иначе сказать, Анненков говорит, что творческая мысль Толстого достигает высших степеней художественного изображения вне зависимости от того, насколько ценен для него самого интеллектуальный кругозор и идеологическая позиция того или иного героя. Из этого следует, что человек, который читает и оценивает произведения Толстого, тоже должен отказаться от оценки интеллектуальных потенций и идеологической позиции Толстого как мыслителя. Все это вполне сознательно Толстой сформулировал в «Войне и мире». Умна ли Наташа? — так княжна Марья спрашивает у Пьера Безухова. «Я думаю, нет,— сказал он,— а впрочем — да. Она не удостоивает быть умной... Да нет, она обворожительна, и больше ничего»[6]. Еще раз повторю: Толстой еще и не начинал писать «Войну и мир», а Анненков уже рассказывает, о чем будет написана эта книга.

Далее, анализируя повесть «Казаки», Анненков скажет о мире казаков в этой повести слова, которые необходимо распространить и на приемы творческой работы Толстого вообще: «Ошибку сделал бы только тот, кто бы принял одну поэзию явления за неопровержимое доказательство его <явления> прав на вековечное существование или за единственное мерило его <явления> нравственного, общественного и политического достоинства. Поэзия знает только себя, и ей нет никакого дела до всех других правд, которые могут существовать одновременно с нею, по отношению к избранному ею предмету»[7]. Иначе сказать, для художественного произведения лишь одна художественная сторона имеет содержательное значение; содержание же, отвлеченное от художественной стороны, значения не имеет. Поэтому противоречие «великий писатель и плохой мыслитель», которое так любят повторять до сих пор, просто не имеет прав на существование, это не реальное, а якобы противоречие. И на самом деле: что мы знаем о Шекспире как мыслителе? — Ничего. Нужно ли нам знать, каков он был как мыслитель? — Конечно, нет.

Однако мы, толстоведы в целом, давно уже подпали под эти характеристики Анненкова: «Ошибку сделал бы только тот...», «Тот

еще не понял романа...» Мы постоянно делаем ошибки и постоянно не понимаем романа, так как постоянно оцениваем творчество Толстого в категориях противоречий (а подчас даже и «кричащих»!), между тем как, согласно самой природе искусства, в нем нет даже намека ни на что подобное. Повторим еще раз. Природа искусства не предполагает оценку изображаемого с точки зрения бытовой, политической и всякой другой достоверности, то есть не предполагает того, чтобы изображение соответствовало изображаемой действительности. Природа искусства предполагает оценку изображаемого с точки зрения красоты изображения, если под красотой понимать художественную достоверность изображения.

Далее Анненков выдвигает и обосновывает тезис, который еще более подрывает теорию «кричащих противоречий». Он пишет: «Мы поставлены в необходимость сказать при этом несколько слов и о педагогической деятельности Толстого, так как, по нашему мнению, она есть не более и не менее как новый вид его художнического творчества»[8]. Осмысление той или иной общественной практики как вида художественного творчества даже в XX в. было свойством только авангардных направлений, и трудно было даже предположить, что Анненков может сформулировать такое решение вопроса об искусстве. Знаковое поведение в быту существовало всегда, осмысление бытового поведения как знакового формировалось лишь в определенные периоды, но только во второй половине XX в. произошло эстетическое осмысление общественной практики. В эпоху же реализма осмысление общественной практики как формы искусства было крайне неожиданно. Что же дает такое осмысление?

Между собственно искусством (литературой) и общественной практикой как видом искусства (педагогикой), пишет Анненков, «разница может состоять в том, что страстное искание естественных сил и свежих зародышей ума и чувства перенесены здесь <в педагогике> на практическую почву, на живое лицо из обширной области фантазии, в которой подвизались доселе. Толстой относится к ребенку своей знаменитой школы с теми же требованиями, как к воображаемым лицам своих произведений и к окружающему миру вообще. Он и за учительским столом такой же психолог, зоркий наблюдатель и фантастический адепт своей веры в красоту и истину всего прирожденного, как и за письменным. Материал для работы изменился, но сама работа не изменилась — только анализ его приобрел уже положительный характер вместо прежнего отрицательного. Анализ Толстого уже не обличает ребенка: он прославляет его. <...> логические последствия чисто художнических отношений к школе часто приводят к сомнению в достоинстве последних как средств и орудий педагогии»[9]. Все, что сказано Анненковым, совершенно справедливо. Яснополянская

школа была не отступлением Толстого от искусства, но иной формой искусства, особым художественным проектом, а не методически размеренной, монотонной работой. Главный итог яснополянской школы состоял не в обучении и воспитании крестьянских детей, а в выяснении Толстым вопроса, кому у кого учиться писать. Когда Толстой выяснил для себя этот вопрос, яснополянская школа стала ему не нужна. Мы бы назвали теперь яснополянскую школу Толстого арт-проектом, но в 1863 г., больше ста пятидесяти лет назад, когда Анненков сказал все это, никакой речи о таких формах искусства, как арт-проекты, еще и быть не могло.

Толстой своими общественными практиками создавал образы (не образцы) поведения, и он вовсе не предполагал, что сам он обязательно и последовательно будет соблюдать эти образы как образцы. Образ косьбы (как и другой любой крестьянской работы) предполагал указание на косьбу, поэтому можно было отправиться на эту работу, когда роса уже сошла, а солнце стояло высоко. Образ натурального хозяйства предполагал указание на шитье сапог, поэтому можно было и должно было шить их, и вовсе не обязательно было их носить, потому они, не ношенные и не сношенные, стоят в музее. Анненков писал, что «логические последствия чисто художнических отношений к школе часто приводят к сомнению в достоинстве последних как средств и орудий педагогии». Точно так же достоинство косьбы в полдень, равно как и достоинство грубо сшитых сапог, весьма сомнительно, но ведь «поэзия знает только себя, и ей нет никакого дела до всех других правд, которые могут существовать одновременно с нею, по отношению к избранному ею предмету».

Возвращаясь к статье Анненкова о Толстом и перечитывая ее, никак нельзя избавиться от впечатления, что все это написал Андрей Немзер о (например) Владимире Сорокине: «Может быть, никто из наших писателей так горячо не исповедует эстетического догмата, что предмет и лицо могут быть поэтическими, помимо и даже назло всем моральным, философским и политическим определениям их. Гр. Толстой никогда не справляется о нравственной сущности типа, как скоро тип этот оригинален и поэтичен: он, нисколько не колеблясь, возвышает его на ту степень, на которой, по художническим соображениям, ему следует стоять. Вопрос заключается в том: это возвышение и возвеличивание лица с сомнительным нравственным характером не составляет ли преднамеренного оскорбления чувству приличия и понятиям, выработанным опытом и размышлением о достоинстве и назначении человека? Вопрос этот разрешается гр. Толстым на практике, в сфере создания и притом (кажется нам) окончательно. По смыслу, который заключается в выведенных им лицах, оказывается, что все дело — в полноте и цельности типа, каков бы он ни был. Тогда он становится,

так сказать, открытым на все стороны, может быть судим и приговариваем на основании различных схем, взглядов, теорий — к чему угодно, делается в одно время поучением, пугалом или идеалом по произволу каждого. Он служит всем своим содержанием чувству и размышлению, искусству и обществу. Нравственный смысл весь в его полноте. Он лишается нравственного смысла только по милости утайки, недоговоренного слова или извращенной, произвольно перетолкованной черты»[10]. Прошу прощения за длинную цитату.

Я вовсе не хочу сказать, что Сорокин — это современный Толстой, а Немзер — современный Анненков. Такое сопоставление совершенно невозможно уже потому, что место и роль искусства (и критики) в общественной жизни изменилось принципиально. Я хочу только сказать, что та логика, которую Анненков использует для объяснения Толстого, вполне применима (и должна была бы применяться) к явлениям современной художественной культуры. Эта логика может даже объяснить некоторые современные общественные практики как виды художественной деятельности и снять недоразумения, которые накопились вокруг этих проблем. Другое дело, что человечество не может учиться на ошибках прошлого и всякий раз вновь наступает на те же самые грабли, которые расшибали лоб еще в прошлом веке.

Но для середины XIX в., для эпохи реализма мысли Анненкова были крайне несвоевременными. И именно потому, что они были абсолютно несвоевременны, современники (да и потомки) их не услышали. Но мы не будем критически оценивать современников Анненкова за то или иное восприятие его статьи. Мы, потомки, давно должны (обязаны) были бы соединить анненковскую трактовку практической деятельности Толстого как творчества и современные художественные практики и снять вопрос о его кризисах и противоречиях (и уж тем более «кричащих»).

В творческой жизни Толстого было немало сложных, извилистых эпизодов, которые разрешались самыми разными способами. Но несколько раз он декларативно отказывался от литературного творчества и куда-нибудь «уходил»: то дважды в народную педагогику (1860-е, 1870-е), то в народ (1880-е), то прямо к народу (1910). До сих литературоведение рассматривает эти уходы как литературные кризисы Толстого. Анненков же глядит глубже и видит в этих «уходах» не отступление Толстого от художественной работы, а переходы к другой художественной работе. Переходы же художника от одних форм и жанров искусства к другим — это не кризисы, а обычная, нормальная эволюция. И никаких «кричащих» противоречий эта эволюция не порождает и не выражает.

В заключение напомним опыт Б. М. Эйхенбаума. В 1929 г. он написал статью «Литературная карьера Л. Толстого», где говорил, в част-

ности, о том, что «педагогика была сложным тактическим ходом, при помощи которого Толстой <...> вернулся к литературе»[11]. Никакого разговора о «противоречиях» еще нет, и Эйхенбаум фактически повторяет Анненкова. Однако вскоре старый ученый попытался, вслед за Мандельштамом, прокричать: «Пора вам знать: я тоже современник». И в более поздних статьях «О противоречиях Льва Толстого» (1939) и «О взглядах Ленина на историческое значение Толстого» (1957) появляются и «противоречия», и даже «кричащие». Это был тупик не только для большого ученого Эйхенбаума, но и для всего советского литературоведения. Ничего продуктивного в этом не было. Теперь мы должны выбраться из этого тупика, иначе творческое осмысление Толстого так и будет стоять на месте.

---

[1] *Анненков П. В.* Граф Л. Н. Толстой // *Анненков П. В.* Критические очерки / Сост., подготовка текста, вступ. статья и примеч. И. Н. Сухих. СПб., Изд-во РХГИ, 2000. С. 295.

[2] Там же. С. 298. Все это весьма близко предсказывает известную статью Ю. М. Лотмана «Истоки «толстовского направления» в русской литературе 1830-х годов» (Учен. зап. / Тартуск. гос. ун-т. Вып. 119. Труды по русской и славянской филологии. V. 1962).

[3] Там же. С. 297.

[4] Там же.

[5] Там же. С. 310.

[6] *Толстой Л. Н.* Собрание сочинений: В 22 т. М.: Художественная литература, 1979. Т. 5. С. 344. Далее цитаты по этому изданию приводятся в скобках в тексте. Анализ этого эпизода с выявлением его генезиса см.: *Строганов М. В.* Лев Толстой и декабристы: Монография. Тверь: Лилия Принт, 2006. С. 29–36.

[7] *Анненков П. В.* Критические очерки... С. 307.

[8] Там же. С. 299.

[9] Там же.

[10] Там же. С. 304–305.

[11] *Эйхенбаум Б. М.* Лев Толстой: Исследования. Статьи / Сост., вступит. статья И. Н. Сухих. Комментарий Л. Е. Кочешковой, И. Ю. Матвеевой. СПб.: Факультет филологии и искусств СПбГУ, 2009. С. 689.

В. Б. РЕМИЗОВ
г. Москва

Л. Н. Толстой и славянский вопрос в контексте проблем современной эпохи

Тема «Лев Толстой и славянский мир» изучалась не одно десятилетие. Она широко представлена в работах ученых разных поколений и разных стран. Но круг проблем, связанных с ней, так велик, что требует продолжения усилий исследователей в этой области. Наша эпоха, обозначившая негативные вопросы социально-политического общения славянских народов, придает этой теме особую значимость. Актуализация затрагивает разные сферы жизни и творчества писателя. Источниковедение могло бы пополниться за счет комплексного изучения эпистолярного наследия Толстого, книг со славянской тематикой, хранящихся в яснополянской библиотеке писателя, материалов биографического и краеведческого содержания. Было бы целесообразно *начать работу над энциклопедией «Л. Н. Толстой и славянский мир»*.

Настоящее исследование — это путь к осмыслению раздумий Толстого над проблемой «Божеского и человеческого» в связи с событиями, которые являют собой историческую жизнь славянских народов второй половины XIX и начала XX в.

К середине позапрошлого столетия оформились два противоборствующих течения: пангерманизм и панславизм. Последний возник как реакция на появление первого и сразу же вызвал в западноевропейских странах жгучую ненависть. Так, в Праге в июне 1848 г. был разогнан австрийскими властями Первый Славянский съезд. В 1867 г., когда в Санкт-Петербурге и Москве состоялся Второй Славянский съезд, канцлер только созданного Северо-Германского союза О. Бисмарк предложил австро-венгерской верхушке арестовать, обвинив в государственной измене, каждого участника этого съезда. Один из французских журналистов назвал славянских профессоров невеждами и изменниками.

Суть разногласий наиболее полно в поэтической форме выразил *Ф. И. Тютчев*. Он оттолкнулся от слов, прозвучавших в *речи Алексан-*

дра II, произнесенной 14 мая 1867 г. в Царском селе для 22 участников славянского съезда. «Приветствую вас,— провозгласил царь,— родные славянские братья, на родной славянской земле!»

Вдохновенно звучат первые строки тютчевского стихотворения:

Привет вам задушевный, братья,
Со всех Славянщины концов,
Привет наш всем вам, без изъятья!
Для всех семейный пир готов!
Недаром вас звала Россия
На праздник мира и любви;
Но знайте, гости дорогие,
Вы здесь не гости, вы — свои!
Вы дома здесь...» («Славянам». 1867)[1].

Стихотворение, эмоционально возвышенное по интонации, грустно по сути: само славянство у «иноязыческих властей» есть «тяжкий первородный грех», *«враждебною судьбиной» «разлучены» славянские народы; «как Божья кара», «славянское самосознанье», «страшит» недругов и «дышит им в лицо»*. Давно уже в западном мире господствуют *двойные стандарты:*

Давно на почве европейской,
Где ложь так пышно разрослась,
Давно наукой фарисейской
Двойная правда создалась:
Для них — закон и равноправность,
Для нас — насилье и обман,
И закрепила стародавность
Их, как наследие славян

(2, 177. Здесь и далее в авторском тексте и в цитатах курсив наш. — *В. Б.*).

Давно уже западноевропейцы с распростертыми объятиями «честят лобзанием своим» «лишь нашего Иуду», т.е. предателя славянских интересов. Недалеко от него ушли и представители либерального крыла русской интеллигенции:

Напрасный труд — нет, их не вразумишь.
Чем либеральней, тем они пошлее,
Цивилизация — для них фетиш,
Но недоступна им ее идея.
Как перед ней ни гнитесь, господа,

Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы

(*Май 1867*; 2, 181).

В дни, когда обсуждалась проблема объединения славян, когда шла речь о федеративном устройстве «славянских племен» и когда Западная Европа была охвачена жестокой войной, предвестницей мировых войн XX в., Тютчев четко противопоставил две системы полярного мира в стихотворении «Два единства» (1870):

Из переполненной Господним гневом чаши
Кровь льется через край, и Запад тонет в ней –
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши –
Славянский мир, сомкнись тесней...
«Единство,— возвестил оракул наших дней,—
Быть может спаяно железом лишь и кровью...»
Но мы попробуем спаять его любовью –
А там увидим, что прочней...

(2, 221).

«Попробуем спаять его любовью...» Как точно сказано. Нет ни утверждения того, что будет, ни отчаяния от хода событий, а есть только желание, потребность через любовь утвердить Закон любви вместо закона насилия (Вспомним позднюю статью Л. Н. Толстого «Закон любви и закон насилия»). Есть вера в возможность братства славянских народов, но есть и понимание трудности пути, сопряженного с насилием, горем, страданием:

И эта вера в правду Бога
Уж в нашей не умрет груди,
Хоть много жертв и горя много
Еще мы видим впереди...

(2, 178).

Есть осмысление и того, что без Польши решить проблему славянского единства вряд ли возможно. Русский историк *С. М. Соловьев* в большом исследовании «История падения Польши» (1863) назвал это «государственное образование» форпостом католицизма в Восточной Европе, которое стремится разрушить основы православия и посягательство которого на украинские и белорусские земли активно поддер-

живают западноевропейские страны. Понимая все это, Ф. И. Тютчев, мечтал об объединении славянских государств вокруг Константинополя и верил, что Польша тоже станет частью всеславянского братства:

Тогда лишь в полном торжестве,
В славянской мировой громаде,
Строй вожделенный водворится,—
Как с Русью Польша помирится,—
А помирятся ж эти две,
Не в Петербурге, не в Москве,
А в Киеве и в Цареграде...

(1850; 2, 17).

Активным сторонником идеи панславизма был *Ф. М. Достоевский*, считавший, что Россия, если справится со всякими корыстными устремлениями по отношению к славянам, привлечет их внимание к себе. «Все,— писал он,— воротятся в родное гнездо». Запад, не сомневался он, будет всячески этому препятствовать, но победа останется за Россией.

Когда в 1876 г. началась война межу Сербией и Турцией, Достоевский без колебаний поддержал славян и занял активную позицию по отношению к добровольческому движению в России.

Лев Толстой выразил свой взгляд на военно-политический конфликт между Сербией и Турцией в VIII части романа «Анна Каренина». Славянский вопрос и война в Сербии — предмет полемической схватки его героев.

В своей статье об отношении Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского к русско-турецким войнам 1870-х гг. А. И. Шифман выявил различия и точки совпадения во взглядах писателей. Хотя исследователь и обращался к тексту романа «Анна Каренина», собственно анализ спора героев о войне Сербии с Турцией носил фрагментарный характер, перевес явно был на стороне событий другого исторического масштаба. Речь шла прежде всего о русско-турецкой войне 1877–1878 гг. Если отбросить негативные идеологические клише, вызванные эпохой, когда писалась статья ученого, то можно согласиться с главным выводом, сделанным им:

«В позиции Достоевского, при всей ее осложненности реакционно-монархическими иллюзиями, чувствуется та же боль за страдающее человечество, то же стремление найти для него путь гармонического развития на основах мира и братства, что и у Толстого. На месте рухнувших идеалов европейского либерализма Достоевский утверждает свою утопию «великой православной России», но Россию он мыслит

доброй, гуманной, стоящей не *над* Европой, а *во главе ее,* со знаменем свободы и всемирного братства в руках. И здесь — в этом генеральном тезисе, как и в своей сердечной боли за Россию, за русский народ, он не расходится, а встречается с Толстым»[2].

Отмечая сильные и слабые стороны в позиции Толстого, А. И. Шифман писал:

«*Сила* — в более непосредственном и близком, чем у Достоевского, знании деревни, в превосходном понимании нужд и психологии русского крестьянина, в стремлении отстоять его интересы.

Сила — в более трезвом и критическом отношении к царизму, в более резком, чем у Достоевского, неприятии политики самодержавия, в более непримиримой оппозиции ко всем действиям власть имущих, особенно к действиям петербургских верхов.

Слабость — в недооценке тех патриотических настроений, которые в народе все же выявились в это время и нашли выражение в массовом сочувствии братьям-славянам на Балканах.

Слабость — в отречении от политики, в непротивленческом подходе к истории, в провозглашении отсталого патриархально-крестьянского взгляда на мир единственно правильным для решения мировых проблем. А ведь идея славянского единства на гуманистической основе сама по себе была и остается прогрессивной идеей!»[3]

Нерв полемики схвачен, но статья оставляет больше спорных вопросов, нежели объективных ответов.

Обратимся к тексту романа, его заключительной VIII части. Именно она стала яблоком раздора в русской критике конца семидесятых годов. Именно ее отказался печатать М. Н. Катков в «Русском вестнике», где до этого роман печатался и имел колоссальный успех у подписчиков журнала.

Так уж сложилось, что в этом конфликте прав оказался гений. Его нежелание идти на изменения текста было продиктовано не только идейно-художественными видением «архитектоники» романа, но и сознанием права художника на свободу творчества.

Вступив в конфликт с уже ставшим классиком писателем, Катков прекрасно понимал, чем это все может закончиться. Как философ, крупный социолог своего времени, переживший либерально-демократические увлечения и ставший на позицию государственного консерватизма, он одновременно был выдающимся журналистом и редактором. В «Русском вестнике» печатались лучшие произведения современной отечественной литературы. Среди них тексты Тургенева, Гончарова, Лескова, Достоевского, Льва Толстого, Мельникова-Печерского, Аксакова, Тютчева, Фета, Плещеева, исследования Ф. И. Буслаева, С. М. Соловьева. Из произведений Л. Н. Толстого на страницах журнала увидели свет «Казаки», «Война и мир», «Анна Каренина».

Тем более странным выглядит отказ в публикации VIII части «Анны Карениной» и развернутое объяснение перед подписчиками журнала. По существу, Катков, весьма в общем плане указав на идейные разногласия с Толстым, в редакционном сообщении ушел от прямого разбирательства конфликта, мотивировав свой отказ тем, что роман заканчивается смертью героини и этого вполне достаточно.

Катковский посыл, возымел свое действие в полемике, развернувшейся вокруг финальной части романа между представителями разных идейно-политических направлений[4]. «Полемические красоты» были весьма разносторонними — от полного неприятия романа до упоительных восторгов в его адрес. Одни не видели в романе современной действительности, относя его к архаике. Другие, напротив, почувствовали в нем «злобу дня». Третьи доказывали, что «Анна Каренина» — это два романа. Четвертые восхищались эстетической целостностью произведения. Многие воспринимали роман как похвалу «преданиям» «изящной словесности» и «большому свету». Блистательный великосветский роман. П. Ткачев, назвавший в первой памфлетной статье (1875) «Анну Каренину» «новейшей эпопеей барских амуров», доведенных до «узкого художественного теоретизма», что, по убеждению Э. Г. Бабаева является «синонимом пустоты и бессодержательности», в другой статье (1878) уподобил роман «салонному художеству», которое в силу натурализма Толстого из чистого искусства превратилось в «грязное». В редакционной статье «Отечественных записок» Толстой предстал как бытописатель высших кругов общества, для которого несомненна твердость жизненных позиций таких героев, как «вороной жеребец Вронский, ученый Кознышев, «бонвиван Облонский, чиновник Каренин». Они «не знают колебаний и сомнений насчет своего жизненного пути». Левин же, хотя и отличаются порою твердостью, «не имеет нравственного равновесия». Подобный взгляд, как считает. Э. Г. Бабаев, был направлен против Достоевского, для которого Облонский — «шаткий человек», а Левин — «почвенный», твердый, основательный.

Споров много. Восторженных и пасквильных отзывов о романе более чем достаточно. Положительные радовали Толстого, к отрицательным он был равнодушен. Ответ оппонентам Толстой изложил в письме к С. А. Рачинскому (27 января 1878 г.). Оно давно стало хрестоматийным, но смысл его будет крайне важен в дальнейшем, потому и цитирую его: «Суждение ваше об А. Карениной мне кажется неверно (Рачинский считал, что в романе «развиваются рядом, и развиваются великолепно, две темы, ничем не связанные». — *В. Р*). Я горжусь, напротив, архитектурой — своды сведены так, что нельзя и заметить, где замок. И об этом я более всего старался. Связь постройки сделана *не на фабуле и не на отношениях (знакомстве) лиц, а на внутренней связи*.

Поверьте, что это не нежелание принять осуждение — особенно от вас, мнение которого всегда слишком снисходительно; но боюсь, что, пробежав роман, *вы не заметили его внутреннего содержания*. Я бы не спорил с тем, который бы сказал, que me veut cette sonate[1], но если вы уже хотите говорить о недостатке связи, то я не могу не сказать — верно вы ее не там ищете, или мы иначе понимаем связь; но то, что я разумею под связью — то самое, что для меня делало это дело значительным,— эта связь там есть — посмотрите — вы найдете. Пожалуйста, не думайте, чтобы я был щекотлив — право, не от этого пишу, а от того, что, получив ваше письмо, все это подумалось мне и хотелось сказать вам. А первое движение est le bon»[2] (62, 377).

Итак, заключительная часть романа.

Имя погибшей Анны почти не упоминается. Эскизно дана судьба Вронского. Зато широко представлены духовные искания Константина Левина, и особое место в них занимает славянский вопрос, связанный с войной Сербии и Турции в 1876 г. Как ни странно, но именно это событие и становится одним из сюжетных сцеплений повествования. В памяти читателя уже закрепилась одна оппозиция из романа: это Анна, в начале произведения «дающая жизнь» и умирающая потом под колесами поезда, а рядом с ней Левин, который от несчастной любви к Кити впадает в депрессию, думает о бесцельности существования, но приходит к пониманию важности жизни «для души», «для Бога».

В VIII части романа *возникает еще одна оппозиция: Левин — Вронский, и решена она сквозь призму славянской проблемы.*

Важно отметить, что отражение самой злободневной проблемы 1876 г. в «Анне Карениной» не вызвало интереса у русских критиков. Исключение составили статьи Ф. М. Достоевского в «Дневнике писателя». Произошло это, быть может, потому, что война Сербии и Турции, добровольческое движение в России и собственно сам славянский вопрос, хотя и были представлены в тексте VIII части романа, все же не получили в ней целостного публицистического раскрытия. Более мощно славянская тема прозвучала в вариантах произведения, которые значатся у Толстого как *Эпилог*. Здесь следует напомнить, что в 1870-е гг. Толстой не вел дневника, и потому мало сохранилось свидетельств его отношения к войне Сербии с Турцией — немного в письмах, немного в мемуарной литературе. Наиболее полным источником для формирования исследовательских представлений *могут служить варианты Эпилога*. В них — понимание и неприятие сути славянского вопроса, знание того, как развивались военные события, кто руководил ими и каково было отношение народа к происходящему.

---

[1] «какое мне дело до этой сонаты» (фр).

[2] лучшее (фр.).

Вот некоторые из примеров в подтверждение этой мысли:

«*№ 190 (рук. № 101). ЭПИЛОГ.*

Славянский вопрос, начинавший занимать общество с начала зимы, все разрастаясь и разрастаясь, дошел к середине лета до крайних своих размеров. Были сербские спички, конфеты князя Милана и цвет платьев самый модный Черняевского волоса. <...> ни о чем другом не говорилось и не писалось, как о славянском вопросе. Кружки столичных людей взаимно опьяняли друг друга криками о славянах <...>. Издавались книги в пользу славян, чтения, концерты, балы давались в пользу славян. Собирали деньги добровольно и почти насильно в пользу славян. Более всех производили шума газетчики. Им, живущим новостями, казалось, что не может быть не важно то, что дает такой обильный плод новостей. Потом шумели все те, которые любят шуметь и шумят всегда при всяком предлоге. <...> Если же кому и казалось, что все это есть вздор, то те, которые так думали, должны были молчать, потому что опасно было противоречить беснующейся толпе и неловко, потому что все беснование это было прикрыто самыми высокими мотивами: резня в Болгарии, человечество, христианство.

Ошалевшим людям, беснующимся в маленьком кружке, казалось, что вся Россия, весь народ беснуется вместе с ними. Тогда как народ продолжал жить все той же спокойной жизнью, с сознанием того, что судьбы его исторические совершатся такие, какие будут угодны Богу, и что предвидеть и творить эти судьбы не дано и не велено человеку» (20, 548–549).

«№ 191 (рук. № 103). ЭПИЛОГ.

«...была дана программа чувств, которые эти события должны были возбуждать,— негодование, желание мести Туркам, сочувствие и помощь воюющим, и вне этого все остальное исключалось. Если в то время кто говорил, что бывают Турки и добрые, его называли изменником. Если кто говорил, что бывают Сербы трусы, его называли злодеем и бесчестным. Если кто бы сказал, что почти так же, как действовали Турки, действовали и другие правительства, его бы растерзали. Говорить заведомо ложь и утаивать истину, если так нужно для общего возбуждения, считалось политическим тактом.

Повторение все одного и того же, не давая никому высказывать не подходящее под общий тон мнение, торжествовалось как новое приобретение обществом — общественное мнение. <...>

Война объявлялась не правительством, а несколькими людьми, и всем казалось это очень просто.

В войне за христианство слышалось только то, что надо отомстить Туркам. Барыни в соболях и шлейфах шли к мужикам выпрашивать у них деньги и набирали меньше, чем сколько стоил их шлейф.

Спасали от бедствия и угнетения Сербов, тех самых угнетенных, которые, по словам их министров, от жира плохо дерутся. Этих-то жирных в угнетении Сербов шли спасать худые и голые русские мужики. И для этих жирных Сербов отбирали копейки под предлогом Божьего дела у голодных русских людей.

Люди христиане, женщины христианские для целей христианских объявляли войну, покупали порох, пули и посылали, подкупая их, русских людей убивать своих братьев — людей и быть ими убиваемы» (20, 554–555).

В каноническом тексте романа Толстой практически ушел от описания военных действий, сосредоточив свое внимание на спорах вокруг Славянского вопроса и степени правомерности добровольческого движения.

Толстой осознанно отказался от введения в текст романа публицистических фрагментов. «Анне Карениной» в отличие от двух других романов чужда стихия авторских отступлений, и потому славянская тема органично вплетена в повествовательную ткань произведения, раскрывается через сюжетные ситуации и диалоги героев. При анализе вариантов финальной части очевиден процесс перехода от публицистики к художеству: от точки зрения повествователя к точке зрения персонажа и персонажей. Славянская тема органично «распределяется» между героями через диалоги и полилоги. Они призваны высветить в ней социальные смыслы — как положительные, так и отрицательные.

На стороне славян — Сергей Иванович Кознышев. Пережив явную «неудачу» с выпущенной им книгой, шестилетним трудом, он вошел в среду людей, которые *«ни о чем другом не говорили и не писали, как о Славянском вопросе и Сербской войне»*. Был ли он славянофилом по сути, «почвенником», как Достоевский? Вряд ли. Но и эпигоном славянофильства он тоже не был. Он патриот православной России, видевший две стороны медали.

На одной — «Славянский вопрос сделался *одним из тех модных увлечений, которые всегда, сменяя одно другое, служат обществу предметом занятия*», и тем делом, в которым «было много людей *с корыстными, тщеславными целями»; «газеты печатали много ненужного и преувеличенного, с одною целью — обратить на себя внимание и перекричать других»; «при этом общем подъеме общества выскочили вперед и кричали громче других все неудавшиеся и обиженные; главнокомандующие без армий, министры без министерств, журналисты без журналов, начальники партий без партизанов», «много тут было легкомысленного и смешного»* (19, 352).

На другой — *«несомненный, все разраставшийся энтузиазм, соединивший в одно все классы общества», «сочувствие к страдающим и негодование к притеснителям», «геройство Сербов и Черногорцев, борющихся*

за великое дело», породившее *«во всем народе желание помочь своим братья уже не словом, а делом»*, дело, в котором *«народная душа получила выражение», «дело, долженствующее получить громадные размеры, составить эпоху» (*19, 353).

В каноническом тексте романа заметно смягчены авторские акценты при отображении славянского вопроса. Здесь нет, как в черновых вариантах, напористости и агрессивного отношения к нему. Мозаика проблемы выстраивается по кусочкам. В начале части она вписана в текучесть воссоздаваемой Толстым современной жизни, а ближе к финалу переходит на уровень спора между героями.

Надо признать, что критические аспекты славянской проблемы близки Толстому, нежели положительные, и это находит отражение *в иронических, а подчас саркастических интонациях* повествовательного текста и событийном ряде восьмой части.

Вот некоторые из примеров такого подхода: к уничтожению «единоверцев и братьев славян»:

— *«на смену вопросов иноверцев, американских друзей, самарского голода, выставки, спиритизма стал Славянский вопрос»;*

— «все то, что делает обыкновенно праздная толпа, убивая время, делалось теперь *в пользу Славян. Балы, концерты, обеды, спичи, дамские наряды, пиво, трактиры* — все свидетельствовало о сочувствии к Славянам»;

— описание хлынувшей к обеденному столу толпы, которая провожала четырех добровольцев и «чуть не сбила с ног княгиню»;

— слова княгини о Стиве Облонском: *«Вот именно вполне русская, славянская натура!»*;

— отрицательные характеристики (3 из 4), данные добровольцам. Один из них *«был богатый московский купец, промотавший большое состояние до двадцати двух лет.* Он <...> был изнежен, избалован и слаб здоровьем; он, очевидно, *был уверен, в особенности теперь, выпив, что он совершает геройский поступок, и хвастался самым неприятным образом». Однако один из четырех, «артиллерист, напротив, очень понравился Катавасову.* Это был скромный, тихий человек, очевидно преклонявшийся пред званием отставного гвардейца и пред геройским самопожертвованием купца и сам о себе ничего не говоривший. Когда Катавасов спросил его, что его побудило ехать в Сербию, он скромно отвечал: — Да что ж, все едут. Надо тоже помочь и Сербам. Жалко» (19, 357).

— *«На большой станции в городе опять пение и крики встретили добровольцев*, опять явились с кружками сборщицы и сборщики, и губернские дамы поднесли букеты добровольцам и пошли за ними в буфет; но все это было уже гораздо слабее и меньше, чем в Москве».

— *Из слов матери Вронского:* «Яшвин — его приятель — *он все проиграл и собрался в Сербию*. Он заехал к нему и уговорил его».

Некая княгиня, с ее пожертвованиями и чуть ли не с ежедневными проводами добровольцев на войну, и сами добровольцы, производящие жутковатое впечатление, и Стива Облонский с его ветреностью и распутством, *«вполне русская, славянская натура»*; и кричащая «Живио!» толпа — все это проявление психоза, охватившего общество, ситуация, близкая по сути комедии, если бы за этим не стояла смерть.

Позиция Вронского более понятна Толстому, нежели героев-добровольцев и их покровителей, и выражена она с необычайной художественной силой. Если бы Толстой не был Толстым, можно было бы сказать, что V глава восьмой части написана с шекспировским масштабом. Но это был масштаб русского гениального писателя.

Толстой всегда соблюдал меру в передаче трагического. Сдержанность авторской эмоции, особенно в сцене смерти Анны Карениной, вызывала со стороны современников и ряда критиков упрек в жестокости писателя. Потребовалось время, чтобы понять высоту трагического в художественном мире Толстого.

Диалог между Сергеем Ивановичем Кознышевым («Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами» — слова Вронского) *и Вронским* (в V главе герой ни разу не назван по имени, в финале предыдущей мать называет его «Алеша», и в этом есть что-то трогательное, собственно материнское), *несмотря на миролюбие говорящих, строится на эффекте отторжения по принципу «хотите — не хочу»*.

Первый предлагает второму «свои услуги» в форме рекомендательного письма к деятелям сербского движения — Ристичу и Милану. Вронский отказывается от этой услуги:

«— О нет! — как будто с трудом понимая, сказал Вронский...— Письмо? Нет, благодарю вас; *для того чтоб умереть, не нужно рекомендаций. Нешто к Туркам...*— сказал он, *улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито-страдающее выражение.*

— Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы, с человеком приготовленным. Впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, *поднимает их в общественном мнении.*

— Я, как человек,— сказал Вронский,— тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь,— это я знаю. Я рад тому, что *есть за что отдать мою жизнь,* которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится. — И он сделал нетерпеливое *движение скулой от неперестающей, ноющей боли зуба*, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел.

— *Вы возродитесь,* предсказываю вам,— сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. — *Избавление своих братьев от ига есть цель,*

достойная и смерти и жизни. Дай вам Бог успеха внешнего — и внутреннего мира,— прибавил он и протянул руку.

Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича.

— Да, *как орудие, я могу годиться на что-нибудь. Но, как человек, я — развалина*,— с расстановкой проговорил он» (19, 361–362).

Диалогу предшествует психологический этюд, в котором каждый играет свою роль. Вронский изображен «в косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе». Одетый в длинное пальто, с надвинутой шляпой, руками в кармане, он ходит, «как зверь в клетке, на двадцати шагах быстро поворачиваясь». Кознышеву же кажется, что Вронский не хочет с ним общаться, но ему «это было все равно».

«Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту *Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела*, и Кознышев считал своим долгом *поощрить его и одобрить*. Он подошел к нему» (19, 361).

Характерна деталь диалога — «неперестающая, ноющая боль зуба», этакий ущербный момент в облике «зверя». В финале диалога она вновь «заявляет» о себе, но теперь уже звучит как метафора физически крепкого, но психологически сломленного человека — «*щемящая* боль *крепкого зуба*».

А далее «вдруг совершенно другая, не боль, а *общая мучительная внутренняя неловкость* заставила его забыть на мгновение боль зуба». Он увидел колеса «гладко подкатывавшегося по рельсам тендера» и «ему вдруг вспомнилась *она*, «то есть то, что оставалось еще от нее», что лежало «на столе казармы»,— «бесстыдно растянутое посреди чужих окровавленное тело, еще полное недавней жизни».

После сурового описания изуродованного тела Анны Толстой обращает Вронского к воспоминаниям тех жизненных ситуаций, в которых запечатлелись счастье, муки, страдания человека, любившего и продолжающего любить единственную и неповторимую женщину:

«И он старался вспомнить ее такою, какою она была тогда, когда он в первый раз встретил ее тоже на станции, таинственною, прелестной, любящею, ищущею и дающею счастье, а не жестоко-мстительною, какою она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с нею, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. *Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо*» (19, 362).

Напомнив читателю о трагедии двух одиночеств, Толстой возвращает Вронского к злободневной славянской теме. В сравнении с только что описанным состоянием души героя, когда в один миг («вдруг») в нем с новой силой разыгралась трагедия жизни, она звучит теперь весьма заурядно, автор отсылает ее на периферию читательского восприятия.

«Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собой, он (Вронский. — *В. Р.*) *спокойно обратился* к Сергею Ивановичу: — Вы не имели телеграммы после вчерашней? Да, разбиты в третий раз, но назавтра ожидается решительное сражение. И, поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка» (19, 362).

Вронский отправился на войну вместе с созданным им эскадроном не столько потому, что желал быть кому-то полезным, сколько оттого, что после смерти Анны потерял всякий вкус к жизни. Пребывая в состоянии депрессии, он избрал путь бегства от нее.

Правда, сербы решили проблему Вронского по-своему. Их не волновало, что Толстой умолчал о том, как сложится судьба героя на войне. Для них значим был сам факт участия Вронского в борьбе за свободу славян, и потому они увековечили его имя в легенде и памятником на сербской земле. «Несчастливый Вронский» обрел бессмертие как образ романа и как человек, будто когда-то живший. Метаморфоза на уровне сотворения мифа.

Вряд ли Толстой предполагал, что такое может случиться с его героем. Он ведь хотел, напротив, снизить его значимость участием в добровольческом движении, и потому вписал образ Вронского в негативный контекст славянской темы. Кроме того, сам герой ведет себя «как зверь в клетке». У него «сердито-страдающее выражение» глаз, при разговоре «движение скулой от неперестающей, ноющей боли зуба», «щемящая боль крепкого зуба», но главное — отсутствие восторгов по поводу славянского движения и доминирование вечной проблемы любви и смерти над злободневным славянским вопросом. Заметим при этом, что он по-своему рад возможности «кому-то пригодится», послужив, как он считает, вместе с созданным им эскадроном благому делу.

Прочитав первые части романа, М. Е. Салтыков-Щедрин в крайне резкой форме выразил свое негативное отношение к ним и к Вронскому как персонажу произведения. «Ужасно думать,— писал он П. В. Анненкову 9 марта 1875 г.,— что еще существует возможность строить романы на одних половых побуждениях. Ужасно видеть перед собой фигуру безмолвного кобеля Вронского. Мне кажется это подло и безнравственно. И ко всему этому прицепляется *консервативная* партия, которая торжествует. Можно ли себе представить, что из коровьего романа Толстого делается какое-то политическое знамя?» *(Выделено Салтыковым-Щедриным; определение «коровий роман» использовалось и другими критиками того времени и было связано с сельскохозяйственными увлечениями Левина)*[5].

Как бы кто ни относился к Вронскому, он предстает в финале романа натурой возвышенной, даже с некоторым романтическим флером —

сраженной обстоятельствами, не пошедший повторно на самоубийство, он пребывает в угрюмом одиночестве и бежит от действительности. Вронский избрал благородный, с социальной точки зрения, путь жизни, пусть и ведущий к смерти, но не лишенный достоинства. Он не «печальный Демон, дух изгнанья», не печоринский тип любовника. Он молодой и красивый офицер, способный любить искренне и навсегда. Ему хотелось прожить жизнь в согласии с любимой женщиной, «таинственной, прелестной, любящей, ищущей и дающей счастье, а не жестоко-мстительной», но судьба отказала ему в этом. Он же сумел сохранить память об Анне, несмотря на принесенные ему ею страдания, и до конца жизни остаться ей верным. Он поднялся по лестнице на ступеньку выше. Анна предпочла «бездну тьмы». Оба они совершили акт свободного выбора, став героями не пошлого романа, а высокой трагедии.

Вронский — это приобретение мудрого опыта через страдание, это, пусть и небольшое, движение вперед. Не «кобель» и не «конь», как утверждали некоторые критики, а русский офицер с благородным сердцем и понятием чести. Вронский живет в романе по своим законам жизни. Не будучи в чести у автора повествования, он в финале произведения противостоит Левину, который не только не сочувствовал добровольческому движению, но резко выступал против него.

Налицо оппозиция (антитеза) романа: доброволец Вронский — «непротивленец» Левин, *не испытывающий «непосредственного чувства к угнетению Славян»*. Как всегда у Толстого, и эта оппозиция имеет неоднозначный смысл и становится фактом подлинного художества, объемного и многомерного по своей природе.

Иронию и сарказм повествования во фрагментах, связанных со славянским вопросом и добровольческим движением в России во имя Сербии (православной веры), *сменяют контратаки* на Сергея Ивановича Кознышева, предпринятые его братом Левиным и тестем Левина князем Щербацким.

Судя по отдельным штрихам в романе, они не одиноки в неприятии славянодобровольческого движения в России.

Из слов матери Вронского:

«Это Бог нам помог — эта Сербская война. Я старый человек, ничего в этом не понимаю, но ему Бог это послал. Разумеется, мне, как матери, страшно; и главное, говорят, ce n'est pas très bien vu à Pétersbourg[1]. Но что же делать! Одно это могло его поднять...» (19,360).

Кознышев Вронскому:

«Я очень рад был услышать о вашем решении. *И так уж столько нападков на добровольцев*, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении» (19, 361).

[1] на это косо смотрят в Петербурге (фр.).

Старик Щербацкий (отец Кити) Кознышеву и Левину:

«Вот и я,— сказал князь. — Я жил за границей, читал газеты и, признаюсь, еще до Болгарских ужасов никак не понимал, *почему все русские так вдруг полюбили братьев Славян, а я никакой к ним любви не чувствую?* Я очень огорчался, думал, что я урод или что так Карлсбад на меня действует. Но, приехав сюда, я успокоился, вижу, что и *кроме меня есть люди, интересующиеся только Россией, а не братьями славянами. Вот и Константин*» (19, 388).

Известно, что в правительстве России, как и в светском обществе, были те, кто не разделял патриотических и славянофильских идей и настроений, выступал против добровольцев и участия России в освободительной сербско-турецкой войне, в которой формально Россия не участвовала. *Прозападная направленность отношения к славянам была преобладающей*. В сербской среде даже ходили слухи, что *русскими владеют немцы*, и они дома не хозяева. Причина же, скорее всего, заключалась в незавершенности реформы в армии. Однако как бы там ни было, в 1860-е гг. весьма заметной стала идея славянского единения, она приобрела всенародный характер, и император Александр II не мог не почувствовать этого и *поддержал славянское братство со стороны русского престола*.

Жестокость турецких оккупантов была чудовищной. Сербия и Черногория, не имея опыта ведения больших войн, ответили на зверства завоевателей объявлением войны Турции. Результаты были катастрофическими: несмотря на героическое сопротивление 6000 русских добровольцев, 40-тысячная необученная армия сербов была не однажды разбита турками. Война была проиграна и, чтобы разрешить военный конфликт миром и в пользу Сербии, потребовалось вмешательство Александра II, пригрозившего туркам введением 200-тысяной армии на территорию Османской империи. *По сути, тысячи жизней русских ополченцев были принесены в жертву чуть ли не напрасно. Оказалось, что достаточно ультиматума со стороны России, чтобы турки отступили и Сербия получила свободу. Бессмысленность бойни на сербской земле была очевидной*.

Прошедший по дорогам Крымской войны, осмысливший войну «как противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие», Толстой не мог не задуматься над таким явлением, как *русское добровольческое ополчение во имя славян, живущих за тысячу километров. Оно казалось ему навязанным сверху и модным по распространению. Коллективный гипноз не вызывал в нем сочувствия*. Напротив, считал Толстой, он мешал человеку осознать смысл того, что он совершает.

Героем, осуждающим участия добровольцев в военном конфликте на Балканах, становится Константин Левин.

Вот комплекс его идей:

— *«частные люди не могут принимать участия в войне без разрешения правительства», ибо «война, с одной стороны, есть такое животное, жестокое и ужасное дело, что ни один человек, не говорю уже христианин, не может лично взять на свою ответственность начало войны, а может только правительство, которое призвано к этому и приводится к войне неизбежно. С другой стороны, и по науке и по здравому смыслу, в государственных делах, в особенности в деле войны, граждане отрекаются от своей личной воли» (*19, 387);

— *«непосредственного чувства к угнетению Славян нет и не может быть»* (19, 388);

— *«я сам народ, я и не чувствую этого»* (ответ на слова Кознышева*: «В народе живы предания о православных людях, страдающих под игом «нечестивых Агарян». Народ услыхал о страданиях своих братий и заговорил»*) (19, 388)*;*

— *«в восьмидесятимиллионном народе всегда найдутся не сотни*, как теперь, *а десятки тысяч людей*, потерявших общественное положение, бесшабашных людей, *которые всегда готовы — в шайку* Пугачева, в Хиву, в Сербию...» (Возражение на слова Кознышева: *«сознание своих судеб всегда есть в народе, и в такие минуты, как нынешние, оно выясняется ему»; «мы видели и видим сотни и сотни людей, которые бросают все для того, чтобы послужить правому делу, приходят со всех концов России и прямо и ясно выражают свою мысль и цель. Они приносят свои гроши или сами идут и прямо говорят зачем. Что же это значит?»* <...> *«Я тебе говорю, что не сотни и не люди бесшабашные, а лучшие представители народа!»*) (19, 389).

— *«слово «народ» так неопределенно»* (19, 389);

— *«единомыслия» в среде народа и интеллигенции* нет, оно надуманно и преподносится *продажной прессой (реакция Катавасова и Левина на слова Кознышева:* « Да, если ты хочешь арифметическим путем узнать дух народа, то, разумеется, достигнуть этого очень трудно. И подача голосов не введена у нас и не может быть введена, потому что не выражает воли народа; но для этого есть другие пути. Это чувствуется в воздухе, это чувствуется сердцем. Не говорю уже о тех подводных течениях, которые двинулись в стоячем море народа и которые ясны для всякого непредубежденного человека; взгляни на общество в тесном смысле. *Все разнообразнейшие партии мира интеллигенции, столь враждебные прежде, все слились в одно. Всякая рознь кончилась, все общественные органы говорят одно и одно, все почуяли стихийную силу, которая захватила их и несет в одном направлении»)* (19, 390).

– *удел народа*, призвавшего варяг, «отказавшегося от власти, принятия решений и суда», *«полная покорность»*, исполняемая *«с радостью»* (19, 392);

— *можно жертвовать собой, но убивать турок нельзя; «народ жертвует и всегда готов жертвовать для своей души, а не для убийства» (Ответ на слова Кознышева: «Двадцать лет тому назад мы бы молчали, а теперь слышен голос русского народа, который готов встать, как один человек, и готов жертвовать собой для угнетенных братьев; это великий шаг и задаток силы»)* (19, 391);

— *смущение перед цитируемыми Кознышевым словами Христа: «Я не мир, а меч принес» и уход от спора* («место из Евангелия, которое всегда более всего смущало Левина <...> Левин покраснел от досады, не на то, что он был разбит, а на то, что он не удержался и стал спорить. «Нет, мне нельзя спорить с ними,— подумал он,— *на них непроницаемая броня, а я голый*») (19, 391–392).

Одним словом, Левин «не мог согласиться с тем», что десятки людей, брат его, краснобаи-добровольцы, газетчики выражают *волю и мысль народа*, и такую мысль, которая выражается *в мщении и убийстве*, <...> он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо, но твердо знал, что достижение этого общего блага возможно только при строгом исполнении того закона добра, который открыт каждому человеку, *и потому не мог желать войны и проповедовать для каких бы то ни было общих целей»* (19, 392).

Слова Фоканыча о жизни для души и для Бога, намерения другого мужика Федора жить «по правде, по-Божьи» были восприняты Левиным как откровение. Но *«он вместе с народом не знал, не мог знать того, в чем состоит общее благо»*. В воздухе завис вопрос: Что значит жить для Бога и души? Собственно, в этот период, когда писалась восьмая часть романа, *стратегия и тактика дальнейших поисков смысла жизни* у Толстого только начала складываться. Отсюда, хотя и величественный, но универсально-абстрактный с точки зрения метафизики финал произведения: над головой — *«млечный путь с его разветвлением», а «святая святых душа» героя тянется к вере*. «Он не знает, что это такое,— но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе». Не понимая разумом, зачем и для чего надо молиться, он согласен это делать, потому что открыл в себе главное:

«...но жизнь моя теперь, *вся моя жизнь, независимо от всего*, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра, который я властен вложить в нее!» (19, 399).

В чем же несомненность добра и что значит «властен вложить»?

Проблема добра и зла начиная с детства в течение всей жизни и даже на смертном одре мучила Толстого. Она достойна серьезного изучения.

В период же окончания работы над «Анной Карениной» писатель не имел ярко выраженной философской концепции этой проблемы.

Здесь пока срабатывала установка «смешать все в кучу», а потом разбираться в ней. Собственно, и левинские поиски смыслов в деятельности человека и народа есть не что иное, как попытка развязать столетние узлы русской жизни, а значит и человечества в целом.

«*Добро*,— писал Толстой в 1873 г. Н. Н. Страхову, начав работу над «Анной Карениной»,— есть только *противоположность зла*, как свет — тьмы, и *как и света и тьмы абсолютных нет, так и нет добра и зла*. А добро и зло суть только *матерьялы, из которых образуется красота* — т.е. то, что мы любим без причины, без пользы, без нужды. Поэтому, вместо понятия добра — понятия относительного — я прошу поставить понятие красоты. Все религии, имеющие задачею определить сущность жизни, имеют своей основой красоту — греки — плотскую, христиане — духовную. *Подставить другую щеку, когда ударяют по одной, не умно, не добро, но бессмысленно и прекрасно* <...>

Я пишу роман, не имеющий ничего общего с Петром I. Пишу уже больше месяца и начерно кончил. Роман этот — *именно роман, первый в моей жизни*, очень взял меня за душу, я им увлечен весь и, несмотря на то, *философские вопросы нынешнюю весну сильно занимают меня*» (62; 24–25).

Уровень философских рассуждений Толстого не поражает ни своей оригинальностью, ни значительностью. Красота сама по себе царица, мерило всего сущего — эта мысль переходила из века в век. Видимо, после напряженного философствования в «Войне и мире» Толстой решил отдаться чистому художеству, полагая даже, что он пишет *первый* в своей жизни роман.

Спустя несколько лет, в ноябре 1876 г., незадолго до начала работы над заключительной частью «Анны Карениной», Толстой в письме к Н. Н. Страхову, отвечая на вопрос «что́ есть зло?», даст ответ: «...зло есть все то, что разумно. Убийство, грабеж, наказание, все разумно — основано на логических выводах. Самопожертвование, любовь — бессмысленны». В этом же письме на вопрос, «что́ есть настоящее познание», Толстой замечает, что оно «дается сердцем, т.е. любовью» (62, 291).

Если не обращать внимания на терминологическую чехарду, то можно было бы так объяснить смысл толстовских рассуждений: от ума исходят «убийство, грабеж, наказание», от чувства — самопожертвование и любовь. Рассуждение весьма схематично. Сам Толстой будет много раз возвращаться к концепции добра и зла, что-то изменяя коренным образом, а что-то оставляя как нечто незыблемое. Такой устойчивостью обладала его мысль о том, что «Любовь — дар Бога человеку», которому «хочется любить и быть любимым». Отсюда — выражение *«Бог есть любовь»*. Толстой повторял его часто, как часто утверждал и то, что *«Бог есть разумение жизни»*. Когда Любовь

и Разум пребывают в единстве, достигается момент ощущения царства гармонии, «Царства Божьего» на земле и в душе человека.

В этой ситуации Разум не есть ум или рассудок, а есть основание нравственного закона мироздания, «мудрый ум», а не просто ум, способный к логическим операциям. *Однако иерархия* таких *понятий*, как «разум», «любовь», «разумение жизни», «ум», «рассудок», «чувство», «воля», «свобода», «обстоятельства», «Бог», «добро» и «зло» *появится* в работах Толстого *лет через десять — пятнадцать* после выхода в свет «Анны Карениной», найдет свое воплощение в поэтике последнего романа писателя «Воскресение».

В период же создания «Анны Карениной» Толстой был о*хвачен художественной стихией, «лабиринтом сцеплений», «энергией заблуждения»*. Он творил, «отдаваясь течению жизни», «сопрягал несопрягаемое» и все время искал для героя Левина выхода из духовного кризиса.

Страсти по Левину развернулись в VIII части романа и достигли своего напряжения в последней финальной главе. Они контрастно обозначили в структуре произведения проблему Бытия человека между жизнью и смертью: конец VII части — смерть Анны, конец VIII — обретение Левиным смысла жизни в надзвездном пространстве. Своды сведены, в художественном отношении, как считал Толстой, «замкнуты», однако на уровне больших смыслов целесообразней говорить об открытости двух финалов. Потому и идут по сей день споры вокруг эпиграфа к роману «Мне отмщение, и аз воздам».

«Несомненный смысл добра» декларируется Левиным. В чем этот смысл, пока остается неясным как для героя, так и для самого автора. Анна реализует свое право на трагический выбор: лучше смерть, нежели плотское рабство (есть и другие концепции смерти Анны). Левин, чуть ли не с начала романа думающий о смерти, в финале предстает человеком, хотящим жить и любить жизнь по-своему. Но это только первые шаги на пути к осознанию такой жизни. Ему-то кажется, что он *понял* «несомненный смысл добра» и что «*властен* вложить» его в логику собственной жизни. Но так ли это? В поисках ответа на этот вопрос Толстой, образно говоря, совершить свое восхождение на Синай, чтобы услышать Глас Божий, почувствовать, в чем суть веры и какова воля Хозяина, пославшего его в эту жизнь.

Левину ясны общие установки, найденные им на перекрестке жизни и смерти, но он только готовится к тому, чтобы отправиться в путь. Здесь важен не только фактор обстоятельств, *но и фактор непредсказуемости поведения человека в той или иной ситуации*, проистекающей из самой сущности человека — таинственной бездны души. Здесь не все подвластно рацио. «Когда Разум ослабевает, он зовет на помощь сердце» — таково убеждение Толстого, хотя ему было дорого и понятно другое: движение от чувства к Разуму. Свои чувства Левин все время подвергает рефлек-

сии и стремится вывести их на уровень логического осмысления. В нем есть что-то рассудочное и холодное, и это сказалось на особенности восприятии образа Левина многими читателями: «скучный Левин», скучны и главы, связанные с ним. Конечно, у них не могло не вызвать удивления, а порой и неприязнь признание героя в том, что в нем *«непосредственного чувства к угнетению Славян нет и не может быть»*.

Вот уж не тютчевский поворот мысли. Левин не только иначе, чем поэт, смотрит на конкретные политические реалии, но и не понимает главного: только сочувствие и сострадание делает нас приобщенными к высшей благодати.

Нам не дано предугадать,
Как слово наше отзовется,—
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.

(1869; 2, 197)

Вряд ли правы те исследователи романа, которые усматривают в последних словах Левина проекцию афоризма Канта: «Звездное небо над нами, нравственный закон в душе». Человек, по Канту, обладает априори способностью действовать согласно внутреннему нравственному повелению. Категорический императив заявляет о себе как нечто независимое от обстоятельств, как безусловный нравственный принцип, следование которому утверждает главенство долга перед собой и обществом. Следование высшему нравственному повелению предполагает свободу человека, его независимость от религии и других моральных установок со стороны.

Внутреннее состояние души героя пока не свободно, оно еще пребывает в сетях феодальной иллюзии, согласно которой можно выстроить социальную гармонию между барином и мужиком. Одна из формулировок категорического императива предполагает адекватность максимы воли отдельного человека принципу всеобщего законодательства. Над необходимостью связи своего отдельного «Я» с законом большей части трудового человечества задумывается Левин. Ему даже кажется, что он и народ — одно целое: *«я сам народ»*.

Н. Н. Гусев был убежден, что «ни один из положительных героев предыдущих произведений Толстого не подходил так близко к народу, как Левин, который считает трудовое крестьянство «лучшим классом России» и преклоняется перед напряженным самоотверженным трудом крестьянина в рабочую пору»[6].

Такое истолкование образа Левина расходилось с тем, что писала о нем современная Толстому критика. Дело доходило порой до уни-

зительных определений (типа «коровий барин»). Но самая жесткая критика не в адрес романа (он был оценен по достоинству), а в адрес размышлений Левина о народе и Восточном вопросе прозвучала в статьях Ф. М. Достоевского («Дневник писателя». Июль — август 1877).

Левин, по твердому убеждению Достоевского, *не «сам народ»*, а «это *барич, московский барич средне-высшего круга*, историком которого и был по преимуществу граф Л. Толстой. Хоть мужик и не сказал Левину ничего нового, но все же *он его натолкнул на идею*, а с этой идеи и началась вера. Уж в этом-то одном Левин мог бы увидать, что он не совсем народ и что нельзя ему говорить про себя: я сам народ. <...> вот эти, как Левин, сколько бы не прожили с народом или подле народа, но народом вполне не сделаются, мало того — во многих пунктах так и не поймут его никогда вовсе»[7].

По мысли Ф. М. Достоевского, Левин, призванный являть собой «противоположность тех ненормальностей, от которых погибли или пострадали другие лица романа», *сам «еще не совершенен»*, ему *«все еще чего-то недостает»*. Акцентировка на сомнениях и метаниях Левина вызвана, думается, желанием Достоевского «помочь Толстому» сохранить лицо гуманиста в глазах читающей публики: незавершенность духовного развития героя снижала планку серьезности и обоснованности его суждений о Славянском вопросе и добровольцах.

Позиция самого Достоевского хорошо была известна русской общественности. На протяжении многих лет он отстаивал почвенническую идею, понятую как обращение к тому лучшему, что есть в русском человеке и в судьбе России, что имеет цивилизационное значение не только для отдельной страны, но и для человечества в целом. В 1870-х гг., как он полагал, начался процесс такого объединения славянских народов под эгидой России, который должен был перерасти «в соединение всего человечества».

«...Славянофильство, кроме этого объединения славян под началом России, означает и заключает в себе духовный союз всех верующих в то, что великая наша Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно *в духе великого народа русского*, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но *всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации*. Вот к этому-то отделу убежденных и верующих принадлежу и я» (25, 195–196).

Через год после сербских событий 1876 г. появилась «скандальная» VIII часть «Анны Карениной» с резкой критикой Славянского вопроса. Достоевский четко очертил претензии со стороны Левина к сторонникам ополчения и самому ополчению. Сущность взглядов героя, близкого, но не равного автору, была сформулирована критиком в пяти тезисах: 1) *народ не понимает* и потому не разделяет «национального движения» в защиту славян; 2) *это движение «нарочно подделано»* известными лицами и поддержано продажными журналистами; 3) *«все добровольцы были или потерянные и пьяные люди или просто глупцы»*; 4) *«подъем русского национального духа* за славян» был *«подделан вопреки» воле властей*; 5)»все варварства и неслыханные истязания, совершенные над славянами, не могут возбуждать в нас, русских, непосредственного чувства жалости», *«такого непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть» (*25, 194).

Критике со стороны Достоевского подвергается главное открытие героя — вера Левина в Бога.

Левин полагал, что вера эта у всех одна и одинакова во все времена. Каждый верующий частица того общего, что роднит всех на этой земле, и в этом общем цель отдельного человека совпадает с целями всех других людей и с целью церкви как объединяющей их организации. Левинские раздумья по этому поводу тоже напоминают некоторые кантианские установки, в частности вторую формулировку категорического императива: действовать надо так, чтобы ты не относился к человечеству, как в твоем лице, так и в лице всякого другого, только как к средству, но всегда в то же время и как к цели.

«Да, то, что я знаю,— утверждает Левин,— я знаю *не разумом, а это дано мне*, открыто мне, и я *знаю это сердцем*, верою в то главное, что исповедует церковь» <...>

И ему теперь казалось, что не было ни одного из верований церкви, которое бы нарушило главное,— *веру в Бога, в добро, как единственное назначение человека*.

<...> главное, постоянно проявляющееся на земле чудо, состоящее в том, чтобы возможно было каждому вместе с миллионами разнообразнейших людей, мудрецов и юродивых, детей и стариков — со всеми, с мужиком, с Львовым, с Кити, с нищими и царями, *понимать несомненно одно и то же и слагать ту жизнь души, для которой одной стоит жить и которую одну мы ценим»* (19, 381).

Ф. М. Достоевскому такая постановка вопроса о вере показалась сомнительной.

«...Левин,— вопрошал он,— уверовал,— во что? Он еще этого строго не определил, но он уже верует. *Но вера ли это?* Он сам себе радостно задает этот вопрос: «Неужели это вера?» *Надобно полагать, что еще нет.* Мало того: вряд ли у таких, как Левин, и может быть оконча-

тельная вера <...> *А веру свою он разрушит опять, разрушит сам, долго не продержится: выйдет какой-нибудь новый сучок, и разом все рухнет*»[8].

Сомнения Достоевского, как известно, оказались пророческими. Толстой пошел по пути религиозного реформаторства, отрицая Церкви, обряды, иконы. В конце 1880-х гг. стал активным читателем сочинений Канта и не мог не ощутить духовно-философского родства между собой и немецким философом.

В финале «Анны Карениной» — предчувствие этого духовного переворота, канун взрыва изнутри. Гармония Левина с миром и с собою давала ощущение радости бытия и возможности постоянного обновления. После трагедии Анны надо было обратить взоры читателя к Горним Высям и идти к ним через рост души, «разумение жизни» («властен вложить»), через обретение свободы, независимости от обстоятельств. Все это утверждалось писателем, который в этот момент был наиболее близок к православию, почти воцерковлен, и, как говорят факты, еще не стоял в оппозиции государству, был государственником. Так что в конфликте с М. Н. Катковым в дальнейшем предстоит разбираться особо. Ведь не случайно в одной из статей о Левине Достоевский пишет:

Взгляд Левина, «впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы пригодился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлого зимой у нас в Петербурге *и людям далеко не последним по общественному положению*, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала» (25, 194).

Кого имеет в виду Достоевский? Откуда такая одобрительность неучастия верхов в словах Левина и князя Щербацкого? Почему так небрежительно Толстой в неопубликованном *Эпилоге* говорит о «жирных сербах» (напомню: «этих-то жирных в угнетении Сербов шли спасать худые и голые русские мужики. И для этих жирных Сербов отбирали копейки под предлогом Божьего дела у голодных русских людей»)?

В июле 1876 г., когда еще не была начата работа над финальной частью романа, Толстой проявил особый интерес к событиям сербско-турецкой войны, начавшейся с восстания в Герцеговине. *Ему трудно верилось в серьезность события*, и он даже выразил сомнение в его «существовании» (см. письмо А. Фету от 21 июля 1878 **г.; 62, 280).**

События на Балканах развивались быстро и не в пользу Сербии, которая терпела одно поражение за другим, и к концу лета трагическая ситуация стала особенно ощутимой. По возращении в двадцатых числах сентября из Самары и Оренбурга Толстой писал Фету:

«Поездка моя была очень интересна — *отдохнул от всей этой сербской бессмыслицы;* но теперь опять только и слышу и не могу даже сказать, что ничего не понимаю — понимаю, что *все это слабо и глупо*» (62, 287).

Отдых «от всей этой сербской бессмыслицы» свидетельствует о том, что Толстой *изначально* принял близко к сердцу все происходящее

в Сербии, но изначально он понимал и другое: *невозможность победы* необученных военному делу сербов над турками, которые с детства обучались «науке убивать». Отсюда оценка происходящего — *«все это слабо и глупо»*. Кроме того, информации о событиях в Сербии было немного, да и та была разноречивой.

Претила Толстому и деятельность Славянских комитетов России по набору добровольцев для сербско-турецкой войны. Претила, может быть, потому, что Толстого всегда раздражала «шумиха» в общественной жизни и что ему были хорошо знакомы последствия экзальтации масс народа (смерть Верещагина в «Войне и мире»). Один из комитетов, возглавляемый Иваном Аксаковым, активно поддерживал всеславянское движение, критически относился к официальной внешней политике России, а в период восточного кризиса 1870-х гг. стремился действовать независимо от правительства, то есть вопреки государственным установкам. Возможно, что на отрицательное восприятие Толстым деятельности славянского комитета сказалось ревностное чувство к его Главе — Ивану Аксакову, мужу Анны Федоровны Тютчевой, дочери поэта, с которой у Толстого в молодости были довольно сложные отношения.

«*Ездил я в Москву узнавать про войну*,— писал Толстой А. Фету. — *Все это волнует меня очень*. Хорошо тем, которым все это ясно; но *мне страшно становится*, когда я начинаю вдумываться во всю сложность тех условий, при которых *совершается история*, как дама, *какая-нибудь Аксакова*, с своим мизерным тщеславием и *фальшивым сочувствием к чему-то неопределенному, оказывается нужным винтиком во всей машине*» (62, 288).

История — игрушка в руках судьбы, случайность, а отношение к русским добровольцам построено на «фальшивом сочувствии к чему-то неопределенному».

Однако все вышесказанное — это только предположение. Мотивы остаются до конца не проясненными.

В романе более осязаемой, чем в предшествующих художественных произведениях Толстого, стала идея «непротивления злу», пока употребляемая без знаменитого дополнения «насилием».

Не воевать надо людям друг с другом, а совместно обустраивать мирную жизнь — такова воля народа, в России — воля крестьян и рабочего люда. Война несет с собой зло, хаос, разъединение людей. Таков пафос оценки войны, восприятие же Толстым хода военных событий часто не совпадало с этой оценкой.

Непротивление злу (далеко не синоним понятию пассивность)»заявило» о себе уже в «Войне и мире» — в мыслях и поведении Платона Каратаева. Звучит оно и в «Анне Карениной».

Кознышев предлагает Левину решить конкретную ситуацию, в которой жестокость зашкаливает. Он говорит:

«Тут нет объявления войны, а просто выражение человеческого, христианского чувства. Убивают братьев, единокровных и единоверцев. Ну, положим, даже не братьев, не единоверцев, а просто детей, женщин, стариков; чувство возмущается, и русские люди бегут, чтобы помочь прекратить эти ужасы. Представь себе, что ты бы шел по улице и увидал бы, что пьяные бьют женщину или ребенка; я думаю, ты не стал бы спрашивать, объявлена или не объявлена война этому человеку, *а ты бы бросился на него и защитил бы обижаемого?*» (19, 387–388).

Следует рассудочный ответ: «*Но не убил бы,* — сказал Левин».

За ним — менее рассудочное утверждение Кознышева: «*Нет, ты бы убил*».

И далее искреннее признание героя в невозможности логическим путем решить эту ситуацию: «*Я не знаю.* Если бы я увидал это, *я бы отдался своему чувству непосредственному*; но *вперед сказать я не могу*» (19, 388).

Такого рода герой, утверждающий право на свою точку зрения, но в экстремальных ситуациях принимающий иное решение или не принимающий вообще никакого решения, есть и в «Войне и мире». Это Николай Ростов. Он тоже, как и Левин, близок писателю по духу. Он активен и решителен в мечтаниях, *но непредсказуем на поприще их реализации*. Ему присуща нерешительность в действиях. Ростов чужд рефлексии, Левин одержим ею, и потому для него ситуация выбора становится еще более непредсказуемой, отсюда и прямой ответ: «Я не знаю».

В художественном мире Толстого *сюжетно оформленные ситуации непредсказуемости встречаются часто* — от слабостей Отца Сергия до «Простите!» Катюши Масловой, любившей Нехлюдова, но остановившей свой выбор на Симонсоне. Художник оказывался выше идеологических установок. Искусство поистине есть «опыт в лаборатории» (Л. Н. Толстой).

Достоевский в штыки принял антиславянские настроения Левина. Он не сомневался в том, что *России суждена особая благородная миссия* в общеславянском движении и что, если потребуются жертвы для ее исполнения, их надо принести, *а если потребуется насилие, то и оно имеет право на жизнь.*

Однако надо помнить, что раздумья Достоевского протекали в форме публицистических откровений («Дневник писателя»), и не факт, что при художественном воплощении проблемы писатель мыслил бы теми же категориями.

Толстого всегда традиционно относят к лагерю людей, противостоящих государственной политике царского правительства. Однако, как показывает текст романа и публицистические рассуждения в ненапечатанном *Эпилоге*, Толстой в годы написания «Анны Карениной,

при всей критике современной ему действительности, был государственником в вопросах внешней политики России.

Важно и другое: испытывая неприязненное отношение к общественной жизни России с ее извечной борьбой между славянофилами и западниками, консерваторами и либералами, он оставался над схваткой враждующих лагерей, чувствовал себя абсолютно свободным в принятии решений и *никогда не ставил себя в зависимость от общественного мнения*. Оставаться всегда самим собой, быть верным провозглашенному еще в молодости принципу: *«Герцен сам по себе, а я сам по себе»* — такова жизненная установка писателя. Он был свободно мыслящей личностью. И никакие катковы, страховы, аксаковы, михайловские, соловьевы, чичерины не могли лишить его собственного мнения.

«Сами по себе» предстают в произведениях Толстого и его герои. Анна, как и Татьяна Пушкина, Бог знает что вытворяет в романе. По своей художественной орбите движется Левин. У героя свое небо и своя судьба. Он говорит то, что думает. Крепка ли его мысль и насколько она нам близка — это уже проблемы читательского восприятия образа и социальных привязанностей.

Толстой создал в романе континуум, в котором уместилась разноликая Россия. Даже в заключительной части «Анны Карениной» выписаны десятки судеб, представлено несколько точек зрения на славянский вопрос. И кому-то ближе окажется Вронский, кому-то Левин, а кого-то, несмотря на авторскую иронию, тронут взгляды Кознышева на судьбу славянских народов, в том числе и русского.

И все же в «Анне Карениной» есть одна зацепка, которая выводит нас из романной коллизии и бросает к безднам реальной жизни. *Это проблема сочувствие и сострадания к тем, кто стал жертвой зверских расправ оккупантов.*

Позиция Достоевского в этом вопросе бескомпромиссна. В ситуации «Убить или не убить насильника» Левин отвечает: «Не знаю», а Достоевский, рисуя сцену, как «стоит Левин уже на месте, там, с ружьем и со штыком, а в двух шагах от него турок сладострастно приготовляется выколоть иголкой глазки ребенку, который уже у него в руках» (25, 220), понимает, что в этой ситуации надо «убить турку».

Однако в левинском «Не знаю» скрыта формула всей дальнейшей судьбы Толстого, которую он, разгадав, положил в основу своей философии. «Не противься злу насилием» — это прежде всего изначальное, непосредственное *неприятие даже самой возможности* на зло отвечать злом, это активное нежелание решать проблемы с помощью насилия, тем более убийства. Это изначальная чистота нравственного чувства, не позволяющая смотреть на мир греховными глазами. *Главное, чтобы в человеке была потребность так чувствовать и так видеть реальную жизнь.*

Как и что будет складываться на самом деле — знание этого не всегда во власти человека (!!!). Сам Толстой неоднократно писал об этом, да и сама жизнь, как и творчество, располагают именно к такой постановке проблемы.

В споре между Толстым и Достоевским о непротивлении злу есть своя правда и у последнего.

Достоевский, используя принцип контаминации, ставит Левина в возможный контекст событий и в этой связи приходит к многозначному выводу:

«...принужденный убивать турку,— пишет он в конце своей статьи,— солдат сам несет жизнь свою в жертву да еще терпит мучения и истязания. Для мщения ли, для убийства ли одного только поднялся русский народ? И когда бывало это, чтоб помощь убиваемым, истребляемым целыми областями, насилуемым женщинам и детям и за которых уже в целом свете совершенно некому заступиться — считалась бы делом грубым, смешным, почти безнравственным, жаждой мщения и кровопийства! И что за бесчувственность рядом с сантиментальностью! *Ведь у Левина у самого есть ребенок*, мальчик, ведь он же любит его, ведь когда моют в ванне этого ребенка, так ведь это в доме вроде события; как же не искровенить ему сердце свое, слушая и читая об избиениях массами, *об детях с проломленными головами, ползающих около изнасилованных своих матерей, убитых, с вырезанными грудями. Так было в одной болгарской церкви*, где нашли двести таких трупов, после разграбления города. Левин читает все это и стоит в задумчивости:

— Кити весела и с аппетитом сегодня кушала, мальчика вымыли в ванне, и он стал меня узнавать: какое мне дело, что там в другом полушарии происходит; *непосредственного чувства к угнетению славян нет и не может быть,*— потому что я *ничего* не чувствую.

Этим ли закончил Левин свою эпопею? Его ли хочет выставить нам автор как пример правдивого и честного человека? Такие люди, как автор «Анны Карениной»,— суть учители общества, наши учители, а мы лишь ученики их. *Чему ж они нас учат?*» (25, 223)

Эту суровость Достоевского снижает его собственная мысль о том, что между автором и героем не стоит знак равенства:

«...в лице Левина автор во многом выражает свои собственные убеждения и взгляды, влагая их в уста Левина чуть не насильно и даже явно жертвуя иногда при том художественностью, *но лицо самого Левина*, так, как изобразил его автор, *я все же с лицом самого автора отнюдь не смешиваю*» (25, 194).

Стремясь смягчить свой удар по Толстому, Достоевский указывает на одну из причин негативного отношения Толстого к Славянскому вопросу — недостаток материалов, живых свидетельств с войны о зверствах турок на Балканах. К лету 1877 г. солдаты и офицеры вернулись

с фронта. В газетах и журналах стало появляться много материалов о чудовищных пытках турками представителей славянских народов — не только пленных, но и женщин, в том числе беременных, детей, стариков. Все это не могло не повлиять на Толстого. Тем более, что в этот период жизни, будучи государственником, он был вполне православным человеком. Об этом можно прочитать в мемуарах и письмах родных и близких писателя.

Война России с Турцией 1877–1878 гг. вызывала в Толстом разноречивые настроения: сочувствие к русским солдатам и болгарам, страдание от неудач русской армии и радость от ее больших побед, скорбь по сотне тысяч погибших людей, взрыв негодования по поводу бездарности одних военачальников и добрые слова в адрес талантливых полководцев. Однако в целом война оставила в душе Толстого «большой надрез». Все очевидней становился его выбор: *через патриотизм к пацифизму*.

По-новому зазвучала славянская тема в жизни и творчестве Толстого, начиная с середины 1880-х гг.

Славяне открыли для себя Толстого, а Толстой всей душой потянулся к славянскому миру. Он советовал соотечественникам ехать «в славянские земли» — «новые места, сохранившийся народ, интересный». Славяне просили Толстого «бесплатно переслать» им его сочинения, а Толстой проявлял интерес к их общественно-политической, религиозной и культурной жизни.

В отделе рукописей Государственного музея Л. Н. Толстого хранится большая по объему переписка Толстого с представителями славянских стран. Здесь письма не только общественных и культурных деятелей, но и письма простых славян. Некоторые из них становились достоянием человечества.

Среди славянских знакомых писателя, посетивших Ясную Поляну, были словак *А. А. Шкарван*, болгарин *Христо Досев*, друг и врач Толстого, словак по рождению *Д. П. Маковицкий*, в посмертных записках которого много материалов, связанных с славянским вопросом. «Милый Душан» все время подкидывал Толстому что-либо из жизни славян. Именно он отправился с Толстым в последний путь.

На рубеже XIX–XX вв. вновь обострился Славянский вопрос. Он тесно был связан с новым витком военных действий в Европе. Потоки писем от славян шли к Толстому. В них они взывали о помощи, выражали надежду на поддержку со стороны всемирно известного гуманиста.

Но в отличие от 1870-х гг. теперь он твердо стоял на позиции пацифизма, и это определяло характер его посланий к братьям-славянам.

Собственно, о пацифизме Толстой заговорил в полную силу лишь после того, как, читая ночью при свечах в яснополянской комнате под

сводами в сотый раз таинственную книгу жизни — Евангелие, открыл для себя бессмертный смысл великих слов Иисуса Христа:

«*38 Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.*

*39 А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (*Мф 5).

«Непротивление злу насилием» коренным образом изменило всю его жизнь. Пацифизм возобладал над патриотизмом. Но и в поздние годы в Толстом вспыхивало «живое чувство патриотизма», отсюда трагические переживания по поводу поражений русской армии в русско-японской войне.

Толстой выразил духовную потребность русского человека жить в единении и мире. Он, безусловно, был патриотом отечества. Он уходил от смакования положительных особенностей русского народа, хотя и об этом писал немало. Он был великим художником, воплотившим в своих произведениях национальное своеобразие. Ему не было необходимости доказывать, что он не только гражданин мира, но и русский человек до мозга костей.

М. Е. Салтыков-Щедрин, сатирик, которому нет равных в мире, очень зло писал о жизни русских в России и за рубежом, но именно ему принадлежат слова: «Я люблю Россию до боли сердечной».

Толстой был далек от идеализации России или каких-либо других стран. Везде жестокость правительства и унижение, нищета народа. Но Россию всегда любил «до боли сердечной».

Однако апофеоз войны слышался на каждом перекрестке мировых дорог. Всеобщая война была уже на пороге. Все духовные силы Толстого были направлены на борьбу против надвигающейся опасности, против роста армий и гонки вооружений. Но люди как будто не слышали его, их уши залило воском. Толстой же ни на минуту не прекращал увещевать современников относительно недопустимости насилия и войны, тех или иных объединений, которые ведут не к всеобщему братству, а к обособленности отдельных народов и государств.

В предсмертном послании Славянском съезду (1910) в Софии он писал:

«Да, в единении и смысл, и цель, и благо человеческой жизни, но цель и благо это достигаются только тогда, когда это единение *всего* человечества во имя основы, общей *всему* человечеству, но не единение малых или больших частей человечества во имя ограниченных, частных целей» (38, 176).

Естественно, что никакие слова с приставкой пан- Толстой не признавал (панатлантизм, пангерманизм, панславизм, панамериканизм и т.д.), как не видел смысла в деятельности масонских лож и сионистских организаций. Но субъективно ему казалось, что *ближе всего к христианскому преображению мира стоят славяне, именно с их*

единения начнется единение человечества. (Подобную идею высказывал и Достоевский, выше об этом шла речь.) Этим признанием Толстой закончил свое послание Славянскому съезду в Софии:

«Скажу более, откинув соображения о том, что по этим словам моим *меня могут уличить в непоследовательности и противоречии самому себе*, скажу, что особенно побудила меня высказать то, что я высказал, *моя вера в то, что та основа всеобщего религиозного единения, которая одна может, все более и более соединяя людей*, вести их к свойственному им благу, что эта основа *будет принята прежде всех других народов христианского мира народами именно славянского племени*.

Отрадное, 20 июня 10 г.» (38, 177).

Многие десятилетия отделяют нас от описываемых в статье событий, но и сегодня проблемы, поставленные тогда, не утратили своего значения — начиная с конкретики (вмешательство западных стран в дела славянских народов, борьба за единство славян и бегство от него, неоднозначная позиция России в этой борьбе, ополчение и добровольческое движение, поведение журналистов и политиков, истязание мирного населения, чудовищные пытки военнопленных, обман народов) и кончая общими проблемам войны и мира, жизни и смерти, веры и безверия.

Прошедшие полтора столетия не только не привели к всемирному единению и благу «всего человечества», но, напротив, породили более жестокие и изощренные формы уничтожения человека, народа, государства. Противостоять этому с каждым годом становится все труднее и сопряжено с гибелью сотен тысяч людей.

Как известно, две мировые войны начались с конфликта в славянских странах (Сербия, Польша). В своих обращениях к славянам Толстой не раз предупреждал их о возможности перерастания регионального конфликта в Большую войну. Но современникам писателя казалось, что мудрец ошибается.

Сегодня, как никогда, славяне разрознены и унижены, зависимы от правящих в мире держав, заражены русофобией, культом насилия и равнодушны к человеческим жертвам. Сегодняшняя позиция России в Славянском вопросе умышленно искажена теми, кому она неугодна как сильное государство.

О возможности такого поворота истории писал Достоевский.

«Особенно приятно,— писал он в «Дневнике писателя» (сентябрь — декабрь 1877),— будет для освобожденных славян высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные, способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия — страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой славянской крови, гонитель и ненавистник европейской цивилизации».

Но ни Достоевский, ни Толстой, который и пленных турок жалел, и искренне полякам сочувствовал, не могли предвидеть исходящих от славян таких ужасов и трагедий, как сожжение заживо людей, расстрелы десятками тысяч невинных граждан, бомбардировки мирных городов и убийство ни в чем не повинных детей, смрадная ирония фашиствующих СМИ над теми, кто погиб, противостоя хунте временщиков, ложь и лицемерие политической элиты «цивилизованных» стран.

Христианское мировоззрение не только не окрепло, но, напротив, перестало быть сдерживающим началом. Не духовное, а животное, звериное, в человеке выходит на первый план и становится предметом культа жизненных и медийных пространств. Апофеоз лжи, лицемерия, ханжества в политике и частной жизни заглушил ростки совести и стыда.

Россия не изолирована от мира, и ей тоже присущи все «прелести» современной жизни. Но в ней бóльшая степень сопротивляемости мировому террору как физическому, так и духовному. Потому и числится в среде так называемых либералов страной-изгоем. Но России трудно сломать хребет. Ее духовный потенциал настолько велик, что он позволяет ей преодолеть трудности современной жизни, а стало быть, поможет и славянам, и не только славянам, рано или поздно выйти из трагического тупика. На этом пути Лев Толстой и вместе с ним лучшие представители духовной культуры России — истинные союзники всех тех, для кого единение человечества на началах братства «не пустой для сердца звук».

---

[1] Тютчев Ф. И. Полн. собр. соч. Письма. В 6 т. Т. 2. М., 2003. С. 176. Здесь и далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы в тексте работы.

[2] Шифман А. И. Толстой — это целый мир. Очерки и рассказы. Тула, 1976. С. 49.

[3] Там же. С. 47–48.

[4] Развернутый анализ полемики вокруг вышедшего в свет романа «Анна Каренина» см. в кн.: Бабаев Э. Г. Лев Толстой и русская журналистика его эпохи. Москва: МГУ, 1978. С. 125–211.

[5] Салтыков-Щедрин М. Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1976. Т. 18. Кн. 2. С. 180.

[6] Гусев Н. Н. Лев Николаевич Толстой: Материалы к биографии с 1870 по 1881 год. М., 1963. С. 368.

[7] Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Л., 1983. Т. 25. С. 205. Здесь и далее ссылки на это издание даются с указанием тома и страницы в тексте работы.

И. Ф. САЛМАНОВА
г. Белгород

От «Исповеди» Л. Н. Толстого к исповедальной драме

После «Исповеди» Л. Н. Толстой вступает в новую, «открыто исповедальную» (Г. Я. Галаган), фазу своего жизнетворчества. После создания «Исповеди», монолит которой не только вбирает весь предшествующий опыт искания спасительной истины, но и воплощает специфику толстовского творческого мышления — монологического и диалогического одновременно, творчество писателя распадается на кажущиеся несовместимыми два полюса: религиозно-проповеднический и художественно-психологический. Отсюда проистекает стереотип восприятия Толстого как слабого мыслителя и гениального художника. Между тем, целостность «Исповеди» зиждется не только на аналитически выверенных аргументах и выводах исповедального монолога, но и на динамике ее диалогов. «Исповедь» представляется не только как этико-религиозный трактат, но и как незавершенное единство, организованное серией разнообразных диалогов. Диалоги исповедального текста вариативны, заряжены драматизмом, наполнены символическими образами. Это каждый раз не только не прекращающийся диалог с самим собой, но и с предполагаемыми собеседниками-оппонентами: учеными, литераторами, мудрецами, обывателями, нечистой силой, Богом. В дальнейшем воображаемые собеседники превращаются в реальных, неизменно подразделяясь на последователей толстовского вероучения и его противников.

Структурно-смысловая оппозиция «монолог — диалог» проявляется после «Исповеди» и в дневниках, и в религиозно-философских трактатах, и в художественных произведениях, вбирая в себя весь комплекс толстовских антиномий: жизни и смерти, животной личности и разумного сознания, конечного и бесконечного, идеального и реального. «Кричащие разногласия» между верованием и жизнью не только не сняты, они усугубляются мучительным чувством раздво-

енности, которое становится внутренним камертоном, звучащим даже тогда, когда Толстому этого не хочется. Характерна в этом плане дневниковая запись Толстого от 28 октября 1889 г., свидетельствующая о том, что в сугубо толстовский ход мыслей врывается поток жизни, не подчиняющийся высоким устремлениям писателя. С одной стороны, структура дневниковой записи отражает логику толстовской мысли, стремящейся скрепить все единой идеей моралистически «ясного христианского идеала», в лоне которого он нашел точку опоры, указывающей конкретные пути деятельности. С другой — перед нами дневниковая миниатюра, запечатлевшая внутреннюю растерянность и взволнованность художника перед лицом ворвавшейся в его рассуждения стихии обыденной жизни. «Подхожу к дому после прогулки и думаю о предшествующем, о том, что сознание истины охватывает людей, что даже в наше время (с нашей точки зрения) совершается как бы подъем на ступень и...— монологичность авторских дум прерывается возникающим вне зависимости от его желания голосом самой жизни,— слышу в тумане осеннего дня крики, голоса мужиков, кроющих нашу конюшню, топоры плотников, строящих нам сарай, мальчишки по грязи скачут с лошадьми, люди идут обедать. Жена делает корректуры. Дитрихс что-то пишет ненужное, дети мои учатся латыни. Что это? Зачем это?» (50, 167). Заданные вопросы возвращают Толстого в русло монологической речи: «Они все делают не то, что хотят, и не то, что нужно, а делают то, что вытекает из того случайного сцепления, в котором они застали себя. Сцепление же случайно и надо не затягивать его, а, напротив, растянуть и стремиться каждому только к вечному делу общего роста и только во имя его соединиться» (50, 167). Скрытая пока диалогичность двух голосов (голоса автора и голоса самой жизни) свидетельствует о глубоком внутреннем разладе, раздвоенности авторского восприятия мира. Эта дневниковая запись отражает специфическую манеру толстовского мышления, движущегося по отношению к постоянному мотиву раздвоенности в диаметрально противоположных направлениях: отталкивания и морально-этического преодоления «основного противоречия жизни», и невольного притяжения, неотвратимого погружения в него. Теперь состояние раздвоенности становится той болевой точкой, той содержательной структурной доминантой, которая служит стимулом для дальнейших творческих исканий.

Духовная раздвоенность подвигает тайно «писать художественное». Внутренняя нестабильность выражается в выборе жанровых форм. Роман, драма, повесть? В 1889 г. Толстой записывает в дневнике: «Думал: 1) К роману или драме: «Духовное рождение». Ему открылась ложь его жизни, и истина истинной, и он избирает первый попавшийся путь: отдавать нищим, ходить за больными, учредить общину, проповедо-

вать и ошибается. И вот все в восторге нападают на него и на истину» (50, 166). Замысел безусловно носит исповедально-автобиографический характер. И в этом же году: «Потом думал о повести о человеке, всю жизнь искавшего доброй жизни и в науке, и в семье, и в монастыре, и в труде, и в юродстве и умирающего с сознанием погубленной, пустой, неудавшейся жизни. Он-то святой...» (50, 99). В 1889 г. начата работа над повестью «Отец Сергий», драмой «И свет во тьме светит», «Коневской повестью». Наиболее точно толстовское психологическое состояние зафиксировано в повести Фридрихса («Дьявол»), которую неожиданно писатель заканчивает в1890 г.: «Перед самоубийством — раздвоение: хочу я или не хочу?. Не хочу, вижу весь ужас, и вдруг она в красной паневе, и все забыто. Кто хочет, кто не хочет? Где я? Страдание в раздвоении, и от этого отчаяние и самоубийство» (51, 39). Драматизм мироощущения Толстого обусловлен невозможностью обретения нравственного самостояния через духовный аскетизм, вне сферы общения с людьми: «Утром думал о том, что жизни нет, потому что ушел в себя. Надо постоянно находить пищу жизни» (50, 39). Духовная драма усугубляется и внешним конфликтом: с семьей, расколовшейся в связи с духовной и жизненной перестройкой Толстого, с «толстовцами», однобоко-утилитарно воспринявшими его учение, со всем миром, наконец, инерция повседневности которого воспринимается жестко критически и гиперболически, как бессмысленное театральное действо. «Надо бы написать книгу ЖРАНЬЕ. Валтасаров пир, архиереи, цари, трактиры. Свиданья, прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем. А то, что за кулисами делается? Как готовятся к этому?» (51, 53). Внутренне подвижная антитеза — жизнь личности, равная смерти, и смерть как воскресение и жизнь — остается устойчивой не только в отвлеченных рефлексиях Толстого, но и в его жизненной и художественной практике. Мир сошел с ума. Колесо истории заплыло жиром и не движется. «Тяжело, скучно, праздность, жир, тщета разговоров. Точно жиром заплыли, засорены зубья колес и не цепляются» (51, 57). Все страдают от своего «я». Очиститься же духовно, не страдать от потребностей своего «я», обрести Бога в душе — это значит посмотреть «поверх» людей, освободиться от скверны людских соблазнов, тщеславия, эгоизма, похоти, уничтожить зависимость от сложившихся норм, традиций, систем. Уничтожить свою «поганую плоть» (53, 127), не побоявшись в глазах людских прослыть дураком, умалишенным. «Личность есть ограничение» (53, 118), и только умертвив в себе личностное начало, сделавшись «трупом» перед лицом общества, возможно обрести истинную свободу, ожить душой, встав перед ликом вселенского Бога. Однако Толстому, мучительно преодолевающему собственную раздвоенность, так и не удается правильно выстроить собственную судьбу,

окончательно перевоплотиться в житийного героя, юродивого, отшельника.

Диалогичность мышления, развивающаяся в 1880-е гг. неким вторым, незапрограммированным планом и так активно преодолеваемая правильностью морально-этических рассуждений, на рубеже 1880–1890-х гг. вновь выступает на первый план. 8 мая 1890 г. Толстой записал в дневнике: «Что-то я от всех удалился...» (51, 46). И летом того же года: «Я обхожу людей, мне люди мешают. Да ведь ты живешь только людьми и только для них. Если тебе мешают люди, то тебе жить незачем. Уходить от людей это самоубийство» (51, 47). Поистине, исповедальное саморазоблачение. Вера, освобожденная от мнения людского и человеческих соблазнов, вдруг оборачивается не меньшим, если не большим соблазном и искушением. «Самое главное, что думал, это в том, что самому самого победить нельзя. Самый святой — сам чорт» (51, 48). Динамика выверенного евангельскими прозрениями сюжетного хода (умереть, чтобы воскреснуть; уйти, чтобы вернуться; упасть, чтобы подняться), положенного в основу многих художественных произведений этого периода, осложняется комплексом психологических мотивировок, противоречивостью и незапрограммированностью человеческих контрастных реакций и поступков. В целом рубеж 1880–1890-х гг. — это шаг вперед на пути преодоления «пропасти» между отвлеченным постижением смысла бытия и противоречивым процессом жизни. Первым движением в наполнении открывшихся морально-этических истин объективной значимостью явился резкий поворот Толстого к жизни, к людям, осознание бесплодности борений с самим собой. «Наибольшее сближение с Богом это наибольшее сосредоточие в настоящем. И наоборот» (51, 46). Думается, что драматическая раздвоенность и порожденная ею конфликтность носят многомерный, всеобъемлющий характер. Переживаемое Толстым состояние явилось своеобразной подвижной основой, позволяющей удерживать на одной орбите внешне несовместимые начала — духовное и плотское, идеальное и реальное, житийное и житейское... Драматизм мироощущения безусловно стимулировал поиск новой целостности, так как Толстой, благодаря этому состоянию, «открыт» миру, его разноликости и процессуальности. Своеобразие творческого преломления толстовского состояния «двоения» заключается, с нашей точки зрения, в том, что конфликтность носит диалогический характер. Конфликтные стороны, развившись до момента столкновения, в художественном сознании Толстого «не выходят за пределы единой сущности»[1]. Чувство драматической раздвоенности не позволяет Толстому застыть на «мертвой» точке только проповедника извечных истин. Драматический процесс внутренних борений расшатывает монологическую позицию изнутри. Именно состояние раздвоенности стимулирует по-

иск соизмеряющего начала между этико-религиозными константами и подвижностью и изменчивостью мира. Теперь Толстой стремится не противопоставлять, а вновь и на новом витке сопрягать; теперь это «движение по равнодействующей из двух сил», «обеих вечных, неуничтожимых сил, из которых слагается жизнь человека: силы животности природы и силы сознания сыновности Богу» (28, 77). Вопреки самому себе — аскету и проповеднику, искавшему нравственного очищения вне мира, вне столкновения с ним, вне заблуждений, противоречий, ошибок, Толстой 1890-х гг. признает возможность осуществления идеала в реальности. Он мучительно восстанавливает утерянное, а вернее, намеренно отринутое ощущение полноты и цельности человеческих характеров. Теперь он опрокидывает, низводит идею Христа в область реальных человеческих реакций и поступков.

Истинной «поверкой» религиозного учения оказывается подлинная, переживаемая Толстым драма, художественным воплощением которой он «бредит ночью». В беседе с Оскаром Блюменталем признается: «Эта пьеса будет содержать мои собственные испытания — мою борьбу, мою веру, мои страдания,— все, что близко моему сердцу...»[2]. По сути, Толстой в начале 1890-х гг. стремится написать новую «Исповедь», но только в драматической форме. «Философность» отвлеченного рассуждения о непреложных истинах вытесняется желанием исповедать свою веру в форме автобиографической драмы. Таким « опытом в лаборатории» стала драма «И свет во тьме светит».

Автобиографический герой драмы, которую Толстой называет «своей», а позднее «большой» драмой христианского воскресения», испытавший восторг познания истины, должен был внести ее «свет в мрак с надеждой, уверенностью освещения этого мрака» (51, 17), «заразить» и объединить ею всех окружающих. Герой раскрывает выстраданную им идею людям самым близким, но погрязшим, по его мнению, в обыденности, в мелочах: пьют, едят, слушают музыку, играют в теннис, собираются замуж, воспитывают детей,— словом, живут теми «случайными сцеплениями», в которых они застали себя. Сарынцев, озабоченный прежде всего спасением собственной души, тем не менее ждет результата воздействия своего откровения. Развитие действия в драме должно было заражаться самим моментом восприятия окружающими спасительных идей. Но герой не находит отклика, самые близкие люди равнодушны, глухи к его проповедям. «Степа <...> учение это для жизни не годится» (31, 129). Если и возникает реакция со стороны окружающих, то суть ее в противодействии позиции героя, а не в действенном восприятии ее. Вступая в диалог с окружающими, герой не вступает в круг их жизни: «Я пытался участвовать в вашей жизни, внести в нее то, что составляет для меня всю жизнь. Но это невозможно» (31, 178). Сарынцев одинок, структура его речи в основе мо-

нологична, он движим скорее внутренним самосозерцанием, а не желанием войти в действительный контакт с людьми и жизнью. Для него «...дорого не то, что сделалось в мире, а то, что сделалось в душе» (31, 169). На вопросы: «Что делать? Чем помочь? Куда идти?» — Сарынцев бессилен ответить. Наблюдая ужас деревенской жизни, Николай Иванович говорит Борису Черемшанову, единственному человеку, воспринявшему его учение: «Полезным тут ничем нельзя быть другим. Зло слишком застарело. Полезным быть можно только себе, чтобы видеть то, на чем мы строим свое счастье» (31, 148). Герой исповедальной драмы статичен, неподвижна его идея, в основе отрицающая действие, активность. Автобиографический герой, продолжающий исповедальную линию, трансформируясь в драматического, сохраняет в основе монологическую, назидательно-поучительную природу, столь свойственную трактатному повествованию. Драматического характера не получилось. Столкновение Сарынцева с окружающим обыденным и одновременно контрастным миром носит односторонний характер; все ограничивается лишь спором, дискуссией, внушением со стороны героя, а не поступками, и заканчивается духовным тупиком, «разочарованием», «отчаянием». «И вдруг мрак еще темнее» (51, 17). Исповедальная драма выливается в трагедию непонимания. Однако в этом «глухом» и чуждом для героя окружении тем не менее зарождается новая драматическая коллизия (Борис — Люба — Старковский), которой не суждено было развиться. Художественная исповедальная драма так и не была завершена, но начиналась новая, реальная драма Толстого и его семьи.

Десять лет спустя Толстой пишет драму, внешне совершенно отдаленную от исповедальности, от этико-религиозного учения. Пьеса «Живой труп» пишется Толстым, по мнению критиков, «вопреки самому себе» — проповеднику и моралисту, «словно бы не по воле самого автора»[3]. Общему хору советской критики, воспринявшей драму как семейно-бытовую и социально-психологическую, можно противопоставить мнение В. В. Розанова, считавшего Федю Протасова представителем особого типа «русской святости». «Ибо Федя, кроме мечтателя и забулдыги, есть и праведный человек; отдаленно, «в тумане», это — Божий человек». Своей смертью Федя «всех оправдал, всех простил, все «искупил»»[4]. Восприятие Феди Протасова Розановым по сути совпадает с толстовским: «Меня очень интересует этот труп <...> Федя <...>. И это чисто русский тип. Он и алкоголик, и беспутный, и в то же время отличной души человек»[5]. Чрезвычайно интересно и другое высказывание Толстого, внутренне связанное с первым: «Я видел сон, такой живой — драму о Христе в лицах. Я представлял себя в положении лиц драмы. Я был то Христос, то воин; но больше воин. Помню так ясно, как надевал меч. Удивительно это сумбурное сочетание, которое

бывает во сне. Но впечатление на меня сделало сильное. Это было бы очень хорошо изобразить то, что чувствовал Христос, умирая как простой человек. Только можно это и не о Христе, а о другом человеке»[6]. Способность во имя любви к ближнему пожертвовать собой, своей жизнью — вот область пересечения в творческом сознании Толстого смерти Христа и смерти простого человека.

Позволяет ли это творческое, ассоциативное сближение сравнивать Федю Протасова с Христом? Уж не святотатство ли это? Однако с точки зрения позднего Толстого, бесконечно размышляющего о природе человеческой души, о ее «текучести», многомерности и одновременно о ее Божественной сущности, это вполне возможно. Он свято верит в духовные потенции человека, иначе не было бы ни романа «Воскресение», ни драмы «Живой труп», ни повести «Хаджи-Мурат». «Текучесть» человека, его внутренняя противоречивость, «живое» и «мертвое» в нем, как это ни парадоксально, становятся залогом нравственного прозрения и движения к Богу. Толстой и как мыслитель, и как художник неустанно поверяет христианские идеалы человеческими отношениями, не переставая удивляться многомерной целостности человека.

Не умаляя социальной проблематики драмы «Живой труп», скажем, что вся она незримо пронизана духовно-нравственными посылами и исповедальными мотивами. Евангельский путь «воскресения» человека — «не оживет, аще не умрет», положенный в основу концепции личности человека в религиозной публицистике, а также ставшей идейно-художественной основой многих поздних произведений, теперь в сознании писателя совпадает с реальной, жизненной историей семейства Гимеров. Однако теперь не жизнь поверяется евангельскими истинами, а наоборот, «естественный ход событий», незапрограммированные поступки самых обыкновенных людей должны были приводить их либо к духовному росту, либо к нравственному тупику и подчинению обстоятельствам.

Перед лицом нравственного выбора оказываются по сути все участники драмы: Виктор Каренин, Лиза, цыганка Маша. В орбиту разыгравшейся драмы втянуты и посторонние люди — князь Абрезков, Саша, гений Александров... У всех на устах слова о любви и самопожертвовании. И все действительно чем-то жертвуют. Все они, обычные и «типичные представители» светского общества, тем не менее, в силу человеческих возможностей и потенций, переживают разлад и, по Толстому, не виноваты. «Человек течет и в нем есть все возможности: был глуп, стал умен, был зол, стал добр и наоборот. В этом величие человека. Какого? Ты осудил, а он уже другой. Нельзя и сказать: не люблю. Ты сказал, а оно другое» (53, 179). Толстой в пьесе окончательно не определяет ни одного из героев. И художником в данном

случае движет не «теоретическая» любовь к людям, но реальное, глубокое проникновение в диалектику характеров.

Конфликт в драме перемещается во внутренние борения героев. Поиск выхода из создавшегося положения совпадает с нравственным самоопределением всех участников драмы и в особенности Феди Протасова. Диалоги Феди с Сашей, князем Абрезковым, Карениным — это диалоги с отвергнутым им миром и одновременно самим собой. Незапрограммированность этих диалогов проявляется в том, что они, неожиданно переключаясь на общечеловеческих регистр (диалог Феди с князем Абрезковым, искреннее участие которого растрогало Протасова до слез; неожиданный диалог с Карениным, приехавшим «забрать» Федю домой; приподнятый диалог с восторженной, «чистой» Сашей), проявляют в характере героя все новые и новые грани: ревность, невольное самолюбование, жалость к самому себе. Все эти, столь разнообразные диалоги, подобно диалогам «Исповеди», приближают героя к окончательному нравственному выбору и совершению поступка. Федя приближается, а вернее, восходит к смерти. «Только страданием и смертью сам себе докажешь без сомнений и колебаний свою искренность» (67, 50),— писал Толстой.

В драме выделяются два кульминационных момента, две смерти Феди Протасова. В первой попытке самоубийства герой искушается смертью. У внешне благородного, бескорыстного поступка — решения «уйти со сцены», не мешать чужому счастью — есть другая, оборотная сторона. Героем движет не столько искренняя любовь к людям, сколько иллюзия морального возвышения в глазах окружающих после смерти. В исповедальном прощальном письме к Лизе и Каренину Федя пишет: «Лиза и Виктор, обращаюсь к вам обоим. Не буду лгать, называя вас милыми и дорогими. Не могу совладать с чувством горечи и упрека — упрека себе, но все-таки мучительного, когда думаю о вас, о вашей любви, о вашем счастии... Теоретически люблю вас обоих, особенно Лизу, Лизаньку, но в действительности больше, чем холоден. Знаю, что я не прав и не могу измениться» (34, 71). В этом письме слышится и ревность, и задетое самолюбие, и желание наказать этих «счастливых людей», и стремление возвыситься над ними. В самой сцене покушения духовным двойником Протасова, его гением-искусителем выступает Иван Петрович Александров. В своей мании величия гений Александров произносит то, в чем Протасов боится признаться самому себе: «Что же? что ты застрелиться хочешь. Можно, можно. Я тебя понимаю. Они хотят тебя унизить. А ты им покажешь, кто ты. Себя убьешь револьвером, а их великодушием. Я понимаю тебя. Я все понимаю, потому что я гений» (34, 61). Гений Александров — своего рода выделившееся, материализовавшееся душевное зло Протасова, которое он не в состоянии преодолеть. Присутствие гения Алексан-

дрова в сцене покушения превращает ее в фарс. Чуткая, любящая «не теоретически», Маша открыто обвиняет Федю в эгоизме. Однако та же Маша предлагает Протасову продолжить игру в самоубийство, приведя в пример книжный (по Чернышевскому) вариант ухода со сцены. Идея самопожертвования окончательно дискредитируется, «мертвое» в человеке побеждает «живое».

Во второй части драмы, которая заканчивается действительным самоубийством героя, ценностная шкала как бы переворачивается. Внешне опускаясь — кабак, ночлежка, никому неизвестный, потерявший имя, звание, бродяга и пьяница — Федя внутренне возвышается, очищается, мудреет. Окончательно выпадая из социальных, игровых отношений, оказавшись «трупом» в глазах общества, герой обретает внутреннюю свободу и неподдельную искренность. Он оживает. Федя иначе воспринимает людей; с восторгом вспоминает «чистую самоотверженную любовь» Маши, без злобы вспоминает Каренина и Лизу. Беседа двух отверженных людей в кабаке наполнена общечеловеческим смыслом. Рассказывая свою историю, Федя внезапно и естественно открывает для себя евангельскую истину: «Да, да (приходит в восторг), вот сейчас пришло в голову: оттого-то я люблю Машу, что я ей добро сделал, а не зло. Оттого люблю. А ту мучал, за то... не то что люблю... Да нет, просто не люблю. Ревновал — да, но и то прошло... А ведь ты знаешь, мы любим людей за то добро, которое мы им сделали, и не любим за то зло, которое мы им делали» (34, 76). Трудно назвать Федю святым, да и не нужно. Думается, у Толстого была совсем иная, более скромная задача, хотя решает он ее сугубо по-толстовски, испытывая героя страданием и смертью. Задача Толстого-мыслителя и художника сводилась к тому, чтобы показать возможность пробуждения, оживления человеческой души, ее способность к искреннему самопожертвованию, к тому, чтобы встать на защиту человеческих отношений от узаконенной, охранительной, казенной нравственности.

В последнем действии драмы в полной мере проявляется ее социальный смысл, к раскрытию которого Толстой подошел только тогда, когда заявлен и достаточно раскрыт морально-этический аспект коллизии. По контрасту с предшествующим действием, наполненным лиризмом и философичностью, шестое действие пишется Толстым — опытным публицистом. Стремление открыто столкнуть героя с бюрократическими формами жизни продиктовано желанием художника проверить, испытать новизну самоощущения героя в действии, в поступке. Выстрел Феди Протасова на судебном процессе — разыгранном официальной властью фарсе — это прорыв к истине, это трагическая высота человека, сумевшего преодолеть страх смерти во имя ближних, во имя себя — человека. Федя в финальной сцене прост, высок и глубоко человечен; он «всех оправдал, всех простил, все «искупил». В его

последних словах — «Как хорошо» — слышится спокойствие человека, сумевшего совершить христианский поступок. Можно ли назвать драму «Живой труп» исповедальной? Безусловно, так как в ней слышится все то, о чем мучительно размышлял и что переживал сам Толстой.

---

[1] *Козак А. И.* О специфике драматического конфликта // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 3/1981. С. 45.

[2] *Блюменталь О.* Встреча с Львом Толстым // Собрания воспоминаний о Л. Н. Толстом. М., 1911. С. 70.

[3] *Лакшин В. Я.* Лев Толстой и А. Чехов. М., 1963. С. 205.

[4] *Розанов В. В.* Сочинения. М., 1990. С. 29.

[5] Литературное наследство. Т. 37–38. Л. Н. Толстой. Кн. II. М., 1939. С. 548.

[6] Там же. С. 530.

Ю. В. ПРОКОПЧУК
г. Москва

«Истина в движении»: апория Зенона «Ахиллес и черепаха» в трудах Л. Н. Толстого и П. П. Николаева

Внимание Толстого к мировой философской культуре было столь велико, что трудно найти известного философа древности, оказавшегося вне поля зрения писателя. Причем зачастую интерес был далеко не досужим, совпадали направления философских поисков Толстого и выдающихся мыслителей.

Апории Зенона известны нам всем со школьной либо университетской скамьи. В парадоксальной форме философ-элеат выражал свои сомнения относительно общепринятых представлений о движении, пространстве и времени. Зенон считал, что движение невозможно, ибо чтобы преодолеть весь путь, надо преодолеть сначала половину пути, затем половину половины и т.д. Следовательно, движение никогда не начнется (апория «Дихотомия»). Невозможен, с точки зрения Зенона, и полет стрелы, ибо в каждый конкретный момент полета стрела находится в неподвижном состоянии, а все расстояние и состоит из совокупности этих моментов (апория «Стрела»). Внимание Толстого привлекла другая, не менее известная апория Зенона, «Ахиллес и черепаха». Весьма популярная в мировой культуре, она в разное время получила отражение в творчестве Льюиса Кэрролла, Поля Валери, Хорхе Луиса Борхеса... Приводя эту апорию в романе «Война и мир», Толстой, возможно, неслучайно не называет автора этого фрагмента, упоминая о «софизме древних». Сомнения в авторстве Зенона существовали. Например, Диоген Лаэртский в своем известном труде [1] приводит две версии об авторстве апории. Согласно второй автором является Парменид, учитель Зенона[2]. Образ Ахиллеса был взят автором апории из «Илиады», а сюжет напоминает погоню Ахиллеса за Гектором[3]:

Гектора ж, в бегстве преследуя, гнал Ахиллес непрестанно.
Словно как пес по горам молодого гонит оленя.<...>
Словно во сне человек изловить человека не может,
Сей убежать, а другой уловить напрягается тщетно,—
Так и герои, ни сей не догонит, ни тот не уходит.

Итак, в романе «Война и мир», рассуждая об историческом процессе, Толстой останавливается на этом сюжете: «Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения. Но вместе с тем из этого-то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений.

Известен так называемый софизм древних, состоящий в том, что Ахиллес никогда не догонит впереди идущую черепаху, несмотря на то, что Ахиллес идет в десять раз скорее черепахи: как только Ахиллес пройдет пространство, отделяющее его от черепахи, черепаха пройдет впереди его одну десятую этого пространства; Ахиллес пройдет эту десятую, черепаха пройдет одну сотую и т.д. до бесконечности. Задача эта представлялась древним неразрешимою. Бессмысленность решения (что Ахиллес никогда не догонит черепаху) вытекала из того только, что произвольно были допущены прерывные единицы движения, тогда как движение и Ахиллеса и черепахи совершалось непрерывно. <...> В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.

Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно. <...> Историческая наука в движении своем постоянно принимает все меньшие и меньшие единицы для рассмотрения и этим путем стремится приблизиться к истине. Но как ни мелки единицы, которые принимает история, мы чувствуем, что допущение единицы, отделенной от другой, допущение *начала* какого-нибудь явления и допущение того, что произволы всех людей выражаются в действиях одного исторического лица, ложны сами в себе» (11, 264–266). Итак, мы видим, что, во-первых, Толстой в «Войне и мире» присоединяется к одному из «опровержений» апории Зенона, подчеркивая аргумент о непрерывности движения. Во-вторых, он истолковывает эти представления в духе своей историософии, доказывая некорректность мнений историков о существовании в историческом процессе неких обособленных отрезков, не зависящих от предыдущих, и провозглашает лозунг о непрерывности исторического процесса и о зависимости хода истории от бесчисленного количества устремлений людей.

Внимательно изучив текст «Войны и мира», мы сможем убедиться в том, что Толстой довольно часто рассматривает там движение как механический процесс. Например, после Бородина русское войско «отступает так же необходимо, как необходимо откатывается шар, столкнувшись с другим, с большей стремительностью несущимся на него шаром; и так же необходимо (хотя и потерявший всю свою силу в столкновении) стремительно разбежавшийся шар нашествия прокатывается еще некоторое пространство» (11, 268). Иногда Толстой использует примеры из биологии, химии, сравнивает движения масс людей с природными процессами. Писатель утверждает непрерывность движения, следствием чего является непрерывность потока исторического развития, захватывающего личность, которая растворяется в нем и не может, находясь в непрерывной цепи причин и следствий, осмыслить свою истинную роль и принять правильное решение. Таким образом, непрерывность движения априори исключает возможность существования полностью свободной, автономной личности.

Очевидно, что в постижении внутренней логики этой непрерывности — путь к выявлению движущих сил исторического процесса. В романе автор совершенно четко заявляет о том, что логика эта не человеческого, а божественного характера, поэтому простому смертному постичь ее не дано. Герои «Войны и мира» стремятся к познанию высших истин, но не всегда постигают их. Истина — в самом стремлении к познанию.

Такой была точка зрения Толстого на исторический процесс. Однако осмысление феномена движения писателем на этом не было завершено. В дальнейшем в своих дневниках и записных книжках он неоднократно возвращался к этому вопросу.

Интересовался им Толстой и в 1870-е гг. Целая серия его рассуждений посвящена осмыслению физических феноменов — света, тепла, материи, движения. В те годы писатель работал над детскими рассказами для «Азбуки», в некоторых из них он описал явления материального мира. Любопытна дневниковая запись от 17 ноября 1873 г.: «Читал Верна. Движение без тяготенья немыслимо. Движение есть тепло. Тепло без тяготенья немыслимо» (48, 67).

Уже тогда, возможно, под влиянием философии И. Канта или А. Шопенгауэра[4], Толстой в ряде записей подчеркивает субъективность восприятия движения: «Мы знаем движение, силу только своей волею» (48, 68). И еще: «Движение, пространство, время, материя, формы движения — все только в нас» (48, 117). Тогда же появляются попытки переосмыслить некоторые научные открытия. Отмечая в дневнике, что существуют объективный и субъективный методы и «один субъективный несомненен» (48, 109), он смело применяет этот метод на практике: «Что значит то, когда мы говорим, что небес-

ные тела движутся по эллипсам (закон Кеплера). Разве это значит, что они так движутся? Это значит только то, что мне представляются они в движенье...» (48, 117). Толстой не стал развивать эту мысль, в то время как философ П. П. Николаев в своем фундаментальном труде «Понятие о Боге как совершенной основе жизни»[5] пересмотрел целый ряд, казалось бы, незыблемых открытий в области естественных наук.

Что же касается подобного рода толстовских рассуждений, то они, лишь брошенные вскользь в записях 1870-х гг., впоследствии, в конце XIX — начале XX в., будут постоянно присутствовать на страницах дневника писателя.

Спиритуалистический уклон Толстого, его тяготение к идеалистическим трактовкам движения начинают четко вырисовываться с 1890-х гг. Тогда же эта тема становится постоянной в его дневнике. К историософским проблемам в эти годы Толстой обращается крайне редко. Его больше интересуют вопросы, связанные с осмыслением движения как физического феномена, мысли Толстого часто вращаются в «треугольнике» «материя — движение — пространство и время» в попытках сформулировать онтологические основы христианского миропонимания. Часто Толстой пишет о духовном движении, развитии личности, самосовершенствовании, приводя мысли, хорошо известные читателям благодаря создававшемуся в те годы роману «Воскресение». Конечно, дневниковые записи Толстого не являются законченными произведениями, благодаря им можно лишь отметить основные тенденции поисков Толстого последних лет жизни, однако общая их направленность не вызывает сомнения.

В 1896 г. Толстой знакомится с сочинениями неокантианца Африкана Шпира. Оценки трудов Шпира даются весьма высокие, зачастую имя этого философа у Толстого стоит рядом с именами И. Канта и А. Шопенгауэра: «Для того чтобы понятно было мое понимание жизни, нужно стать на точку зрения Декарта о том, что человек несомненно знает только то, что он есть мыслящее, духовное существо, и ясно понять, что самое строго научное определение мира есть то, что мир есть мое представление (Кант, Шопенгауэр, Шпир)» (54, 153). В том числе под влиянием Шпира Толстой переосмысливает свои представления о движении, пространстве и времени. Поскольку материальный мир воспринимался им как производное наших чувств, то и основные категории этого мира не считались чем-то реальным.

Таким образом, в рассуждениях о движении в материальном мире Толстой в целом ряде дневниковых записей встает на чисто субъективистскую почву, доказывая нереальность наших представлений о движении как таковых. Забегая несколько вперед, отметим, что Николаев придерживался таких же представлений и уделил их обоснованию немало страниц своих трудов.

Однако это был лишь один из аспектов восприятия Толстым категории движения. Другой был связан с пониманием движения как некого духовного процесса, и здесь как раз движение не только признается реальным, более того — именно оно одно для Толстого и существует.

Иногда Толстой противопоставляет движение материальное и духовное, доказывая реальность последнего (запись от 27 марта 1895 г. — 53, 16–17). Верный выдвинутому в «Воскресении» тезису о «текучести» человека («люди как реки» — 32, 194), Толстой подчеркивает ошибочность попыток статичного восприятия личности. Например, «человек есть все; все возможности, есть текущее вещество» (53, 185) или: «весь мир есть то, что я ощущаю. Но что такое я? Это то, что действует» (53, 187). О постоянном движении, постоянной изменчивости не только человека, но и всего мира Толстой писал неоднократно: «Один из главных соблазнов, едва ли не основной, это представление о том, что мир стоит, тогда как и мы и он, не переставая, движемся, течем» (53, 17)[6].

Кроме того, у Толстого постоянно присутствует мысль о том, что духовное движение в условиях материального мира помогает нам прийти к выводу о том, что наши представления о материальном мире обманчивы (53, 134). «Все, что я знаю, есть произведение моих чувств» (53, 155),— писал Толстой. Соответственно, «материя есть только мое представление, вытекающее из моей отдельности от мира. Движение есть мое представление, вытекающее из моего общения с миром, и потому для меня не существует вопроса о прерывности или непрерывности материи» (54, 5)[7].

Сам по себе процесс освобождения от условий материального мира является, по Толстому, вполне закономерным, это естественное следствие духовного пробуждения. «Постепенное уничтожение пределов вещества и движения, с которыми связана была духовная сущность, когда все больше и больше сознаешь эту сущность, должно быть радостно; и я испытываю это» (55, 114). «Если бы было сознание Всего, то не было бы ни вещества, ни движения. И точно так же, если бы вовсе не было сознания, не было бы ни вещества, ни движения» (55, 125)[8].

Дневниковая запись от 2 сентября 1910 г. в некотором смысле подводит итог размышлениям Толстого о движении: «Сначала кажется, что движусь «я» — ego, со всем миром, но чем дальше живешь, тем яснее становится, что движусь не я, а «я», мое истинное «я» неподвижно, вне времени, а движется мимо этого «я» весь мир вместе с моим телом, которое плешивеет, беззубеет, слабеет, движется мимо «я» весь мир, освобождая «я» от обмана жизни во времени. Чем больше сознает человек свою духовность, тем яснее он понимает обман своего, кажущегося движения во времени» (58, 98).

Таким образом, можно сказать, что в дневниковых записях писателя последних лет жизни соединяются обе основополагающие

по данной теме толстовские мысли — о нереальности движения материального и вневременности истинного «я», проявление сознания которого — истинное движение, отличающееся от ложно-материального.

Петр Петрович Николаев в своих философских поисках шел вслед за Толстым и довел до логического конца духовно-монистическую тенденцию, проявлявшуюся в толстовских сочинениях и дневниковых записях. С точки зрения философии духовного монизма Николаева, все категории, имеющие отношение к материальному миру, получают совершенно новую трактовку. Поскольку сам материальный мир реально, с точки зрения Николаева, не существует, то и категории пространства, времени, движения являются субъективными. Разбирая в своем масштабном труде «Понятие о Боге как совершенной основе жизни» апорию Зенона «Ахиллес и черепаха», Николаев соглашается с логикой Зенона, утверждавшего, что Ахиллес черепаху никогда не догонит. Как и Толстой, философ ставит вопрос о природе движения и приходит к таким же выводам о нереальности всего того, что связано с материальной природой. «Движение мыслимо лишь при условии ограниченности нашего пространственного сознания, при сознании же неограниченном, т.е. истинном, не может быть ни ограниченных протяжений, в которых можно было бы видеть и рассматривать движение, ни ограниченных предметов, которые могли бы двигаться»[9]. Как и Зенон, Николаев в вопросах познания реальности стоит на твердых рационалистических позициях, отвергая чувственный, опытный путь. С точки зрения Николаева, апории Зенона построены отнюдь не на софизмах. Если твердо следовать рациональному методу познания, то именно логика Зенона окажется истинной, а общепринятые представления о движении — ложными[10]. Зенон с помощью данных апорий старался поддержать учение Парменида о том, что существует лишь Единое. «Так, например, он указывает, что видимая нами множественность телесных существ уже заключает противоречие <...>. Противоречие уничтожается лишь в том случае, если признать, что в действительности все существа должны представлять собою Единое существо, различие же телесное лишь кажущееся, преходящее»[11].

Подводя итог разбору апорий Зенона, Николаев, как он и всегда это делал в главах, посвященных истории философии, подчеркивает духовно-монистическую тенденцию его взглядов. «Итак, сущность учения Зенона сводится к тому, что все пространственное, ограниченное, изменчивое (движущееся) и временное, что мы сознаем, есть лишь кажущееся, иллюзионарное. Истинно сущее надо искать вне этого нашего иллюзионарного сознания пространства и времени»[12]. Лишь обладая неограниченным, Божеским сознанием мы можем видеть истинную реальность — неподвижность предметов в пространстве [13].

Таким образом, мы видим, что имела место эволюция воззрений Толстого на материальную природу и движение. От традиционных представлений о непрерывности движения и уверенности в неправоте Зенона Толстой с годами приходил к характерной для некоторых субъективно-идеалистических теорий убежденности в том, что движение материи в пространстве обусловлено лишь нашим сознанием. Выраженная в разные годы в толстовском дневнике эта мысль была приведена к логическому завершению в фундаментальном труде философа-толстовца П. П. Николаева, «обосновавшего» с точки зрения духовного монизма справедливость сомнений Зенона в том, что быстроногий Ахиллес способен догнать медленную черепаху.

---

[1] *Диоген Лаэртский.* О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. С. 340–341.

[2] Кстати, имя самого Зенона Элейского (490–430 гг. до н.э.) вообще не встречается в Полном собрании сочинений Толстого, упоминал он лишь другого Зенона — Китийского (334 г. до н.э. — 262 г. до н.э.), основателя стоицизма, жившего намного позже.

[3] *Гомер.* Илиада. Пер. с древнегреческого Н. Гнедича. М., 1987. С. 310–311 (гл. 22, ст. 188–201).

[4] См. об этом статью В. Б. Ремизова «Обретение своего пути (Л. Н. Толстой читает Канта и Шопенгауэра)» // Филологические записки. 2001. № 15–16.

[5] *Николаев П. П.* Понятие о Боге как Совершенной Основе жизни (Духовно-монистическое мировоззрение). Женева, 1915–1916. Т. 1–2.

[6] Ср. с записью от 21 марта 1898 г. (53, 188).

[7] См. в дневнике Толстого похожие мысли: «Думал вот что: 1) Мир состоит из отделенных частей божества. Отделенность дает матерьяльное движение. Только уничтожься материя — и нет отделенности. Точно так же уничтожься движение — и нет отделенности. И потому материя и движение существуют только для нас, для отделенных существ. Для Бога нет ни материи, ни движения...» (55, 12).

[8] Ср. с другими дневниковыми записями: «Вещество и движение, пространство и время — иллюзии» (55, 137). «Движение само по себе всегда иллюзия. Мы познаем только известную степень движения, а ни самое быстрое, ни самое медленное недоступно нам» (55, 137).

[9] *Николаев П. П.* Понятие о Боге как совершенной основе жизни. Женева, 1915–1916. Т. 2. С. 172.

[10] Там же. С. 171.

[11] Там же. С. 169.

[12] Там же. С. 182.

[13] Там же. С. 181.

К. А. НАГИНА
г. Воронеж

Дом сумасшедших как метафора человеческого существования в «Исповеди» Л. Н. Толстого

Теснейшая связь «Исповеди» с романом «Анна Каренина» отмечается практически всеми исследователями творчества Толстого; сопоставление двух произведений наглядно демонстрирует, как «в творческом освоении» писателем «действительности понятийно-логическое осмысление явлений следует за художественным процессом»[1]. При таком подходе близость нравственных исканий Константина Левина и автора-героя «Исповеди» не вызывает сомнений; путь одного из главных персонажей второго толстовского романа представляется *прелюдией* к религиозно-философским построениям в «Исповеди». Автопсихологичность образа Константина Левина опять же обращает к «Исповеди», «организующей силой» которой «является ценностное отношение» автора «к самому себе»[2]. Обычно отмечается и близость финалов исканий Константина Левина и автора-героя «Исповеди»: оба обретают *веру* — «знание смысла человеческой жизни, вследствие которого человек не уничтожает себя, а живет».

Однако если мы посмотрим на этот вопрос сквозь призму универсалии *дома*, то очень многое в этих построениях утратит свою ясность. Для начала следует обратиться к тому образу *дома*, который возникает на страницах «Исповеди», и уже беглый обзор покажет, насколько этот образ далек от того *дома*, который в своих исканиях обретает Константин Левин. Для Левина и героев его круга — Кити, Долли и вообще семьи Щербацких, а также крестьян, *дом* представляет собой безусловную *ценность*, и обретение смысла жизни напрямую связано с его построением, что особенно проявляется в метафорическом основании Левиным *медового дома*.

Иначе дело обстоит для автора-героя «Исповеди». Образ *дома* возникает на этапе движения по ложным ориентирам к ложным целям.

Построение *дома* связывается с созданием *семьи*, с семейной жизнью, «не изведанной еще» и «обещавшей <...> спасение» (23, 9). *Дом* на этом этапе отождествляется с «семьей, женой, детьми и заботами об увеличении средств жизни» (23, 10). Здесь стоит обратить внимание на следующее обстоятельство. Константин Левин создание *семьи* считает главной своей целью; пытаясь балансировать между двумя полюсами — *личным* и *общим* — он утверждается в том, что несет одинаковую ответственность и перед *народом*, и перед членами *семьи*; он должен «блюсти огонь», т.е. поддерживать *хозяйство*, и с минимальной выгодой для себя: не разорить то, что было *передано* ему по наследству, а сохранить и преумножить, чтобы *передать* собственным детям.

В «Исповеди» смещение баланса в пользу *личного* расценивается как однозначно негативное и уравнивается со «стремлением к *прогрессу*», к которому и в «Анне Карениной», и в «Исповеди» Толстой относится сугубо критически. *Дом* дискредитируется как духовная ценность и попадает в один ряд с ценностями материального порядка, в связи с чем обращает на себя внимание навязчивое повторение формулы, видимо, вместившей в себя главную мысль Толстого: «...надо жить так, чтобы *самому с семьей было как можно лучше*» (23, 10).

Утверждение в уже развенчанной перед читателем идее *дома* носит для автора-героя «Исповеди», в отличие от его литературного предшественника Константина Левина, временный характер. Мысль о том, что он продолжает с того, где остановился персонаж «Анны Карениной», тоже не находит подтверждения, поскольку для Левина релятивизм в отношении идеи *дома* был неприемлем вовсе. Однако сомнения, одолевающие двух героев в *домашне-семейный* период их жизни, во многом схожи: «Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать,— читаем в «Исповеди». — <...> Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: «А мне что за дело?» <...> И я ничего не мог ответить» (23, 11). Спастись от этих болезненных вопросов Левину помогало *хозяйство*, которое в период «Анны Карениной» мыслилось продолжением *дома* и, посредством включения в себя мужиков-работников, позволяло установить баланс между *личным* и *общим*. Занимаясь хозяйством, Левин уже не задавал себе вопросы, на которые не мог дать ответа, и чувствовал, что он живет так, *как следует*. Однако и *семейно-хозяйственная модель*, в которой все люди — «братья и работники одного хозяина», также развенчивается Толстым в «Исповеди» как очередной миф, подобный *писательству*: «Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: «Ну хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?» И я совершенно не знал, что делать дальше» (23, 11).

Углубление в сферу «математических и опытных знаний» приводит автора-героя «Исповеди» к пугающей мысли о том, что его жизнь — абсолютно *случайное* явление: «...ты-то, что ты называешь своей жизнью, ты — временное, *случайное* сцепление частиц <...>. Ты — *случайно* слепившийся комочек чего-то. Комочек преет. Прение этот комочек называет своей жизнью. Комочек расскочится — и кончится прение и все вопросы...» (23, 22). При таком подходе в парадигму *случайного* попадают и *дом*, и *семья* — как то же самое *временное сцепление* людей, по чистой случайности оказавшихся рядом в определенный момент времени в определенном месте.

Жизнь тела объявляется жестоким и бессмысленным *злом*, а *дом*, как одна из разновидностей оболочек, уравнивается с *телом*. Все прежде незыблемые ценности: *дом*, *сад*, *труд* — представляются «суетой сует», ибо не могут предотвратить смерти. Автор-герой явно уподобляет себя библейскому Соломону, прежде него пришедшего к мысли о том, что «все дни» человека — «и скорби, и его труды — беспокойства». Как и библейский царь, он «предпринял большие дела: построил домы, насадил себе виноградники. Устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитые дерева <...>. И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их, и вот все — суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем» (23, 24). Так *дом*, *сад* и *труд* (добавим: *труд для себя*) объявляются ложными ценностями и включаются в семантическое поле *смерти*: «И возненавидел я жизнь, потому что противны мне стали дела, которые делаются под солнцем <...>. И возненавидел я весь труд мой, которым трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня...» (23, 24).

Именно «Исповедь» можно назвать тем поворотным сочинением, в котором происходит развенчание *идеи дома*, утверждавшейся Толстым, начиная с «Детства» и заканчивая «Анной Карениной». Отныне *дом* превращается в свою противоположность — *антидом*, одну из разновидностей негативного замкнутого пространства, препятствующего движению жизни. Одной из самых емких метафор бессмысленности человеческого существования в «Исповеди» и, собственно, во всем позднем творчестве писателя, становится *дом сумасшедших* со своими *больными рассудком* обитателями.

«Из сближения с этими людьми (имеются в виду люди искусства. — *К. Н.*) я вынес новый порок — до болезненности развившуюся гордость и *сумасшедшую уверенность* (здесь и далее в цитатах курсив наш. — *К. Н.*) в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своем настроении тогда и настроении тех людей <...>, мне и *жалко*, и *страшно*, и *смешно* — возникает именно то чувство, которое испытываешь в *доме сумасшедших*» (23, 6).

«...мы все, не слушая друг друга, все враз говорили <...>. Точно так, как в *сумасшедшем доме*» (23, 7).

«...теперь мне ясно, что разницы с *сумасшедшим домом* никакой не было: тогда же я только смутно подозревал это, и то только, как и все *сумасшедшие*,— называл всех *сумасшедшими*, кроме себя» (23, 7).

«Так я жил, предаваясь этому *безумию* еще шесть лет» (23, 7).

««Я — часть человечества, и потому пребывание мое состоит в том, чтобы содействовать сознанию и осуществлению идеалов человечества». И я во время *слабоумия* своего удовлетворялся этим» (23, 8).

«И это неразумнее знание есть вера, та самая, которой я не мог откинуть <...>, пока *не сошел с ума*» (23, 33).

Жизнь представителей сословия богатых и знатных автору-герою «Исповеди» представляется *темной комнатой*, *огаженной* своими же обитателями, одержимыми *страхом открытого пространства*: засевшие в этой комнате, они воображают, что погибнут, если выйдут из нее. Жизнь как *огаженная темная комната* есть «величайшее зло», *дом сумасшедших*. Кто такие эти *сумасшедшие*? — спрашивает Толстой. «Мы все — богатые, ученые люди, такие *сумасшедшие*». «Мы действительно *сумасшедшие*. Я-то уж наверно был такой *сумасшедший*» (23, 42). Вот оно — найденное сравнение, от которого поистине трудно отказаться. *Сумасшедший* — тот, кто «добывает жизнь» только «для себя», или «не добывает вовсе».

Птица вьет себе *гнездо*, *коза*, *заяц*, *волк* множатся и кормят свои семьи; так велит их биологическая природа. *Человеческая* природа иная, рассуждает Толстой. Над человеком стоит его *создатель*, *хозяин*. Нет сомнений, что «жизнь всего мира совершается по чьей-то воле,— кто-то нашими жизнями делает какое-то дело. Чтоб иметь надежду понять смысл этой воли, надо прежде всего исполнять ее» (23, 42). Здесь и содержится объяснение тому, почему *дом* у Толстого превращается в *антидом*. Птица «добывает жизнь для себя и своих птенцов», в этом ее деле нужно *гнездо* — ее *дом*. Человек «добывает» жизнь «не для себя, а для всех» — ему не нужен дом, который ограничит его заботами о тех, кто рядом, о своей семье; такой *дом* неизбежно превратиться в *могилу — три аршина земли*, как позже напишет Толстой в рассказе «Много ли человеку земли нужно». Все, что *отделяет* человека от других людей, *ограничивает*, *ограждает*, отныне объявляется *злом*.

Эту мысль Толстой развивает в трактате «Так что же нам делать?», объявляя *деньги* и *дом* главными средствами *отделения* богатых людей от бедных. Пытаясь достучаться до людей своего круга, автор трактата нарочито примитивен; он желает обнажить суть явлений, ему не до социальных теорий и философских построений: «Пусть попытается самый жестокий человек объедаться обедом из пяти блюд среди людей, которые мало ели или едят один черный хлеб. Ни у одного недоста-

нет духу есть и видеть, как облизываются вокруг него голодные. Стало быть, для того, чтобы есть сладко среди недоедающих, первая необходимость спрятаться от них и есть это так, чтобы они не видали. Это самое и это первое, что мы делаем» (25, 235).

Дом является своего рода *крепостью*, преграждающей доступ *бедных* к *богатым*. Собственно, полторы страницы XIV главы трактата «Так что же нам делать?» чрезвычайно близки стихотворению Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда». «Вот парадный подъезд. <...> / А в обычные дни этот пышный подъезд / Осаждают убогие лица <...> / Раз я видел, сюда мужики подошли, / Деревенские русские люди <...> / Показался швейцар. «Допусти», — говорят / С выраженьем надежды и муки. / Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд! / Загорелые лица и руки, / Армячишка худой на плечах. / По котомке на спинах согнутых, / Крест на шее и кровь на ногах, / В самодельные лапти обутых <...> / Кто-то крикнул швейцару: «Гони! / Наш не любит оборванной черни!» / И захлопнулась дверь»[3]. Тот же *дом-крепость* служит предметом изображения и у Толстого: «Что же он (бедный человек. — *К. Н.*) может видеть во мне другого, как не одного из тех людей, которые завладели тем, что должно бы принадлежать ему? <...> Я <...> боюсь пустить его к себе в комнату, а он, голый, приходя ко мне, ждет, еще хорошо, что в передней, а то и в сенях. <...> Чтобы жить одному в десяти комнатах, надо, чтоб этого не видали те, которые живут десятеро в одной. Чем богаче человек, тем труднее добраться до него, тем больше швейцаров между ним и небогатыми людьми, тем невозможнее провести по коврам и посадить на атласные кресла бедного человека» (25, 235).

Толстовскому трактату в целом, безусловно, близок пафос стихотворения Некрасова. Близки строки, описывающие *праздную жизнь богатых*: А владелец роскошных палат / Еще сном был глубоким объят... <...> / Что тебе эта скорбь вопиющая, / Что тебе этот бедный народ? / Вечным праздником быстро бегущая / Жизнь очнуться тебе не дает. / И к чему? Щелкоперов забавою / Ты народное благо зовешь; / Без него проживешь ты со славою / И со славой умрешь! / Безмятежней аркадской идиллии / Закатятся преклонные дни. / Под пленительным небом Сицилии, / В благовонной древесной тени, / Созерцая, как солнце пурпурное / Погружается в море лазурное, <...> / Ты уснешь, окружен попечением / Дорогой и любимой семьи / (Ждущей смерти твоей с нетерпением)»[4].

Главное отличие обличительных пафосов художников заключается в авторской позиции. Некрасов наблюдает парадный подъезд со стороны, не отождествляет себя с его владельцем. Толстой же этим *владельцем* и является; он — один из тех *богатых*, которые поставили себя выше народа и заперлись от него в своих *роскошных палатах*.

Но он же — и человек, прозревший всю неправду такой жизни и усиленно ищущий *выхода*.

Кроме схожих с некрасовскими причин для негодования, Толстой находит и иные. В ряду способов *отделения* богатых от бедных, изобретенных первыми, стоят не только роскошь, *дома-крепости*, мода, способы передвижения, но особенная *чистота* и *образование*: «Я убедился, что между нами, богатыми, и бедными стоит воздвигнутая нами же стена *чистоты* и *образования*, сложившаяся из нашего богатства» (25, 237–238). *Чистота* иронически называется Толстым «высокой добродетелью», которая «добывается чужим трудом». В «Анне Карениной» *чистота* была включена в парадигму *дома*; с мотивом *чистоты / грязи* были связаны все главные герои романа, *чистота внутренняя* обыгрывалась в образах *чистоты внешней*. Теперь же эта ценность подвергается девальвации; как и *дом*, она получает сугубо негативную семантику: «Кто из разбогатевших людей не испытывал на себе, с каким трудом он старательно приучал себя к этой чистоте, подтверждающей только пословицу: белые ручки чужие труды любят? Нынче чистота в том, чтобы менять рубашку каждый день, завтра менять два раза в день. Нынче мыть каждый день шею и руки, завтра — ноги, еще завтра — каждый день все тело, да еще особенными притираниями. Нынче скатерть на два дня, завтра каждый день и две в день. Нынче чтобы руки у лакея были чисты, завтра чтобы он был в перчатках и в чистых перчатках подавал бы письмо на чистом подносе. И нет пределов этой *никому и ни для чего не нужной чистоты*, как только для того, чтобы отделить себя от других и сделать невозможным общение с ними, когда чистота эта добывается чужими трудами» (25, 237).

Эти *чистые руки* и *чистые рубашки*, *чисто вымытое тело*, начиная с трактата «Так что же нам делать?», станут особыми и постоянными признаками неестественно устроенной жизни в произведениях позднего Толстого, как художественного, так и философского порядка. Тема *чистоты* рождает оппозицию: *чистое / грязное*. Включаясь в образно-смысловое поле *антидома*, внешняя *чистота* не только символизирует нравственную *грязь*, *испачканность*, как в приведенных примерах, но и трансформируется в свою противоположность — *грязь*, которая, во-первых, визуализируется, а во-вторых, подается в образах *смрада* и *вони*.

В «Смерти Ивана Ильича» разворачивается мотив *дурных запахов*, которые распространяет вокруг себя умирающий; в «Записках сумасшедшего» *дурно пахнут* все постоялые дворы и гостиницы; в «Воскресении» — тюремные камеры, все помещения полуэтапов. Это не иронично отмеченная Чеховым «осетрина с душком», так больно задевшая чувства Гурова, персонажа «Дамы с собачкой», это по-толстовски жестко обозначенный *смрад*, идущий от всего общества «богатых

и знатных», от их неправильного устройства жизни, которое распространяется на бедных людей, не по своей воле живущих по законам, установленным богатыми. Оттого в произведениях Толстого *дурной запах* источают все *антидома*, реально существующие или являющиеся плодом художественного изображения, к примеру, Ляпинский дом или Ржанова крепость в трактате «Так что же нам делать?» и тюремный замок в «Воскресении».

Остановимся на описании Ржановой крепости: «Все здесь *серо*, *грязно*, *вонюче* — и строения, и помещения, и дворы, и люди. Большинство людей, встретившихся мне здесь, были оборванные и полураздетые. Одни проходили, другие перебегали из дверей в двери. Двое торговались о каком-то тряпье. Я обошел все строение с Проточного переулка и Берегового проезда и, вернувшись, остановился у ворот одного ни домов. Мне хотелось зайти посмотреть, что делается там, в середине, но жутко было. Что я скажу, когда меня спросят, что мне нужно? Поколебавшись, я вошел-таки. Как только я вошел во двор, я почувствовал *отвратительную вонь*. Двор был ужасно *грязный*» (25, 197). Этот фрагмент является прелюдией к следующей картине, еще более тревожащей воображение:

«В сальной, *вонючей* кухне и сенях мы встретили старуху, которая бережно несла куда-то очень *вонючую* требуху в тряпке. Из сеней мы спустились на покатый двор, весь застроенный деревянными, на каменных нижних этажах, постройками. *Вонь* на всем дворе была очень сильная. (Центром этой *вони* был *нужник*, около которого всегда, сколько раз я ни проходил мимо него, толпились люди. *Нужник* не был сам местом испражнения, но он служил указанием того места, около которого принято было обычаем испражняться. Проходя по двору, нельзя было не заметить этого места; всегда тяжело становилось, когда входил в едкую атмосферу отделяющегося от него *зловония*.)

Мальчик, оберегая свои белые панталоны, осторожно провел меня мимо этого места по замерзшим и незамерзшим *нечистотам* и направился к одной из построек. Проходившие по двору и по галереям люди все останавливались посмотреть на меня. Очевидно, *чисто* одетый человек был в этих местах в диковинку» (25, 199–200).

С *дурным запахом* смыкается *мрак*, довершая зловещую картину *распада*: «Мы сошли вниз и пошли по земляному полу *темного* коридора. Когда мы проходили по коридору, одна дверь порывисто отворилась, и из нее высунулся пьяный старик в рубахе, вероятно не из мужиков. <...> Дверь, чмокнув, отлипла, отворилась, и на нас пахнуло мыльными парами, едким запахом дурной еды и табаку, и мы вошли в совершенный *мрак*» (25, 200).

По всей вероятности, посещение Ржановой крепости и Ляпинского ночлежного дома произвело такое тяжелое впечатление на автора

трактата, что определило и дальнейший пафос его творчества, и мотивный ряд, и образную систему произведений; во всяком случае, образ *антидома* с его *дурным запахом*, *тьмой* и доминирующим в его цветовой гамме *белым* цветом («Окна были на противоположной стороне, а тут шли дощатые коридоры направо и налево и дверки под разными углами в комнаты, неровно забранные крашеным водяной *белой* краской тесом» (25, 200), несомненно, связан с увиденными картинами городской нищеты.

С художественными произведениями 1880–1890-х гг. «Исповедь» соединяет и мотив «остановки жизни», который визуализируется в «Записках сумасшедшего», воплощаясь в виде «ужасного» «белого дома», пребывание в котором у персонажа вызывает приступ жуткой клаустрофобии, преодолевающейся только с помощью движения. В «Смерти Ивана Ильича» с этим мотивом смыкается не только дом, но и тело героя, как один из вариантов замкнутого пространства, из которого ищет выхода его обитатель. Мотив телесности получает оригинальное преломление в повести «Крейцерова соната», где известный мотив чистоты обрамляется темой распутства, одной из главных в произведении. В связи с этим «сумасшедший дом» превращается в «дом терпимости». Процесс распада дома инициирует подмену человеческого животным, с чем связан целый ряд уподоблений человека различным животным, по числу которых «Крейцерова соната» не сравнится ни с одним другим произведением Толстого. Завершает череду трансформаций «дьявол», выступающий у Толстого, как и у авторов древнерусских текстов, персонификаций страсти.

Парадоксальным образом оценивается Толстым преступление: оно становится толчком к пробуждению героя, приводящего к его разрыву с антидомом. Отказ от дома, странничество становятся для автора «Отца Сергия» эмблематическим воплощением «абсолютизации движения к истине как единственной формы существования истины» (А. Г. Гродецкая). Тенденция «оправдания преступления» отражается и в авторской оценке главных персонажей романа «Воскресение», где дом становится символом порочного мироустройства, а движение к истине также связывается с преодолением его границ. Идея ухода, бегства составляет ядро и знаменитой драмы «Живой труп», художественное пространство которой организует мотив грязи, решающийся все тем же парадоксальным образом: ее главный герой пребывает в грязи, оставаясь внутренне чистым. Федя Протасов не умел разрушить «пакость» жизни, однако противостоять ей сумели многие толстовские персонажи, в том числе Дмитрий Нехлюдов, нашедший выход в мир Божий: реалистичный в описаниях жизни природы и абстрактный в раздумьях о Царстве Божием. Герои позднего Толстого становятся

бездомными: себя и мир Божий они обретают в неустанном движении, пути, позитивно направленном и бесконечном.

---

[1] *Ремизов В. Б.* Л. Толстой в поздний период творчества: мировоззрение и художественное видение // Толстовский сборник. Тула, 1992. С. 15.

[2] *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества М., 1979. С. 164.

[3] *Некрасов Н. А.* Полн. собр. соч. и писем. М., 1948. Т. II. С 52–53.

[4] Там же. С. 53.

Е. Ю. ПОЛТАВЕЦ
г. Москва

«Божеское» и «человеческое» в танатопоэтике Л. Н. Толстого: Андрей Болконский и Анатолий Светлогуб

«Для святого нет смерти».
Лев Толстой

В творчестве Л. Н. Толстого есть два деифицированных (обожествленных) персонажа, причем оба — князь Андрей, герой «Войны и мира», и Анатолий Светлогуб, герой «Божеского и человеческого»,— умирают, как мученики, за веру. С точки зрения христианской ортодоксии их, пожалуй, можно было бы назвать лишь страстотерпцами, недаром еще К. Н. Леонтьев упрекал автора «Войны и мира», что эпизодам умирания князя Андрея не приданы «твердые и ясные контуры догматического христианства»[1], но суть не в этом. Для Толстого как автора Болконский и Светлогуб не только герои, пришедшие к индивидуальной святости, но и образы сотериального значения. Причем по своей, так сказать, формальной профессиональной принадлежности эти персонажи отстоят от автора, адепта идей ненасилия, дальше, чем кто бы то ни было. Андрей Болконский — профессиональный военный, Анатолий Светлогуб — профессиональный революционер, террорист. Конечно, ни тот, ни другой не повинны ни в малейшем насилии: наполеоновские и другие войны князь Андрей проходит, не участвуя не только в убийстве противника, но и в военном противостоянии (даже во время Бородинского сражения его полк стоит в резерве), а Светлогуб не успевает осуществить никакие террористические действия. Толстого интересует не «житие великого грешника», а возвышение человеческого духа над обыденным сознанием.

Задачей настоящей статьи является рассмотрение идейной и мотивной структуры двух сюжетных линий — князя Андрея и Анатолия Светлогуба, а также исследование соотнесенности этих структур с об-

щемифологическими мотивами, особенно с той семантикой, которая в аспекте танатопсиса является общей для различных мифологических и религиозных систем.

Обратимся к пересказу одного из самых знаменитых мировых сюжетов: «Узника Иисуса берут из тюрьмы в судилище, и после насмешек над ним, бичевания и поклонения его шутовскому рангу, распинают на кресте, посреди двух разбойников. Затем Иосиф Аримафейский снимает мертвое тело и предает погребению, а книжники и фарисеи ставят у гроба стражу, которая должна охранять тело от похищения учеников (Мт. 27). Но Иисус воскресает <...>. Это совпадает с приходом к гробнице Марии Магдалины, Марии еще одной, или, вообще, группы женщин»[2]. В работе Фрейденберг этот сюжет возводится к так называемому рассказу об эфесской матроне, т.е. к сюжету, известному еще в «глубочайшей древности» (Фрейденберг) и в различных его версиях присутствующему в фольклоре (например, в бретонском предании «Повешенный», известном по сборнику А. Ле Бра), в античной басне, античном романе («Сатириконе» Петрония, «Левкиппе и Клитофонте» Ахилла Татия, «Золотом осле» Апулея), новелле Бокаччо «Воскресший», «Поклонении кресту» Кальдерона и многих других произведениях разных эпох вплоть до главы «Любовь на могиле» в романе В. В. Лаврова «Катастрофа» (1994) и даже в сценографии и режиссуре оперетты Ф. Легара «Веселая вдова», поставленной недавно в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко[3]. (Первоначальное либретто В. Леона и Л. Штейна подвергалось в различных постановках многочисленным переделкам, но главная сюжетная линия, выстроенная по мотивам комедии А. Мельяка «Атташе из посольства», неизменно сохранялась).

Как писала О. Фрейденберг, в сюжете этом отразились древние представления о «нарождении новой жизни из чрева смерти», о воскресении «как выходе из гробового мрака», «о благодетельной силе акта производительности, который спасает силы, лежащие в смерти, и дает им оплодотворение»[4]. В том же ключе интерпретировал сюжет и М. М. Бахтин, раскрывая смысл вставной новеллы в «Сатириконе» и указывая, что «те же элементы этого комплекса, со всеми деталями, но в сублимированном и мистическом аспекте, фигурировали во время Петрония в культах эллинистическо-восточных мистерий, и, в частности, в христианском культе»[5]. В настоящее время исследователи сюжета более склонны рассматривать рассказ об эфесской матроне как принадлежащий «к классу архетипических сюжетов мировой словесности, обрисовывающих женские типы»[6]. Указывают, например, на связь с образом донны Анны. Такая интерпретация восходит к версии Петрония, так как в «Сатириконе» вставная новелла, начинающаяся словами: «В Эфесе жила некая матрона, отличавшаяся

столь великой скромностью...»[7], является рассказом Эвмолпа, вся цель которого — дать разительный пример «женского легкомыслия» и отвлечь своих спутников от ревности и драк.

В творчестве Л. Н. Толстого также представлен вариант сюжета об эфесской матроне. Причем в толстовской интерпретации он приобретает, как это, конечно, всегда бывает у Толстого, мощное архетипическое звучание, высвечивающее истину, т.е. в данном случае не гендерную, как сейчас модно говорить, проблематику, а соотношение человеческого и Божеского, плотского и духовного, временного и вечного. История жизни и смерти Светлогуба в «Божеском и человеческом» (жанр произведения не нашел окончательного определения: повесть или рассказ) — это история перехода из смерти в новую, истинную жизнь. Может быть, поэтому Толстой отказался от первоначального намерения назвать произведение «Еще три смерти», несмотря на устанавливаемую таким названием перекличку с очень значимым для него ранним рассказом «Три смерти». Название «Еще три смерти» не раскрывало бы суть «Божеского и человеческого» как триптиха, в котором одна из смертей оказывается преодоленной.

Итак, именно победа над смертью, а не типология женского коварства и неверности составляет главный смысл представленного в «Божеском и человеческом» парафраза знаменитого бродячего сюжета. Даже соотношение Эроса и Танатоса в рассказе Толстого отходит на второй план, потому что вопрос об этом соотношении для Толстого, в общем-то, является производным от другого, самого главного — вопроса о победе духа над телом, обреченным тлению. Но мотив женщины-природы как важная семантическая составляющая бродячего сюжета, разумеется, не мог быть отброшен. Сон Светлогуба, со свойственным Толстому целомудрием, изображается без всякой примеси эротического, героиня его — девочка с ягодами, а не вдова, не куртизанка, не жрица экстатического культа. Веселье на могиле преобразовано в хохот девочки, наблюдающей за игрой смешных зверюшек «вроде кошек» (42, 208); мотив звероборчества, иногда сопровождающий версии сюжета об эфесской матроне, также редуцирован до смеха девочки и Светлогуба над забавными кошками.

Конечно, троичная структура «Божеского и человеческого» как рассказа о *трех* смертях поддерживается и тремя женскими образами в той части рассказа, которая посвящена Светлогубу. Кроме онирического образа девочки, это образ матери Светлогуба и упоминание о ее воспитаннице Наташе, влюбленной в Анатолия, т.е. «группа женщин» как имплицитная отсылка к Евангелию.

Вместе с тем толстовская мифопоэтика, как правило, укоренена еще и в са́мом древнем, архаическом ритуале, причем «Божеское и человеческое» представляет один из наиболее наглядных примеров это-

го. В Евангелии Иисус — узник, он попадает из тюрьмы «в судилище», а потом предается казни, что происходит и со Светлогубом в рассказе Толстого. «Временный представитель плодородия всегда избирался в обрядах из числа узников, потому что темница — метафора смерти, а в лице такого «заместителя» временно царствовала и изгонялась смерть»,— пишет О. М. Фрейденберг[8]. Именно в темнице Светлогуб переживает метанойю: он был мертв как террорист, а ожил как мученик. «Многое я делал для людей, для славы людской,— думал он,— не славы толпы, а славы доброго мнения тех, кого я уважал и любил...» (42, 203). Это почти дословное повторение суждения Андрея Болконского о славе, о «жизни для людей», в результате которой князь Андрей, как он сам говорит, «погубил свою жизнь». Андрей Болконский в плену (аналог темницы) после Аустерлица и Анатолий Светлогуб в тюрьме понимают, что смысл жизни в том, чтобы «отдать душу свою» (42, 203). Оба мечтают о единении людей. Из монолога князя Андрея: «Чтобы не для одного меня шла моя жизнь... Чтобы на всех она отражалась и чтобы все они жили со мною вместе!» (10, 158). «Жить так хорошо не одному, а всем»,— размышляет и Светлогуб (42, 203).

Рассуждая о мотивах, объединяющих два произведения, мы не удаляемся от рассмотрения мифо-ритуальной основы толстовской танатопоэтики, а приближаемся к нему. «Наташа», т.е. «родная», «порождающая», «природная» (*лат.*) — имя возлюбленной героя в том и другом произведении, и это указывает на мотив производительных сил, плодородия. Косвенный намек на брачный ритуал в «Божеском и человеческом» — собирание Светлогубом и девочкой черешен (хотя и не вишен, но похожих ягод)[9]. Есть и другая деталь сна, соответствующая свадебной символике разбивания посуды. Девочка от смеха роняет таз с черешнями, который гремит, ударяясь о ветви дерева и падая на землю. Грохот таза сливается с грохотом отодвигаемых засовов тюрьмы: Светлогуб просыпается, наступает *утро казни*.

Девочка с ягодами — мотив в произведениях Толстого едва ли не самый семантически насыщенный и таинственный, причем не только для читателей, но и для автора: в этом эзотерическом мотиве Толстой зашифровывает вопрос, ответ на который может быть получен лишь в инобытии святого, преодолевшего смерть. В романе «Семейное счастие» эпизод в вишеннике еще может быть понят как отсылка к эротической теме, пушкинским образам (песня девушек с упоминанием «вишенья, малины» в «Евгении Онегине»), даже теме Эдема и грехопадения. Но и в этом первом романе Толстого мотив ягод уже связан с мотивом плода — ребенка, т.е. с семантикой не столько соблазна, сколько вечного возрождения. Ребенок, девочка Соня, младшая сестра героини, «прибежавшая с ключом» (5, 85) и открывшая сарай, выводит героев из неловкого положения. Не имея никакого желания каламбу-

рить, заметим, что ключ к эпизоду — в девочке «с ключом». Эпизод в запертом сарае с вишнями («Семейное счастие») во многом подготавливает онирические мотивы «Божеского и человеческого», вплоть до беспричинного веселья Маши и Сергея Михайловича и их желания «по деревьям лазить» (5, 82), т.е. того, чем занимаются герои сна Светлогуба. Но путь к «идее жизни в смерти, оплодотворения из смерти, нового рождения, воскресения, спасения от смерти»[10] пролегал в творчестве Толстого от «Семейного счастия» к «Божескому и человеческому» через «Войну и мир» и «Косточку», рассказ для детей.

В «Войне и мире» князь Андрей за два месяца до смерти встречает девочек, убегающих из сада, где они набрали слив. Упоминается в этом эпизоде и дерево, но это не дерево с ягодами, а береза, за которую прячутся дети, увидев князя Андрея. Эта деталь отсылает к мотиву запретного плода, репрезентированного в воспоминаниях Наташи Ростовой о том, как в детстве она была наказана «за сливы», береза же и «новое, отрадное и успокоительное чувство» (11, 124) князя Андрея в толстовском «лабиринте сцеплений» связываются с деталью пейзажа *Отрадного*: березой перед окном Наташи. Толстой очень редко называет даты событий частной жизни своих героев, но в данном случае дважды уточняет, что встреча князя Андрея с девочками, собиравшими сливы, происходит 10 августа, т.е. после Преображения Господня (6 августа по старому стилю). После Преображения, называемого в народе Яблочным Спасом, отменялись запреты на употребление в пищу плодов нового урожая, основанные на том, что души до определенного срока пребывают в плодах[11]. В рассказе «Божеское и человеческое» связь мотива ягод с Преображением более скрытая: цитируемые в рассказе евангельские строки взяты из главы 16-й Евангелия от Матфея, как и само название рассказа, а следующая глава повествует о Преображении. «Тот самый вопрос, что будет с ним после смерти, на который он так старался и не мог ответить, казался разрешенным для него и не каким-либо положительным, рассудочным ответом, а сознанием той истинной жизни, которая была в нем» (42, 208),— таково предсмертное сознание Светлогуба. Упавшее в землю и проросшее зерно также переживает особое преображение. «И он вспомнил слова Евангелия,— говорит о Светлогубе Толстой. — «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». «Вот и я упадаю в землю. Да, истинно, истинно»,— думал он» (42, 208). Соположение в «Божеском и человеческом» мотива зерна с мотивом ягоды как чудесного плода (ср. «молодильные ягоды» в сказках) также предваряется аналогичным объединением мотивов в «Войне и мире». В той же главе, где повествуется о встрече князя Андрея с «ягодными» девочками, сообщается, что неубранные, «остававшиеся на корню хлеба сгорали и вы-

сыпались» (11, 121). *Путь зерна* — такой же путь к воскресению, как путь косточки-«зерна», спрятанной в ягоде-костянке (сливе, вишне, черешне). Даосская символика *сливы* — бессмертие, слива — дерево Лао-цзы, сама фамилия которого «Ли» означает «слива». Считается, что во время работы над «Войной и миром» и «Косточкой» Толстой еще не был знаком с идеями, а тем более символикой даосизма. Однако было бы неправильно, на наш взгляд, рассматривать общемифологические, а тем более ритуальные мотивы в творчестве того или иного автора исключительно как результат сознательного использования писателем своей историко-культурной эрудиции. «Ягодная травма» в произведениях Толстого, во-первых, восходит к впечатлениям его раннего детства (см. «Воспоминания»), а во-вторых, не может не быть проявлением исключительной чуткости Толстого к архетипическому значению подсознательного. В том же 1905 г., параллельно с работой над завершением «Божеского и человеческого», Толстой в два дня, 10 и 11 июня, написал рассказ «Ягоды», в котором мотивы девочки с ягодами и нарушения запрета (крестьянские девочки приносят ягоды на господскую дачу, мальчик, сын хозяина, покупает ягоды тайно от родителей) освобождены автором от эротической и танатосной семантики — как будто в порядке эксперимента.

В описании последних дней Андрея Болконского и последних дней Анатолия Светлогуба слишком много общего, чтобы намерение Толстого объединить танатопсис «Войны и мира» и «Божеского и человеческого» не бросалось в глаза. Даже названия двух этих произведений перекликаются, причем не только потому, что в том и другом содержится антитеза, а и потому, что, поставленные рядом, они образуют смысловой хиазм, в котором, как и в любом хиазме, имплицируется крест. В том и другом произведении герой перед смертью обращается к Евангелию, причем в «Войне и мире» князь Андрей называет Евангелие «книгой», о Светлогубе говорится, что он никогда еще, «как книгу» (42, 202) не читал Евангелия. В обоих случаях подчеркивается, что герой никогда ранее не смотрел на евангельский текст как на предмет чтения «для себя», чтения, которое помогает, по выражению М. Элиаде, «выйти из времени»[12] и спастись из своей безнадежной ситуации. «Чтение это вызвало в нем не только умиленное состояние, которое выносило его из тех условий, в которых он находился, но и такую работу мысли, которой он прежде никогда не сознавал в себе» (42, 203) — говорит Толстой о Светлогубе. Почти так же обрисовано состояние князя Андрея, размышляющего о евангельских заповедях: «Иногда мысль его вдруг начинала работать, и с такой силой, ясностью и глубиною, с какою никогда она не была в силах действовать в здоровом состоянии...» (11, 385–386). Медитация над Евангелием и предсмертный сон подготавливают обоих героев Толстого к инобытию.

Обратимся еще к одному символу, объединяющему обожествленных героев Толстого. В «коляске» совершает свой последний путь от Бородина до Ярославля князь Андрей. Экипаж Болконского обозначен как «коляска с закрытым верхом», а не «карета» (в карете едут Ростовы), возможно, не только в силу бытового правдоподобия (кареты в полевых условиях могло и не оказаться), а и еще и в силу родства лексем «коляска» и «колесница». В рассказе «Божеское и человеческое» подчеркивается, что телега, увозящая на казнь Светлогуба, представляется «старику раскольнику» «колесницей». Два деифицированных персонажа в творчестве Толстого — князь Андрей и Светлогуб — уезжают на смерть на «колеснице», что соответствует не только общемифологической погребальной семантике колесницы, но и ведическим представлениям о возвращении во внеземной мир предков, куда можно добраться на огненной колеснице, возносящейся на небеса. Во всех индоевропейских традициях присутствовало представление о колеснице солнца, в связи с чем похоронный обряд с колесницей обеспечивал путь на небо к божественным предкам. В Библии колесница в некоторых случаях символизирует престол Бога.

«Вышел из тюрьмы юноша с светлыми очами и вьющимися кудрями и, улыбаясь, взошел на колесницу» (42, 209). Несмотря на то, что в этих словах отражено восприятие Светлогуба другим арестантом, «раскольником», выраженная оппозиция «Светлогуб — "Антихристовы слуги"» (42, 209) совпадает и с авторской идеей. «Светлым, как ангел» (42, 209) оказывается Светлогуб и в оценке автора.

Итак, с ягодами, детьми и садом как символом Царства Божия связаны в творчестве Толстого два деифицированных персонажа: князь Андрей, превратившийся в «птицу небесную», и Светлогуб. Оба умирают, оба перед смертью читают Евангелие, оба познали истину. Эта комбинация мотивов в нескольких сюжетах Толстого, практически на протяжении всего творческого пути варьировавшихся в его произведениях, может быть связана с искуплением первородного греха и с преодолением смерти.

«"Божеское" в слиянии с "человеческим" — одно из толстовских откровений, попытка выразить свое "жизнепонимание" и неприятие официальной веры», по мнению Г. В. Краснова[13]. Ученый настаивает на том, что «духовное возрождение, вознесение — основа нового образа в произведениях «позднего» Толстого»[14]. Это так, но в заключение нужно поставить вопрос о том, отличается ли толстовская концепция достижения бессмертия от той «эллинистически-восточной» (Бахтин), в том числе и христианской, которая нашла свое выражение в сюжете об эфесской матроне, пусть и самом сублимированном и мистико-символическом? На этот вопрос следует ответить утвердительно.

Наташа выходит замуж через четыре месяца после смерти Андрея Болконского. Перед смертью он просил ее научиться вязать («сопрягать»), и, следуя этому завету, Наташа обретает счастье. «Сопрягать» — лексема, родственная лексеме «супружество». В «Войне и мире» все женщины, которые ждут ребенка, заняты рукоделием: шитьем, вязаньем. Цепь («вервие», как говорили в старину) поколений — это человеческое бессмертие. Отец возрождается в сыне, дед во внуке. Эфесская матрона вступает в новое супружество, девочек с плодами-ягодами ожидает будущее материнство. Для князя Андрея встреча с «ягодными» девочками и возвращение Наташи к нему, умирающему, а для Светлогуба — сон о девочке с ягодами, который он видит тоже перед смертью,— это сублимированная, но все же человеческая любовь. О человеческой и о Божеской любви размышляет перед смертью князь Андрей. Но это и означает, что человеческой любви мало, по Толстому, для бессмертия, и, соединяя «Божеское» и «человеческое», Толстой идет своим путем, на котором «неприятие официальной веры» или, скажем, слияние с буддистским отказом от желаний вовсе не были главными вехами. Слияние «Божеского» и «человеческого», которое происходит в лучших героях Толстого как результат самостоятельной медитации, размышлений над «книгой» и измененного состояния сознания (сна, бреда),— это и есть достижение бессмертия. Другими словами, в двух обожествленных героях Толстого показано преодоление смертной природы человека, которое зависит не от соблюдения религиозной догмы, не от ритуала, не от волшебных ягод, не от евхаристии, пусть даже самой сублимированной и мистической, не от благодати свыше, а исключительно от сознательной и великой духовной работы, пробужденной проповедью Христа, которую эти герои сумели не только принять всем сердцем, но и исполнить. И разве *Светло*губ, который ничего не успел сделать в своей революционной деятельности, кроме как принять казнь, не сделался святым? По Толстому, он стал и святым, и *светлым*, потому что смог соединить Божеское и человеческое, познать истину о том, как все люди, «все они могли бы быть и будут счастливыми» (42, 211).

Смирение и сознательное следование *путем зерна* возможно только для великого духа. «Кроткий, он будет царствовать, надменный — лишен царства»[15],— заключает О. М. Фрейденберг о другом герое другой литературной эпохи, но эту закономерность можно увидеть и в произведениях Толстого «Война и мир», «Хозяин и работник», «Божеское и человеческое».

«Различные символы, мифы, обряды, догмы и учения несут в себе тождественное значение, но это тождество возникает не в результате внешнего заимствования или исторической преемственности, а обусловлено главным образом их общим метафизическим и вневремен-

ным содержанием»,— пишет Ю. Эвола о «трансцендентном единстве религий»[16], распространяя эту точку зрения на миф и обряд. Толстой учитывает, конечно, в «Войне и мире» и «Божеском и человеческом» это метафизическое и вневременное содержание мифа и обряда (будь то история об эфесской матроне или обряд евхаристии). Но обрести и сознать в себе частицу Божеского, вечного и неуничтожимого человек, по Толстому, может и должен лишь самостоятельно, в этом и заключается человеческое величие.

---

[1] *Леонтьев К. Н.* О романах гр. Л. Н. Толстого: Анализ, стиль и веяние. Критический этюд. М., 2012. С. 63.

[2] *Фрейденберг О. М.* Крест в могиле. URL: http://freidenberg.ru/Docs/Научные-труды/Статьи/Крест-в-могиле Дата обращения 14.11.2014.

[3] Имеется в виду сцена погребения, играющая роль своеобразного траурного пролога («Веселая вдова» в Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, постановка А. Шапиро, 2013 г).

[4] *Фрейденберг О. М.* Крест в могиле...

[5] *Бахтин М. М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 371.

[6] *Алпатов С. В., Ковпик В. А.* Матрона из Эфеса в ряду мировых литературных образов.

URL: http://www.pandia.ru/text/77/476/17061.php Дата обращения 14.11.2014. См. также*: Багно В. Е.* Россия и Испания: общая граница. СПб., 2006.

[7] *Петроний Арбитр.* Сатирикон. М.; Л., 1924. С. 175.

[8] *Фрейденберг О. М.* Крест в могиле...

[9] В пушкинском «Выстреле» граф спокойно лакомится *черешнями* перед пистолетом; *косточки* черешен долетают до Сильвио. Черешня здесь репрезентирует не Эрос, как вишня, а Танатос, почему и акцентируются *косточки,* а не сок и сладость.

[10] *Фрейденберг О. М.* Крест в могиле...

[11] Подробнее о мотиве преображения, запретного плода и о рассказе «Косточка» см. *Полтавец Е. Ю.* Образы природы в «Войне и мире» Л. Н. Толстого: сквозь призму мифа // Яснополянский сборник — 2008. Тула, 2008. С. 85–104.

[12] *Элиаде М.* Священное и мирское. М.,1994. С. 127.

[13] *Краснов Г. В.* «Божеское» и «человеческое» в произведениях позднего Л. Н. Толстого // Кормановские чтения. Ижевск, 1995. Вып. 2. С. 167.

[14] Там же. С. 168.

[15] *Фрейденберг О. М.* Три сюжета, или семантика одного // Язык и литература. М., 1930. Т. 5. С. 51.

[16] *Эвола Ю.* Лук и булава. СПб., 2009. С. 180.

В. А. НЕДЗВЕЦКИЙ
г. Москва

Л. Н. Толстой как великий гражданин России (по материалам книги И. В. Петровицкой «Лев Толстой — публицист и общественный деятель»)

Прежде всего необходимо небольшим этимологическим и историческим отступлением пояснить, почему в указанной книге И. Петровицкой, вне сомнения, долгожданной и совершенно необходимой в толстоведении, мне, помимо обстоятельного освещения ее непосредственной темы, видится и убедительное свидетельство *гражданского величия* писателя, которому эта замечательная книга посвящена.

Древнее иусское слово «гражданин», восходящее, согласно В. Далю, к старославянскому «градъ» и означающее «горожанин»»; а также — «каждое лицо или человек, из составляющих народ, землю, государство»[1], тождественно французскому citoyen (от cité — город или старая и крепостная часть города) и немецкому Bürger (от Burg — замок, защита, оплот). По Далю же, гражданину свойственно «гражданство» в смысле его «состояния; звания, права и обязанности»[2]. Понимание и исполнение каким-то гражданином своих прав и обязанностей в их единстве вызывает признательность его соплеменников, вплоть до бытовавшего «в древности» (на Руси, возможно, у новгородцев и псковичей) прославления и награждения его за гражданскую доблесть гражданским венцом или короной[3].

Высокий удел гражданина как человека, проникнутого в первую очередь «Любовью к общественному благу, // Любовью к согражданам своим», опоэтизирует в оде «Гражданское мужество» (1823) Кондратий Рылеев. И он же со знаменитой укоризной «Я ль буду в роковое время // Позорить гражданина сан // И подражать тебе, изнеженное племя, // Переродившихся славян?» — обратится спустя год к своим социально пассивным соотечественникам.

Через три десятилетия Н. А. Некрасов в программном творческом манифесте «Поэт и гражданин» (1856), после определения «А что такое гражданин? Отечества достойный сын» в свой черед заявит: «Ах! будет с нас купцов, кадетов, // Мещан, чиновников, дворян, // Довольно даже нам поэтов, // Но нужно, нужно нам граждан!// Но где ж они? Кто не сенатор, // Не сочинитель, не герой, // Не предводитель, не плантатор, // Кто гражданин страны родной?// Где ты? Откликнись! Нет ответа».

Эти горькие констатации двух русских авторов с развитым социальным темпераментом отнюдь не расходились с реальным гражданским состоянием большинства россиян, предопределенным предшествующими веками их истории.

Первой причиной неразвитости указанного состояния на его родине Н. М. Карамзин обоснованно считал уже ее «двувекое ханское иго» отнюдь, подчеркивал историк, не благоприятствующее «успехам гражданского искусства и разума в нашем отечестве»[4]. «И нет сомнения,— заключал Карамзин,— что Европа от XIII до XIV века далеко опередила нас в гражданском просвещении»[5].

Действительно, отдавая длительному противостоянию Золотой орде свои главные творческие ресурсы и в конечном счете одолев могучего завоевателя, россияне, согласно Пушкину, обеспечили своим «мученичеством энергичное развитие католической Европы», но сами «должны были вести совершенно особое существование, которое, оставив нас христианами, сделало нас, однако, совершенно чуждыми <западному> христианскому миру[6]. И, продолжим мысль Пушкина,— ряду его крупных общественных завоеваний.

Так, наших предков XII–XIV вв. практически не затронуло рыцарское движение с обязательными для каждого из его участников высокими моральными нормами (смелостью, верностью обету везде защищать справедливость, сирых и слабых, почтительно относиться к женщине и великодушно к падшим), а также с утверждением того *индивидуального* человеческого достоинства, которое рыцарь был обязан сохранять ценою и самой своей жизни. Каковы бы ни были негативные общие акции этой *военной* прослойки в феодальных социумах Западной Европы (от жесткого подавления рыцарями крестьянских восстаний до их захватнических Крестовых походов), с понятием «рыцарь» и по сей день неразрывно представление о благородстве человеческой самоотверженности и том «праве личности»[7] (И. Тургенев) на ее внесословную самоценность и «самостоянье» (А. Пушкин), без сознания и широкого признания которого никакая гражданская деятельность вообще состояться не может.

Россия не прошла синхронно с крупнейшими западноевропейскими странами эпохи Возрождения, поставившей в центр мироздания

человека в гармоническом единстве его морально-нравственного совершенства с телесно-физическим и одухотворившей этим гуманистическим идеалом творчество своих крупнейших живописцев, ваятелей, писателей и зодчих.

Россия осталась в стороне от такого массового антифеодального движения, как религиозная Реформация в Германии, Франции, Нидерландах и Англии, приведшего к значительной секуляризации образования, росту университетов, должной оппозиции к клерикализму, а также укреплению веротерпимости и свободы совести.

Со времени поглощения Москвой Новгородской (1478) и Псковской (1510) городских республик и ликвидации всех форм и символов (вечевой колокол) их демократического самоуправления упрочение российского самодержавия осуществляется как все большая его абсолютизация и сакрализация. Обе эти задачи становятся главным делом уже первого российского царя Ивана IV, в глазах которого самодержавие «не только нормальный, свыше установленный государственный порядок», но и якобы «исконный факт нашей истории, идущий из глубины веков», уже «от святого Владимира»[8]. Ивану Грозному же принадлежит утверждение о том, что «русские самодержцы *изначала владеют* своими царствами, а не бояре или вельможи»[9]. «Царь Иван,— говорит об этом тезисе Грозного В. Ключевский,— был первым, кто высказал на Руси такой взгляд на самодержавие: Древняя Русь не знала такого взгляда...»[10]. Древнерусский удельный князь или боярин владел своими вотчинными землями, но не людьми, арендовавшими у него на тех или иных условиях наделы. Исключение тут составляли лишь холопы, т.е. арендаторы, по разным причинам оказавшиеся в постоянной личной зависимости от землевладельца, так что порой своим безысходным положением напоминали рабов. Однако, как показывает переписка Ивана Грозного с князем А. Курбским, для этого царя, «все рабы и рабы, и никого больше, кроме рабов. Курбский толкует царю о мудрых советниках, о синклите, а царь не признает никаких мудрых советников, для него не существует никакого с синклита, а есть только люди, служащие при его дворе, дворовые холопы»[11].

Так, утверждая право самодержца *владеть* (от русск. *володеть* через церковнослав.) своим царством, Иван Грозный тем самым наряду с правом «управлять царством полновластно» наделяет монарха и правом иметь его, как некогда удельный князь вотчину, «в своей собственности»[12], к тому же распространяемой уже не на одну территорию этого царства (государства), но и на всех ее жителей. Давая самодержавной власти «божественное происхождение» и указывая ей «высокое религиозно-нравственное назначение», Иван Грозный, говорит В. Ключевский, в практическом применении этой власти сводил ее к простому заключению: «Жаловать своих холопей мы вольны и казнить их

вольны же»[13]. Чрезвычайно показательно искреннее возмущение Ивана Грозного уже самим тем фактом, что князь Курбский посмел сам распорядиться своей жизнью, в то время как, по убеждению царя, она целиком и полностью принадлежала ему.

В итоге уже к середине XVI в. люди гражданского склада и поведения должны были в нашей стране убывать с той же быстротой, с какой повышался государственный запрос на людей склада конформистского или преданных «царю-батюшке» и его наместникам сверху донизу в силу патриархальной психологии да из соображений личной корысти. «Никто, кроме государя,— характеризовал это состояние страны в «Записке о старой и новой России в политическом и гражданском отношении» (1811) Н. М. Карамзин,— не мог ни судить, ни жаловать: всякая власть была излиянием власти монаршей. *Жизнь*, *имения* зависели от *произвола царей*. Наконец, царь сделался для россиян земным Богом»[14].

При огромной нужде России в технических и военных специалистах, ученых, медиках, архитекторах, мастерах разных ремесел и производств, она и во главе с императором-реформатором Петром I, объединившим в своей особе неограниченную светскую власть с властью духовной, не больше, чем в эпохи Ивана Грозного и Бориса Годунова, благоприятствовала людям со сколько-нибудь независимой гражданской позицией. Во всяком случае, их имена остались потомкам неизвестными. В основном пятью лицами (А. Н. Радищев, Д. И. Фонвизин, Н. И. Новиков, И. А. Крылов, Я. Б. Княжнин) представлены они в царствование просвещенной царицы Екатерины II и, напротив, относительно массовой, но заведомо обреченной на трагическую участь декабристской фалангой в конце правления Александра I.

Показательный факт: само понятие «гражданин», одно из опорных в лексиконе писателей-декабристов, а затем и поэтов некрасовской школы, в официальном русском языке уже с начала XVIII в.[15] и еще быстрее после его окончания[16] вытесняется лексемой «*мещанин*». Произведенная в свою очередь от слова «город», но в польском его варианте («miasto») она, однако, означает не человека особого поведенческого типа, а члена мещанского сословия, состоящего, согласно В. Далю, из горожан «низшего разряда», облагаемых подушной податью и подлежащих солдатству[17]. Занимая в сословной иерархии российского государства предпоследнюю строчку, мещане по своим материально-имущественным возможностям и степени образованности недалеко отстояли от бесправной крестьянской массы. Среди героев русской литературы XIX в. с самобытным характером и общественно значимым поведением российское мещанство представлено едва ли не одним-единственным персонажем драмы А. Н. Островского «Гроза»: таков изобретатель-самоучка Кулибин, смело оппонирующий

самодуру из купцов Дикому. Это неудивительно — многомиллионная среда российского мещанства, всецело поглощенного заботами о хлебе насущном, в массовом порядке порождала лишь не смеющих иметь свое суждение верноподданных и аполитичных обывателей.

Как свидетельствуют процитированные ранее строки некрасовского «Поэта и гражданина», обрисованная нами ситуация сохранялась и с началом в России либеральных реформ Александра II. Отмена крепостного права будет сопровождаться и крестьянскими бунтами (особенно ожесточенными в селе Бездна Казанской губернии и в 26 деревнях губерний Пензенской и Тамбовской, где они были подавлены войсками), и распространением революционных прокламаций «К молодому поколению», «Барским крестьянам...». Однако собственно гражданская активность россиян, несмотря на порожденные реформами ожидания существенных перемен, ограничилась гуманными акциями отдельных помещиков в их «размежевании» (И. Тургенев) со своими крестьянами и эпизодическими групповыми инициативами типа адреса части тверских дворян на высочайшее имя, в котором они высказались за освобождение крестьян с землей. Этому есть лишь одно объяснение: за четыре с половиной столетия управления Россией чередой ничем и никак не ограниченных в своей абсолютной власти царей и императоров в ней фактически не осталось и минимальной почвы для того, что Владимир Даль в своем толковом словаре называет *гражданственностью* в значении «*состояние гражданской общины*; *понятия и степень образования, необходимые для составления гражданского* общества»[18].

В России начала 1860-х гг. отсутствовало не только самое скромное гражданское общество или хотя бы его элементы, но отсутствовало и понимание того, каковы те условия (юридические, образовательные, нравственные, психологические), при которых окажется возможным его создавать и создать. Сверх того, эти условия нельзя было ни измыслить теоретически, так как любая теория беднее жизни, ни позаимствовать в какой-то иной стране, потому что, рожденные другим, чем у России, историческим опытом, они бы в ней не сработали. Условия эти россиянам предстояло только «выжить» (Ф. Достоевский), т.е. приобрести методом проб и ошибок в процессе самой их гражданской деятельности.

А тут, как и в каждом великом и объективно назревшем начинании, все дело упиралось в первопроходца и застрельщика, который мог явиться и, в самом деле, явился. Что же касается вопроса, кто им стал, то ясный и, думаю, неоспоримый ответ на него лично я нашел как раз в совокупных материалах помянутой замечательной книги И. В. Петровицкой. Ибо из нее для меня с очевидностью следует: обязанности и первопроходца и застрельщика, или, точнее,— тяжелейшие ноши

обоих, и еще точнее,— их совместный крест, посильный лишь могучему богатырю, первым в России эпохи реформ уже в 1854 г. возложил на свои плечи двадцатишестилетний Лев Толстой, чтобы с этого момента нести его до конца своей жизни, т.е. на протяжении пятидесяти шести лет.

И это был крест не просто высоко даровитого публициста и честного социального деятеля, насколько тот и другой могли состояться в политических реалиях антидемократического государства с его всеобщей цензурой и полицейско-жандармской опекой над подданными, а именно выдающегося гражданина своей страны. Ведь, строго говоря, для любой не специальной, а общенациональной деятельности, не совпадающей с ее правительственным курсом, в России и 1860-х гг., и последующих десятилетий XIX в. предпосылок было не многим больше, чем в сталинско-брежневские периоды СССР, когда не только секретари и рядовые члены творческих союзов (писателей, журналистов, живописцев, композиторов и др.), но и участники добровольных обществ «Спасение утопающих на водах»» подлежали неусыпному надзору и контролю со стороны разноуровневых органов КПСС.

В письме 1857 г. к Боткину Толстой вместе с рассказом о потрясении, произведенном на него в Париже зрелищем публичной казни, дал и свое знаменитое определение государства: «...Государство есть заговор не только для эксплуатаций, но главное для развращения граждан» (60, 168). «Я,— пояснял он свое восприятие этого института,— понимаю законы нравственные, законы морали и религии, не обязательные ни для кого, ведущие вперед и обещающие гармоническую будущность; я чувствую законы искусства, дающие счастие всегда; но политические законы для меня такая ужасная *ложь*, что я не вижу в них ни лучшего, ни худшего» (60, 168). Это умозаключение двадцатидевятилетнего Толстого восходит к его же силлогизму десятилетней давности, когда он, в ту пору студент-юрист Казанского университета, сравнивая «Дух законов» Монтескье с «Наказом» Екатерины II, пришел к выводу, что юридический закон, «чтобы быть совершенен, должен быть тожествен закону нравственному» (46, 15). Наблюдая попрание этого условия в политической практике государства российского и государств западноевропейских, Толстой принимает решение: «...никогда не буду служить нигде *никакому* правительству» (60, 168).

Данной позиции писатель останется верен навсегда. В продолжение всего своего гражданского поприща он не только не войдет в какой бы то ни было орган российской власти, но и, кроме считанных обращений по исключительным причинам к трем последним русским монархам, не будет и апеллировать ни к одному из них. Глубочайшая верность Толстого принципу непротивления злу, который он считал основополагающим в христианстве, не позволяла ему оказаться

и спровоцированным властным насилием как на ответное собственное, так и на одобрение чьего-то или чьих-то других.

Вообще взоры и энергия Толстого-гражданина обращены не к российскому государству для противоборства с ним, а к российскому обществу и народу. И с целью пробуждения в первом и втором не бунтарских настроений, а их сознания о них самих и создания ими тех форм индивидуальной и коллективной самоорганизации и самодеятельности, которые в своем конечном итоге вели бы к замене существующего насильственно-иерархического «сцепления» людей их свободным и равноправным объединением на основе любви и интереса каждого человека к себе подобным. В осуществлении же этой грандиозной цели на передний план для Толстого, как и для Достоевского, выходит содействие своим соотечественникам не в развитии их интеллекта, правовых и даже религиозных представлений, а в их *нравственном* совершенствовании.

Нравственный критерий, важнейший в художественном творчестве Толстого и его эстетике, где сама творимая искусством гармония обусловливается не одной красотой («прекрасным»), а союзом «правды, красоты и добра» (8, 321), остается таковым и в восприятии Толстым всех и всяких граней и проявлений текущей российской жизни. Так, даже не отсталость вооружения, которым была оснащена оборонявшая в 1854–1855 гг. Севастополь русская армия, а царивший в ней «дух жестокости, угнетения и лихоимства», т.е. «нравственное растление» (4, 286) войска, побуждают Толстого к разработке «Проекта о переформировании армии». Требование не одного литературного мастерства, но и самые высокие нравственные критерии предъявляет Толстой к текстам, а также языку своей «Азбуки» и «Русских книг для чтения», добиваясь того, чтобы в них «не было ничего лишнего и фальшивого» (62, 250). Вспоминая в 1908 г. тех студентов Московского университета, которые работали вместе с ним в яснополянской и других сельских школах, Толстой отметит прежде всего их нравственные качества («Какой это был народ! Чистые, самоотверженные...»)[19]. Не мистические, а нравственные начала Толстой положит в основание задуманной им в 1855 г. «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности, религии практической, не обещающей будущее блаженство, но дающей блаженство на земле» (47, 37).

Примечательна реакция Толстого на жандармский обыск, проведенный в Ясной Поляне в 1862 г. («Обыск продолжался два дня; обысканы были: школа, подвалы и кладовые») официально по причине проживания в графском имении молодых людей без «письменных видов на жительство»[20], а на самом деле в связи с деятельностью писателя как мирового посредника между помещиками и их крестьянами. Тол-

стой отвечает письмом на имя не шефа жандармов князя В. А. Долгорукова, а самого императора Александра II, где называет обыск личным оскорблением ему. Однако намного больше, чем юридическая неправомерность содеянного[21] и его психологическая цель (посеять в писателе «чувство вечной угрозы»)[22] Толстого волнует и возмущает урон, нанесенный ему «во мнении народа», которым, подчеркивает он, «я дорожил, которого заслуживал годами и которое мне было необходимо по избранной мною деятельности — основанию народных школ» (60, 441). Иначе говоря,— попытка морально дискредитировать его в глазах большинства соотечественников.

Это и понятно. Начиная с 1860-х гг. Толстой с каждым новым десятилетием становится все более обширной народной легендой. О графе Толстом, который сам учит детей своих бывших крепостных мужиков, а также сам пашет и сам тачает себе сапоги, моя мать, 1903-го года рождения, впоследствии сельский интеллигент в первом поколении, слышала от своего многодетного отца (мама была у него тринадцатым ребенком) Данилы Степановича Карасева, крестьянина села Новый РЧерниговской губернии (ныне Брянской области) еще в детстве и потом уже нам, ее детям, передавала, с каким огромным уважением произносилось в ее родительской семье это имя. Между тем на гражданское поприще Толстой вступает не под защитой чиновничьих регалий и аристократического титула, а вооруженный лишь чистотой и остротой природного нравственного чувства, позволявшего ему безошибочно отделять правду от лжи, добро от зла, и красоту от безобразия, чуткой совестью да унаследованной как бы от самого Богочеловека деятельной любовью к людям.

И с этими, казалось бы, незамысловатыми исходными данными успевает за полвека сделать так грандиозно много, что только одно перечисление разнообразных гражданских акций Толстого в книге И. В. Петровицкой занимает 15 страниц. Впрочем, было в Толстом-гражданине и такое качество, которое придало его общественному подвижничеству не только неповторимое своеобразие, но, на наш взгляд, в первую очередь, обеспечило ему и редкую результативность. Качество это отлично уловили иноки Оптиной пустыни, пораженные во время бесед с пешком пришедшим к ним Толстым силою его стремления к истине и правде и в особенности «его горячим стремлением слить слово с делом»[23].

При всей естественности вычленения в социальной деятельности Толстого ее словесно-письменной (собственно публицистической) и практической сторон все же в итоге может невольно затушеваться то принципиально важное обстоятельство, что в реальности эти стороны существовали не только не порознь, но и не в дополнении друг друга. По нашему убеждению, тут было иное их единство, сопостави-

мое с нераздельностью живого организма. Думается, самое точное его определение — *поступок*. Разве не именно поступками, одинаково неординарными, мужественными и благородными, явились добровольный переход Толстого в 1854 г. из Молдавской русской армии в сражающийся Севастополь, позднее приглашение им в качестве учителей яснополянской и соседних сельских школ студентов Московского университета, исключенных из него за участие в студенческих волнениях, взятие Толстым отнюдь не безопасных обязанностей мирового посредника[24],— защита им на военном суде рядового Василия Шабунина, ударившего по лицу командира Московского пехотного полка, затем — сопряженная с опасностью для жизни перепись голодающих крестьян в Самарской губернии, письмо к императору Александру III с просьбой о помиловании шестерых народовольцев, создание памфлета «Николай Палкин» (1887), письма против новых правил для евреев, живущих в России (1890), воззвания в защиту кавказских духоборов? Ведь сила и, что не менее важно, целостность их воздействия на толстовских современников далеко не равнозначна сумме значений, содержащихся отдельно в публицистике и в практических общественных актах Толстого.

Позволю себе пояснить это параллелью между двумя способами бытования поэзии — в виде книги или иного печатного текста, и — изустным. Все мы, гуманитарии, тем более филологи, с удовольствием читаем и перечитываем стихи наших классиков, будь то Пушкин, Некрасов, Блок, Мандельштам или Есенин. Не меньше любили читать их и наши предки. Тем не менее, и отлично помня их произведения, они с огромным желанием посещали те большие и камерные залы, гостиные, где в 1860-е гг. с чтением своих стихов выступал сам Некрасов, а в годы Серебряного века стихотворения Блока, Ахматовой, Цветаевой или Маяковского слушались в авторском исполнении. Несомненно, любителей влекло в эти залы и желание воочию увидеть своих кумиров. Но главным образом они шли туда для того, чтобы ощутить художественное слово в нерасторжимости с личностью творца с его неповторимыми интонациями, жестами, мимикой, голосовыми тембрами, волевыми импульсами. Они шли (и сегодня пойдут) с тем, чтобы от абстрактного общения с волнующим их художником пообщаться с ним как живые с живым, что, заметим, было чрезвычайно ценным и для каждого из этих художников. Ибо слово, слитое с его творцом, необыкновенно повышает свою весомость и воздействие на внимающих ему. Таким оно было у древних сказителей героических преданий своих народов — рапсодов, скальдов, акынов, баянов, кобзарей, что позволило М. Лермонтову уподобить его общественный резонанс звучанию «колокола на башне вечевой // Во дни торжеств и бед народных» (Поэт»). Поэтическое слово, обращенное его создателем к сопле-

менникам, было в ту пору непосредственным деянием-поступком его создателя.

Чередой гражданских поступков, в которых Толстой представал перед соотечественниками в его личностной целостности и цельности, были (или так по крайней мере воспринимались россиянами) и общественные выступления творца Севастопольских рассказов, «Войны и мира» и «Воскресения». Не столько к публицистике, сколько к формам гражданской самореализации Толстого следует, на наш взгляд, отнести и разнообразнейшие ***жанры*** этих выступлений — от многочисленных *проектов*, *заметок*, *статей*, *писем* отдельным лицам или социальным и национальным коллективам и группам, *публичных речей*, *обращений*, *воззваний*, *ответов оппонентам*, *памяток*, *отчетов*, *предисловий* до адресованных всем современникам духовных *исповедей* и *проповедей*, а также памфлета на царя Николая II («Николай Палкин») и не имевших по силе страстного гуманистического протеста в истории новой Европы прецедентов *заявлений* «Не убий никого» (1907) и «Не могу молчать» (1908). Ведь при всей автономности каждой из перечисленных форм среди прочих их объединяет хорошо ощутимый нами императив не к констатации и созерцанию, а к активному действию.

Человек, честно и храбро[25] действующий не в своекорыстных, а общих целях, Толстой имел верные шансы, говоря важнейшим словом его эстетики, «заразить» своим примером родственные ему души россиян. Это, по-видимому, и случилось с группой (всего одиннадцать человек) студентов, отчисленных из Московского университета за участие в студенческих волнениях, но в них же приобретших личный опыт ратования за общинные интересы. Они откликнулись на предложение писателя работать с ним учителями яснополянской и соседних сельских школ. В итоге возникла еще минимальная по объему, но уже гражданственная среда, где деловые отношения людей строились на равенстве и сотрудничестве, а не чиновничьем произволе одного и раболепном повиновении остальных. Как фиксирует специально занимавшаяся этой темой И. В. Петровицкая, «Толстой был очень доволен работой в созданных им школах учителей-студентов»[26]. Со своей стороны, и молодые учителя яснополянской школы, вслед за Толстым откровенно рассказывавшие «о своих ошибках и неудачах в преподавании»[27] с восхищением свидетельствовали о совершенном отсутствии в их взаимоотношениях даже намека на графство, барство или снобизм.

Гражданственная среда, образовавшаяся в Крапивенском уезде Тульской губернии вокруг молодого сельского учительства, многократно расширилась и территориально, и по составу участников за время другой общественной акции Толстого — его борьбы с голодом в Са-

марской губернии. Предприняв ее, как прежде и свою «педагогию», при полном бездействии местных властей и «без всякой зависимости» от центрального правительства России, писатель, в сущности, совершил настоящий гражданский подвиг. Он в одиночку проехал в разные стороны губернии 210 верст и был «приведен в ужас» увиденным: «поля голые», «по деревням <...> одно и то же: <...> все признаки приближающегося голода». И хорошо зная в качестве деревенского жителя, как чиновники умеют списывать бедствия крестьян на то, что они якобы «не работают, а пьянствуют», Толстой «сделал опись каждого десятого двора» в одной из деревень из множества других, находившихся в одинаковом с ней состоянии. Затем, подтвердив верность этого документа подписями деревенских старшин и священников, приложил его к своему открытому «Письму о голоде», отосланному в газету «Московские ведомости», откуда оно полностью или в больших выдержках было перепечатано большинством периодических изданий, вплоть до выходившего в Женеве журнала «Вперед». Материальный итог выступления Толстого выразился в собранных для самарцев почти двух миллионах рублей и двадцати одной тысяче пудов хлеба. Но еще большим был, думается, эффект этого выступления для общественной нравственности россиян, каждый из которых мог увидеть в нем ярчайший образец и для посильных собственных предприятий крупного социального масштаба. Независимо от того, насколько это сознавалось отдельными из них, количество соратников Толстого-гражданина резко возросло за счет и тех сельских старост и священников, которые удостоверяли сделанную им опись дворов бедствующих крестьян, и тех сотен российских журналистов, что цитировали его статью о голоде.

Острейшую всероссийскую проблему обнажила благодаря Толстому состоявшаяся в 1882 г. перепись населения Москвы. В штате переписчиков состояло 80 руководителей из экономистов, юристов, а также профессоров Московского университета и 2000 его студентов в качестве счетчиков. Но по призыву Толстого многие студенты и курсистки участвовали в переписи добровольно, тем самым проходя свою школу гражданственности. Сам Толстой переписывает обитателей Ляпинского ночлежного дома и подобных ему домов в Проточном переулке, где ютилась московская беднота («Я,— расскажет он,— обходил все квартиры и днем и ночью, 5 раз, я узнал почти всех жителей этих домов...») и испытывает «потрясение, какое произвела на него вопиющая крайняя нищета, увиденная им»[28]. И связывая, по своему обыкновению, открывшуюся ему пропасть между московскими верхами и низами с общим социально-государственным укладом страны, Толстой определяет «величайшее зло» России как зло ее людского «разобщения»[29].

И поначалу противопоставляет ему «социальный проект» (О. Маслова): своей статьей «О переписи в Москве» призвать «просвещенных

людей» из достаточных классов незамедлительно и щедро помочь жителям городских трущоб. Позднее писатель сообщит, сколько ««горечи, стыда и раскаяния» он ощутил, поняв, что с помощью барской благотворительности никогда не удастся накормить всех голодных, приютить всех бездомных, утешить всех отчаявшихся «страждущих братьев»»[30].

Но узнанное им российское зло не оставляет совесть и мысль Толстого. И он создает трактат «Так что же нам делать?» (1884–1886), где ключевое слово — это вынесенное в самое заглавие местоимение «*нам*». Язва вопиющего материального неравенства между верхним слоем россиян и народной массой, уже с 1860-х гг. питавшая революционное подполье, а потом и террористическую деятельность, ставится Толстым перед всей страной как первостепенная забота всех ее жителей. Подобно тому, как, согласно автору «Войны и мира», в 1812 г. отражалось наполеоновское нашествие («всем миром навалиться хотят»), предлагается «всем миром» же искать и ее решение, чуждое насилию с любой стороны, будь то бедствующие российские низы или благоденствующие верхи. «Я понял,— говорит Толстой, внушая своим трактатом такое понимание и каждому соотечественнику,— что человек, кроме жизни для своего личного блага, неизбежно должен служить и благу других людей <...>. Я понял, что это естественный закон человека, тот, при котором только он может исполнить свое назначение и потому быть счастлив. Я понял, что закон этот нарушался и нарушается тем, что люди насилием, как грабительницы пчелы, освобождают себя от труда, пользуются трудом других, направляя этот труд не к общей цели, а к личному удовлетворению разрастающихся похотей...» (25, 293).

Пафосом ненасилия проникнуто написанное Толстым в 1881 г. обращение к императору Александру III с просьбой, не казня убийц его отца, воздать «добром за зло» и прощающим словом «любви христианской» остановить революционное «зло, которое точит Россию», открыв ей путь мирного совершенствования общегражданским творчеством[31]. Документ этот в истории самодержавной власти нашей страны уникален. Впервые по праву не кровного родства и старшинства, а как брат брата во Христе Толстой ставит абсолютного российского монарха и помазанника Божьего, по существу, перед нравственным выбором, который не рискнул бы предложить ему более никто: соблюсти Божественный завет «Не убий» или переступить его. Как известно, Александр III сделал этот выбор в пользу насилия. Но «в высокой степени симпатичный», по определению Н. К. Михайловского, «поступок» Толстого не прошел бесследно для россиян даже «в тот страшный 1881 год»[32]. И. В. Петровицкая напоминает: открыто выразил протест против смертной казни «первомартовцев» на «третий день процесса

над ними, когда ожидался приговор суда», Владимир Соловьев в лекции «Критика современного просвещения и кризис мирового процесса», прочитанной в Московском университете. Апеллируя к основе религиозного миросозерцания русского народа, философ утверждал, «что истинная народная религия не терпит никакого насилия, и эти принципы должна проводить в жизнь и власть как представитель православного народа»[33].

Гражданская деятельность Толстого активно продолжалась и в два последние года его жизни, на которые приходится 43 общественно значимых выступления писателя, зафиксированных в книге И. Петровицкой. Не имея по своей проблемной широте, интенсивности и результативности в предшествующей ей общественной истории России ни одного сомасштабного прецедента, деятельность Толстого создала его для россиян на века. И сегодня человек, без корысти и лукавства вступающий на гражданское поприще ради не узко личного, группового и кастового, а общероссийского блага, найдет в наследии Толстого-гражданина самый верный ориентир и нравственный камертон для каждого из своих деяний, как и мощный катализатор для их продолжительности.

Два слова о тех, с кем Толстого-гражданина можно сравнить в российском прошлом и кого можно и должно поставить рядом с ним в веке двадцатом. На наш взгляд, в прошлом нашей страны это святой Сергий Радонежский, как его понял и охарактеризовал в своем замечательном очерке Василий Ключевский. Современники разных, но равно драматичных эпох России, Радонежский и Толстой своей упорной самодеятельностью в создании жизни вокруг себя, жизни, людей объединяющей, стали живительными примерами и нравственными опорами для сотен, тысяч, а, возможно, и миллионов соотечественников. В веке же двадцатом таковы Махатма Ганди, Александр Солженицын, Мартин Лютер Кинг и Нельсон Мандела.

Если ли же иметь в виду предшественников Толстого в глубокой древности, то едва ли не прямые линии протянутся к нему от Сиддхартхи Гаутамы и Иисуса Христа. В данной связи уместно напомнить отзыв Ромена Роллана о толстовском трактате «Так что же нам делать?»: «Я никогда не забуду его голоса, полного пафоса, его душераздирающего «Что делать?». Он только что открыл все страдание мира и больше не мог его выносить: он порывал со спокойствием своей семейной жизни и с гордостью, которую ему давало искусство». Изображаемое здесь нравственное преображение Толстого структурно восходит к легенде о перевороте в душе индийского принца из племени шакьев, когда, вышедши из великолепного родительского дворца на улицы и стогны большого города, он был потрясен множеством нищих и больных людей, что открыло ему путь к личному просветлению, а потом и слу-

жении человечеству в качестве Будды. С рассказа о «поразившей его московской нищете» и «своей речи в городской Думе с призывом соединить перепись с помощью беднякам»[34] начинается и трактат «Так что же нам делать?». Не случайно, думается, и число составивших его главок — 24, кратное двенадцати апостолам Христа.

Специального и большого разговора требует вопрос об актуальности гражданственных идей и практических решений Толстого для нынешней России: в частности, его убеждения в том, что контроль за народным образованием должен принадлежать не государству (правительству), а обществу, или тезиса о необходимости для выпускников школ самых высоких знаний по родному языку (языкам) и математике как основным формам и способам человеческого мышления.

В заключение одно, как нам кажется, весьма назревшее деловое предложение. Если М. В. Ломоносов, согласно Пушкину был «первым нашим университетом», то Л. Н. Толстой, офицер, художник слова, религиозный мыслитель, педагог, журналист, издатель, искусствовед, эстетик и великий гражданин своей страны, имеет все основания для названия его первым русским энциклопедистом. А стало быть, достойным посвящения ему и энциклопедии не в одном, а в целом ряде томов, скажем, таких: 1) Толстой — защитник Севастополя; 2) Толстой — педагог; 3) Толстой — художник слова; 4) Толстой — гражданин; 5) Толстой — филолог 6) Толстой и мировые религии; 7) Толстой — философ; 8) Толстой, толстовство и толстовцы; 9) Толстой — эстетик; 10) Толстой и XXI столетие.

Это, разумеется, работа не на годы, а на десятилетия, координационным центром ее мог бы стать Московский государственный музей Л. Н. Толстого, а основными авторами томов — научные сотрудники гуманитарных НИИ РАН и главных российских университетов.

Что скажете, коллеги! Что дело это огромное? Конечно. Но разве не исполнимое? Ведь, по крайней мере, два из названных мною томов уже сделаны. Это объемный коллективный труд «Лев Николаевич Толстой под редакцией А. А. Гусейнова и Т. Г. Щедриной, вышедший в этом году в серии «Философия России...». И годом ранее изданная книга Ирины Викторовны Петровицкой, созданная ею в одиночку, «Лев Толстой — публицист и общественный деятель», которая, по моему мнению, имеет все основания называться и исследованием темы «Л. Толстой — гражданин России».

---

[1] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка. М.: Русский язык, 1981. Т. I. С. 389.

[2] Там же. С. 390.

[3] Там же.

[4] *Карамзин Н. М.* Записка о старой и новой Росси в политическом и гражданском отношениях. М., 1991. С. 23.

[5] Там же. С. 31.

[6] *Пушкин А. С.* Полн. собр. соч.: В 10 т. Изд. третье. М.,1966. Т. X. С. 596–597.

[7] Споря в 1856 г. с К. С. Аксаковым, который, по словам Тургенева, «в «мире» (т.е. крестьянской общине. — *В. Н.*) видит какое-то всеобщее лекарство, панацею, альфу и омегу русской жизни», автор «Рудина» и последующих романов о представителях «культурного слоя» России пишет его отцу: «...с Константином Сергеичем — я боюсь — мы никогда не сойдемся. <...> *Право личности* им, что ни говори, уничтожается — а я за это право сражался до сих пор и буду сражаться до конца». — *Тургенев И. С.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Письма. 1987. Т. 3. С. 98. Курсив наш.

[8] *Ключевский В.* Курс русской истории. Полное издание в одном томе. М., 2011. С. 352. Курсив наш.

[9] Цит. по: *Ключевский В.* Курс русской истории... С. 352.

[10] Там же.

[11] Там же.

[12] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка... Т. I. С. 212.

[13] *Ключевский В.* Курс русской истории. С. 353.

[14] *Карамзин Н. М.* Записка о старой и новой России... С. 31. Курсив наш.

[15] Так считает М. Фасмер. См.: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. 4-е изд. Т. 2. С. 616.

[16] Это, вероятно, было подсознательной реакцией российских властей на тот «зажигательный» волевой обертон слова «гражданин», который оно обрело в контексте со своим французским аналогом «citoyen», ставшим, вместе со словами «Марсельезы» «Aux armes, citoyens! Formez vos bataillons!», одним из главных паролей Великой французской революции 1789–1794 гг.

[17] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка... Т. 2. С. 373.

[18] *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка... Т. I. С. 390.

[19] *Гусев* Н. Н. Два года с Л. Н. Толстым. М., 1973. С. 135 (запись 5 апреля 1908 г.).

[20] *РГИА.* Дело III отделения. О графе Льве Толстом. СПб, 1906. С. 65–66.

[21] «Моя,— говорит Толстой, открытая деятельность <...>, а также журнал, в котором выражены все мои задушевные убеждения, могли бы <...> доказать каждому <...>, что я не мог быть заговорщиком, составителем прокламаций, убийцей или поджигателем» (Всемирный вестник. 1906. № 7. Приложение. С. 62–63).

[22] Там же. С. 63.

[23] Голос. 1882. № 2. Курсив наш.

[24] «Я,— объяснял это решение писатель,— не посмел отказаться перед своей совестью и ввиду того ужасного, грубого и жестокого дворянства, которое обещалось меня съесть, ежели я пойду в посредники» (60, 436).

[25] «Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного, а мне много нужно сказать нового и дельного»,— записал Л. Толстой

29 июня/11 июля 1857 г. в Дневнике (47, 142) и впоследствии не имел случая упрекнуть себя в гражданской робости. Его не устрашили ни обыск в Ясной Поляне, ни «страшное негодование» «грубого и жестокого» дворянства, ни распоряжение К. П. Победоносцева, в то время министра внутренних дел, «внимательно следить» за его «публичными речами», ни «ругательные письма», ни содержащиеся в них угрозы физического насилия.

[26] *Петровицкая И. В.* Лев Толстой — публицист и общественный деятель. С. 139. См. также сайт: (http: //petrovitskaya.lifevare.ru).

[27] Там же. С. 134.

[28] Там же. С. 224.

[29] Там же. С. 118.

[30] Там же. С. 218.

[31] Там же. С. 192.

[32] *Михайловский Н. К.* Литературные воспоминания и современная смута. СПб., 1900. Т. 1. С. 214.

[33] *Петровицкая И. В.* Лев Толстой — публицист и общественный деятель... С. 194, 214.

[34] Там же. С. 224.

Поздний Толстой и его окружение: творчество, вера, деятельность

С. В. ПАНОВ
г. Москва

Моральный эксперимент в поэтике позднего Толстого: динамика аффектов, суждение о долге и рождение идеолога

Поэтика Толстого может быть прочитана в рамках метафизики русского литературного письма как национальной эстетической религии, формирующей образ восприятия, мышления и действия, соотносимый с художественной интуицией общего блага. Русская литературная культура представляется той модификацией Просвещения, которая заменила трансцендентальные регулятивы «классической» культуры, подчинявшей человеческий опыт предуставленным априорным формам познания идеала, прагматическими правилами связывания мыслимого, воспринимаемого и волимого в проекте современного самоэкспериментирования человека, которые ввели в основание человеческого культуротворчества априори слепого согласия индивидуального сознания с другими и миром в нейтрализации суждения об объективных условиях жизни.

Философская культура Толстого сформировалась в рамках немецкой классической традиции и европейского нигилизма, которые стабилизировали бесконечный опыт просвещенческого экспериментатора в формах чувственности, аналогиях опыта, трансцендентальном схематизме, категориях рассудка, идеях разума, самоопределении воли. Слепое письмо природы и художественное воображение у него уже не выражается силлогизмами и аналогиями, эксплицитной цепью доказательств и признаний о порядке связывания явлений,— оно принимает устойчивые пределы, сжимается до зон интенсивности, до феноменологической интенции, до буквы, способной породить последовательности означающих (признание в любви Левина), динамику самосознания и волевых актов героя, выраженную в аффективно-интеллектуальных сериях, снимающих нигилизм существования и позволяющих индивидуальному сознанию слиться с единой волей, несущей функцию «наделения смыслом».

Аргументативный импульс Просвещения в постоянной визуализации экспериментального тезиса станет разрядкой морального инстинкта в сентиментализме и символическим оформлением бесконечного в романтизме с тем, чтобы воплотиться в «общем чувстве» постромантизма и динамике поступательного развития мировой воли в русском классическом романе.

Если в «Войне и мире» как романе мировой воли основным философским методом понимания человеческой природы и истории явилась трансцендентальная аналогия, позволившая дать в чувственном образе «неощутимые движения» мировой воли в ее влиянии на душевные и интеллектуальные проявления героев через форму разрядки морального инстинкта и совместного переживания ее результатов (Наташа и Пьер после истории с Курагиным), то в «Анне Карениной» мы увидим создание формального морального закона как безусловного правила нравственного самочувствия и отношения к другим во вненаходимости своей позиции в бытии, в присвоении определенного алиби наблюдателя, оценивающего жизненные перспективы себя и других, а в публицистике — оформление позиции идеолога морального закона, выведенного из обобщенных эффектов действия морального инстинкта на внутреннее чувство. Рассмотрим структуру морального эксперимента в поэтике Толстого, данного в финальном эпизоде «Анны Карениной». Вот его концептуальные этапы:

1) Автоаффекция внешних чувств — слуха и зрения через отождествление звучащего со слышимым и реального с видимым, созерцание Млечного пути, предчувствие архитектонического разума — источника космологического порядка, порядка внешней природы. Левин созерцает грозу и окончание грозы, созерцает небо и молнии и в созерцании отождествляет все видимое с истинным содержанием собственного созерцания, с результатом действия своего нравственного чувства. Это — не пустое созерцание внешней природы, это результат трансцендентальной аналогии героя (соотнесения себя с абсолютом по способу действия: как абсолют сообразует все существующее с целью его бытия и порядком его восприятия, так и я как конечный образ бесконечного сознаю себя носителем бессознательного влечения к благу), которая позволяет ему выстроить интенциональный объект как созерцательное содержание, раскрывающее для героя смысл его бытия в предчувствии им архитектонического разума природы, который бессознательно совершенно согласует строение Вселенной и порядок ее восприятия и познания.

И здесь нам дан образчик языка желания героя Толстого, т.е. постоянного стимула его познавательного самоотчета, порождающего концептуальную сетку морального самосознания в логике исследовательского трансфера (переноса исследовательской позиции на внешнюю природу, которая все время сообразует стимулы и эффекты собственного действия в любых природных явлениях, обуславливая формы человеческого

познания, затем переноса исследовательской позиции на сам источник гармонии внешней природы и организации внутренней душевно-интеллектуальной жизни человека, что предполагает возвышение человеческого сознания, ограниченного формами чувственной интуиции и рассудка, до положения абсолюта): как природа во всех своих внешних проявлениях испытывает собственные возможности бытия, так и исследователь внутренней природы изучает все проявления своего внутреннего чувства в динамике его аффектов: «Уже совсем стемнело, и на юге, куда он *смотрел*, не было туч. Тучи стояли с противной стороны. Оттуда вспыхивала молния и *слышался* дальний гром. Левин *прислушивался* к равномерно падающим с лип в саду каплям и *смотрел* на знакомый ему треугольник звезд и на проходящий в середине его Млечный Путь с его разветвлением. При каждой вспышке молнии не только Млечный Путь, но и яркие звезды исчезали, но, как только потухала молния, опять, *как будто брошенные какой-то меткой рукой* (здесь и далее курсив наш. — *С. П.*), появлялись на тех же местах» (19, 397–398).

2) Порождение вопроса постоянной исследовательской рефлексии в предчувствии готового разрешения сомнений экспериментатора внутренней природы. Левин предчувствует разрешение своих вопросов как результат бессознательного становления внутренней уверенности в истине своего бытия, как вознаграждающий сознание исследователя ответ нравственной природы, который обеспечивает нерефлексируемое совпадение предчувствий с возникшими и возникающими содержаниями во внутреннем моральном чувстве героя по модели все того же отождествления нравственной истины с данными действия моральной интуиции без всякого суждения о подлинном существе этих данных результатов нравственного самочувствия: ««Ну, что же смущает меня?» — сказал себе Левин, *вперед чувствуя*, что *разрешение его сомнений*, хотя он не знает еще его, уже готово в его душе» (19, 398).

3) Продолжение внутреннего вопрос-ответного монолога, подтверждение и перевод ответа в формулу равенства проявления божества, откровения и законов добра.

В рамках нейтрализации суждения о сущности своего морального самочувствия, в постоянной отождествляющей замене нравственной истины свободной органикой своего внутреннего чувства, Левин отождествляет проявление божества и законы добра, следуя иудео-христианскому откровению, которое вытеснило вербализованные словесным преданием развернутые образцы «добродетельного» поведения в политеизме универсальными, вневременными, космополитичными императивами заповедей с тем, чтобы подчинить слову и модели слова как непосредственного отождествления мыслимого, слышимого и произносимого любые связи восприятия, мышления, желания и действия индивидуального или коллективного сознания, подражающего Богу Слова как единственному Творцу истории, понимаемой

как воплощение импульсов Божественной воли в несовершенных поступках индивидов и коллективов: «Да, одно *очевидное, несомненное проявление божества* — это *законы добра*, которые явлены миру откровением, и которые я чувствую в себе, и в признании которых я не то что соединяюсь, а волею-неволею соединен с другими людьми в одно общество верующих, которое называют церковью» (19, 398).

4) Нейтрализация суждения о сущности единения моего сознания с другими: как непосредственно «законы добра» даны нравственному чувству Левина в постоянном уравнивании нравственной истины с эффектами его бессознательного влечения к цели бытия, так непосредственно доступно его сознанию сочувствие с другими как непроизвольное взаимопризнание всех и каждого в религиозной общине, где внерациональная моральная истина становится не только способом самоорганизации моего нравственного существа, но и основой человеческого общежития в распределении прав и обязанностей, затрат и вознаграждений.

И здесь Толстой близок к Гегелю («Философия религии») в его обосновании протестантской общины, т.е. общего чувства, где только и может реализоваться дух, минуя, разумеется, стадию благодати, поскольку трансцендентное приравнивается к простому самосознанию религиозного общества, исходя из самого события этого самосознания: носители чувства той моральной истины человеческого бытия, которую нельзя подвести ни под один рассудочный концепт, необходимо стремятся к воплощению этого разделяемого всеми и каждым блага, исходя из простого восприятия такого нравственного стимула для внутреннего самочувствия члена религиозной общины вне всякого обязательства судить об объективном содержании этого восприятия, так как последнее уже заранее — бессознательно и слепо — отождествлено с нравственным смыслом бытия: «...это *законы добра*, которые явлены миру откровением, и которые я *чувствую* в себе, и в признании которых я не то что *соединяюсь*, а *волею-неволею соединен* с другими людьми в одно *общество верующих*, которое называют церковью» (19, 398).

5) Снятие вопросных серий о множестве религий и нейтрализация суждения о содержании религиозных традиций личным убеждением в трансцендентном чувстве, в непосредственном обладании несомненного знания, в интуиции закона, которая продолжает снятие рефлексии во внутреннем самовосприятии и действии внутреннего чувства носителя нравственного закона как формулы связывания стимула и реакции только для моего жизненного мира и моего культурно-религиозного контекста.

И отсюда предвосхищение вознаграждения от источника блага для сознания героя, обретающего слепое согласие с самим собой и ближними подобно тому, как он смиренно соглашается с внутримирским порядком разделения человечества на многие верования и общины,

исходя из общего действия все той же внутренней природы, которая подводит под один единственный стимул влечения к благу различные реакции во внешнем устройстве общежития, выразившиеся в создании обособленных культурно-жизненных миров: «— Неужели эти сотни миллионов людей лишены того лучшего блага, без которого жизнь не имеет смысла? — Он задумался, но тотчас же поправил себя. — Но о чем же я спрашиваю? — сказал он себе. — Я спрашиваю об отношении к божеству всех разнообразных верований всего человечества. Я спрашиваю об общем проявлении бога для всего мира со всеми этими туманными пятнами. Что же я делаю? Мне лично, моему сердцу открыто несомненно знание, непостижимое разумом, а *я упорно хочу разумом и словами выразить это знание*» (19, 398).

6) Нейтрализация естественнонаучного взгляда на движение светил фактичностью здесьбытия — пережитой точкой зрения всех и любого на моем месте на организацию Вселенной (ход небесных тел), что предполагает окончательное снятие претензий рефлексии на выражение несомненного знания о благе и отмену просвещенческой модели экспериментирования над внешней природой, которая предполагала отождествление экспериментальной гипотезы с порядком чувственно воспринимаемой реальности в постоянной визуализации результатов опыта.

Смысл толстовского «опрощения» по аналогии с нейтрализующим рефлексию о сущности любых других религий пониманием добра, непосредственно открытого внутреннему чувству,— свести всю бесконечную экспериментаторскую рефлексию об опытных основаниях реальности к естественной установке сознания, которое нацелено не на познание, а только на описание внешней природы, слепо следуя языковой привычке — «светила всходят и заходят»: «Но я, глядя на движение звезд, не могу представить себе вращения земли, и я прав, говоря, что звезды ходят...И разве астрономы могли бы понять и вычислить что-нибудь, если бы они принимали в расчет все сложные разнообразные движения земли? Все удивительные заключения их о расстояниях, весе, движениях и возмущениях небесных тел основаны только на видимом движении светил вокруг неподвижной земли, на том самом движении, которое теперь передо мной и которое было таким для миллионов людей в продолжение веков и было и *будет всегда одинаково и всегда может быть поверено*» (19, 398).

7) Перевод фактичности здесьбытия, являющегося естественной установкой сознания в округе своего самопонятного языкового существования на основе простого и самодостаточного описания эффектов внешней и внутренней природы, в фактичность религиозного сознания в аналогии шаткости заключений астрономов и шаткости моих выводов, не основанных на одинаковом удостоверенном проверяемом понимании добра, т.е. в обретении безусловной истины своего внутреннего опыта независимо от характера связывания любых внешних

феноменов или фактов внутреннего самоощущения: «И точно так же, как праздны и шатки были бы заключения астрономов, не основанные на наблюдениях видимого неба по отношению к одному меридиану и одному горизонту, так праздны и шатки были бы и мои заключения, не основанные на том понимании добра, которое для всех всегда было и будет одинаково и которое открыто мне христианством и всегда в душе моей может быть поверено» (19, 398–399).

8) Включение в экспериментальный процесс самосознания Левина сюжетного ряда — приход и просьба Кити, сюжетного ряда, который станет побудительным импульсом высказаться другому об открывшейся истине и условием решения Левина удержаться от такого высказывания. И здесь открывается перевод неосознанного характера восприятия внутренним чувством блага и его идеи как цели моральной природы человеческого существа в стратегию прикровенного говорения с другим и любыми другими: необходимо всякий раз удерживаться от словесного выражения непосредственно чувствуемой нравственной истины: «При свете молнии она рассмотрела все его лицо и, увидав, что он спокоен и радостен, улыбнулась ему. «Она понимает,— думал он,— она знает, о чем я думаю. Сказать ей или нет? Да, я скажу ей». Но в ту минуту, как он хотел начать говорить, она заговорила тоже» (19, 415).

9) Возвышение открывшейся нравственной истины в тайну субъективного опыта самопознания, преодолевшего границы собственной субъективности в присвоении абсолютной перспективы видения замысла творения, если угодно — в обладание непроизносимым именем иудейского Бога Слова,— т.е. в абсолютно вненаходимую, возвышенную, порождающую ценностную перспективу воплощения своего влечения к абсолютному благу, точку зрения на себя, других и мир. Самоотчет Левина о незаметном укоренении этой естественной истины в душе, запрет на высказывание того, что чувствуется как отношение, внутренняя форма, как след различия, не аналогичен удержанию от суждения о сущем в скептическом сознании (поскольку истина в скептицизме непознаваема или вероятна).

Сознание Левина в логике морального эксперимента превращает средство охранения возвышенной истины от словесно-рассудочной формы суждения в сам стимул морального бытия: следуя инверсии мира в иудео-христианстве, заменившем реальность и человеческое существование словом как абсолютно гармоническим тождеством мыслимого и произносимого, сознание морального экспериментатора присваивает себе меру собственного возвышения всякий раз, как внутренний импульс будет побуждать его к выражению внепонятийной истины.

Мера этого возвышения — способность волевого самообладания, которое прекращает действие импульса волевым усилием, исходя из простой данности и непосредственной сообщаемости внутреннему чувству необходимости прикровенного отношения к ощущаемому благу, т.е. дан-

ности и сообщаемости самого морального закона, содержание которого не выразимо в понятии, а дана только форма по аналогии с формальным определением морального закона у Канта, который можно перефразировать в духе морального эксперимента Левина — «поступай так, чтобы твоя субъективная цель всегда оставалась недосягаемой целью всеобщего законодательства», поскольку нравственная истина отождествляется с самим волевым жестом удержания от ее выражения: «Нет, *не надо говорить*,— подумал он, когда она прошла вперед его. — Это тайна, для меня одного нужная, важная и невыразимая словами. Это новое чувство не изменило меня, не осчастливило, не просветило вдруг, как я мечтал,— так же как и чувство к сыну. Никакого сюрприза тоже не было. А вера — не вера — я не знаю, что это такое,— но чувство это так же незаметно вошло страданиями и твердо засело в душе» (19, 399).

10) Образ самочувствия морального экспериментатора как схема любых будущих отношений и оценок своих действий, рождение абсолютного «я» волевого самообладания в осознанной возможности вложить «смысл добра» — идею-аффект, слово и образ жизнетворения в любой жизненный и культурный контекст.

Экспериментальный вывод Левина в горизонте авторского отношения формулирует превращение собственного сознания в инструмент слепого действия морального блага вне всякой осознанной необходимости судить об объективных последствиях деятельностной разрядки морального инстинкта героя для него самого и для всех других, поскольку моральный закон — для него слепое суждение о безусловной форме человеческого поведения в сообразности с идеей блага, сформировавшейся как простое сознание результата действия внутренней природы на моральное чувство героя, структура которого такова: 1) предчувствие гармонической сообразности внешнего порядка Вселенной и организации морального мира человека,— 2) предчувствие абсолюта как единого источника космологического порядка внешней природы и душевно-интеллектуального существа человека,— 3) превращение такого архитектонического предчувствия в бессознательное влечение к благу,— 4) ощущение невыразимости этого влечения к благу как цели существования,— 5) превращение этой ощущаемой невыразимости в волевой стимул морального сознания, предполагающий постоянный отказ от понятийно-рассудочного воплощения объективных содержаний влечения к благу,— 6) превращение волевого стимула в саму форму морального закона и снятие любой возможности осмыслить объективное содержание его императивов для индивидуального и коллективного поведения — и, наконец, 7) программирование собственных стимульных восприятий, мыслительных актов, проявлений желания и поведенческих реакций в рамках нейтрализации суждения об объективных условиях своего и межчеловеческого бытия, предусмотренной самой формой морального закона, закона как абсолют-

ной формы самочувствия и волевого самообладания в любых жизненных контекстах, в рамках волевого проекта вложить «смысл добра» как нерефлексируемый результат своего слепого влечения к благу и самообладания в этом влечении в любые жизненно-мирские обстоятельства: «Так же буду сердиться на Ивана кучера, так же буду спорить, буду некстати высказывать свои мысли, *так же будет стена между святая святых моей души и другими*, даже женой моей, так же буду обвинять ее за свой страх и раскаиваться в этом, так же буду не понимать разумом, зачем я молюсь, и буду молиться,— но жизнь моя теперь, вся моя жизнь, независимо от всего, что может случиться со мной, каждая минута ее — не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный *смысл добра, который я властен вложить в нее*!» (19, 399).

Как мы видим, моральное экспериментирование заканчивается у Толстого волевым проектом героя и средоточием любых волевых проектов в авторском горизонте в рамках русского классического романа мировой воли: в «Анне Карениной» Левин еще остается на стадии чистого рефлекса своего морального влечения, в этом смысле все еще оставаясь в сфере литературного воображаемого, тогда как в «Воскресении» и поздней публицистике герой Толстого станет прямым идеологом нового образа жизнетворения, и литература преодолеет собственные границы, становясь учением о моральном благе, которое вовсе не означает основание толстовского «морализаторства», так оттеняющего «философские глубины» его словесного искусства: идеология Толстого — прямое следствие его художественного эксперимента. Структуру морального сознания рождающегося идеолога в «Воскресении» Толстого мы можем представить в следующих моментах:

1) Свидетельство о морально-социальном зле в перспективе ценностного видения Нехлюдова как героя-диагноста и социального типолога: «Все то *страшное зло*, которое он видел и узнал за это время и в особенности нынче, в этой ужасной тюрьме, все это зло, погубившее и милого Крыльцова, *торжествовало*, царствовало, и не виделось никакой возможности не только победить его, но даже понять, как победить его» (32, 439).

2) Завершение Нехлюдовым оценивания морально-социального зла в картине воображения, воплощение в чувственном образе самой идеи зла, которое останавливает все движение оценивания в неподвижной маске мертвого Крыльцова, умерщвления подвижной жизни в неподвижном — озлобленной посмертной мине: «В воображении его восстали эти запертые в зараженном воздухе сотни и тысячи опозоренных людей, запираемые равнодушными генералами, прокурорами, смотрителями, вспоминался странный, обличающий начальство свободный старик, признаваемый сумасшедшим, и среди трупов прекрасное мертвое *восковое лицо* в озлоблении умершего Крыльцова» (32, 439).

3) Возобновление неразрешимого вопроса о сумасшествии мира людей или своего, безвыходность из горизонтали безумия — хронической рефлексии о мировом зле: «И прежний вопрос о том, он ли, Нехлюдов, сумасшедший, или сумасшедшие люди, считающие себя разумными и делающие все это, с новой силой восстал перед ним и требовал ответа» (32, 439).

4) Стимульная (устав ходить) перемена положения тела — сел и стал читать — возникновение спасительной вертикали взгляда, высвобождающей перспективу возвышения рефлексиирующего «я» героя (чтение Евангелия), с рефлексом о мнении других — «говорят»: «*Устав ходить* и думать, он *сел* на диван перед лампой и машинально открыл данное ему на память англичанином Евангелие, которое он, выбирая то, что было в карманах, бросил на стол. «*Говорят*, там разрешение всего»,— подумал он и, открыв Евангелие, *начал читать* там, где открылось» (32, 440).

5) Порождение рефлексивной серии в виде сомнений-вопросов, оценка Писания с точки зрения эффектов действия своего морального инстинкта (жалко, что нескладно): «Он прочел еще 7-й, 8-й, 9-й и 10-й стихи о соблазнах, о том, что они должны прийти в мир, о наказании посредством геенны огненной, в которую ввергнуты будут люди, и о каких-то ангелах детей, которые видят лицо отца небесного. «Как *жалко*, что это так *нескладно*,— думал он,— а *чувствуется*, что тут *что-то хорошее*» (32, 440).

6) Автоматическое чтение следующих стихов Евангелия и непроизвольная аффектация внутреннего голоса «да, только это», постоянный самоотчет в действии своего внутреннего чувства, которое отождествляется с самим влечением к благу: «33. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как Я помиловал тебя? — Да неужели только это? — вдруг вслух вскрикнул Нехлюдов, прочтя эти слова. И внутренний голос всего существа его говорил: «*Да, только это*»» (32, 441).

7) Перевод содержания внутреннего аффекта в событие безличной мировой воли (случилось) и мысль, выражающую истину, обретение трансцендентного ответа в виде закона, т.е. в виде слепого суждения, критерий истинности которого приравнивается к постоянству бессознательных подтверждений в сознании идеолога так называемого «внутреннего голоса», и нейтрализация возможности социального, морального, юридического действия по исправлению преступных других, исходя из простого ощущения себя и всех виновными, которая необходимо следует из нейтрализации суждения об объективных условиях собственного бытия героя-идеолога, определившего меру его истины в слепом действии морального инстинкта: «*Случилось* то, что *мысль*, представлявшаяся ему сначала как странность, как парадокс, даже как шутка, все чаще и чаше находя себе подтверждение в жизни, вдруг предстала ему как самая простая, *несомненная истина*. Так

выяснилась ему теперь мысль о том, что единственное и несомненное средство спасения от того ужасного зла, от которого страдают люди, состояло только в том, чтобы люди *признавали себя всегда виноватыми* перед Богом и потому не способными ни наказывать, ни исправлять других людей» (32, 441–442).

8) Перевод нравственного закона в религиозно-моральное убеждение (общество и порядок существуют потому, что люди жалеют), т.е. в стимульное суждение о моральном долге, порождающее связывание желания, воления и действия героя-идеолога и любых других на его месте, отсылка к моральному инстинкту всех и каждого, который заставляет нейтрализовать насилие исходя из простого чувствования жалости и взаимной любви: «Нехлюдов понял теперь, что *общество и порядок* вообще *существуют* не потому, что есть эти узаконенные преступники, судящие и наказывающие других людей, а потому, что, несмотря на такое развращение, люди все-таки *жалеют и любят* друг друга» (32, 443).

9) Отбор Евангельских заповедей, следуя сформулированной форме морального закона ограничения эгоизма: «...ясные и *практически исполнимые заповеди*, которые, в случае исполнения их (что было вполне возможно), устанавливали совершенно новое устройство человеческого общества, при котором не только само собой уничтожалось все то насилие, которое так возмущало Нехлюдова, но достигалось высшее доступное человечеству благо — Царство Божие на земле» (32, 443).

10) Перевод сознания на внешний импульс восприятия (свет лампы), ситуация инсайта-прозрения с оценивающей ретроспекцией прожитой жизни в свете открытого закона, порождение нового морального аффекта — восторга поклонения перед слепым суждением, которое предстало моральным законом: «Нехлюдов уставился на свет горевшей лампы и замер. Вспомнив все безобразие нашей жизни, он ясно представил себе, чем могла бы быть эта жизнь, если бы люди воспитывались на этих правилах, и *давно не испытанный восторг* охватил его душу. Точно он после долгого томления и страдания нашел вдруг успокоение и свободу» (32, 443–444).

11) Подтверждение открывшейся сознанию истины — в подчинении воле «хозяина виноградника» через разумно-волевое ограничение субъективной воли работников и переосмысление пережитого опыта откровения как движение от неразрешимого сомнения — к разрядке морального инстинкта и формуле нравственного закона: «Воля же хозяина выражена в этих заповедях. *Только исполняй люди эти заповеди, и на земле установится Царствие Божие*, и люди получат наибольшее благо, которое доступно им» (32, 444).

Нехлюдов как герой-идеолог религиозно-нравственной истины организует свой внутренний опыт самопознания по той же схеме, что и Левин, повинуясь максиме Дидро и Юма следовать движению морального аффекта: он вновь обращается к слепому восприятию про-

стого примитивного действия моральной природы на его внутреннее чувство с тем, чтобы отождествить постоянство аффективных подтверждений с трансцендентным моральным законом, а форму морального закона — со способом волевого самообладания, которое подразумевает изменение индивидуального и коллективного поведения, исходя из простого ощущения безусловной правильности своего бессознательного влечения к благу и действия волевого импульса на сознание поступающего в снятии суждения об объективных содержаниях как актов влечения и воли, так и их разрядки в реакциях человека.

Однако форма морального закона — это не просто комплекс условий моего индивидуального поведения и частного нравственного выбора в рамках подчинения субъективным максимам, она должна превратиться в стимульное суждение — в убеждение, которое определит мою жизнь и сосуществование с другими, порождая на основе действия единственного стимула моральной природы только соответствующие ему поведенческие реакции, а убеждение должно преобразоваться форму категорического императива — в формальное требование, определяющее характер любого человеческого поступка, и здесь герой-идеолог должен превратиться в единственного достоверного законодателя трансцендентного всеобщего морального закона, пророка новых заповедей, в то время как Богочеловек с совершенным образом действия и заветным словом уже явился человечеству.

Своим художественным экспериментом и идеологическим творчеством Толстой отменяет существо благой вести человечеству, оставаясь в рамках иудейской прозопопеи, времени пророков, все еще предвещающих и ожидающих событие спасения.

Посмотрим, как происходит превращение автора в законодателя, целью которого становится «уяснение нравственного чувства», т.е. перевод разрядки морального инстинкта во всеобщую формулу человеческого поступка, в статье «Так что же нам делать?», где идеологическое слово Толстого открыто манифестируется вне авторского эстетического завершения в художественном свидетельстве о судьбе героя:

1) Аффект внешнего чувства автора-идеолога, воспринимающего вид представителей социального низа в трактире Ржанова дома и отождествляющего свое восприятие с моральным смыслом испытанного: «Помню *странное и тяжелое впечатление*, произведенное на меня этими встревоженными ночлежниками: оборванные, полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора; испуганные и страшные в своем испуге, они стояли кучкой, слушали наши уверения и не верили нам и, очевидно, готовы были на все, как травленый зверь, чтобы только спастись от нас» (25, 219).

2) Концептуализация морального аффекта с пространственно-временной типологической экстраполяцией моего восприятия на все представимое социальное существование, превращение моего восприятия

и моего свидетельства в аргументативную картину, подтверждающую мой статус диагноста морально-социального зла исходя из простого ощущения автором аффекта ужаса и отвращения: «*Ужасно было зрелище* по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И, главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира, и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. *И везде тот же смрад*, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до одурения мужчины и женщины и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах...» (25, 220).

3) Интериоризация морального зла, увиденного извне в картине социального низа, идентификация себя с другими с моментом субъективации — признания личного участия в морально-социальном зле и экстраполяцией личного признания и его эффектов на всю социальную сферу себе подобных по сословию: «Большинство несчастных, которых я увидал, были несчастные только потому, что они потеряли способность, охоту и привычку зарабатывать свой хлеб, т.е. *их несчастие было в том, что они были такие же, как и я*» (25, 224).

4) Выражение цели как гармонизирующего принципа морального сознания (уяснение цели как результата действия причины моего морального бытия в разрядке морального инстинкта), что ведет к теоретической прозопопее сознания, к исследовательскому выводу в виде абсолютной формулы, внятной всем, исходя из слепой, бессознательной сообразности ее содержания нравственному чувству каждого: «...а между тем вся жизнь человеческая, со всеми столь сложными и разнообразными, кажущимися независимыми от нравственности деятельностями,— и государственная, и научная, и художественная, и торговая — не имеет другой цели, как большее и большее *уяснение*, *утверждение*, *упрощение и общедоступность нравственной истины*» (25, 225).

5) Аналогическая игра воображения, непосредственно аффицирующая моральное сознание и в этом аффицировании внутреннего чувства связывающая конечное сознание с бесконечным, в образно-сравнительной серии (как природой вещей установлена необходимость наточки ножа для его использования, для проявления его сущности, так в моральном мире безусловно требование «уяснения закона»): «Но это уяснение нравственного закона есть не только главное, но единственное дело всего человечества. *Это уяснение незаметно точно так же, как незаметно различие тупого ножа от острого*. Нож — все нож, и для того, кому не нужно ничего резать этим ножом, незаметно различие тупого от острого. Для того же, кто понял, что вся жизнь его зависит от более или менее тупого или острого ножа, для того важно всякое увострение его, и тот знает, что конца нет этому увострению, и что нож только тогда нож, когда он острый, когда он режет то, что нужно резать» (25, 226).

6) Выражение нравственной истины в комплексе морально-практических требований к сословию не лгать, покаяться, работать: «И пото-

му-то я говорю, что для человека нашего круга, кроме того, чтобы *не лгать* перед другими и собой, нужно еще *покаяться*, соскрести с себя вросшую в нас гордость своим образованием, утонченностью, талантами и *сознать себя* не благодетелем народа, передовым человеком, который не отказывается поделиться с народом своими полезными приобретениями, а признать себя кругом виноватым, испорченным, никуда не нужным человеком, который желает исправиться и не то что благодетельствовать народу, но перестать только оскорблять и обижать его» (25, 378).

7) Формулировка призвания законодателя морального закона, всякий раз объективирующего идею-аффект, внутреннее слово-действие в требование морального закона как всеобщее обязательство, и цели всеобщего человеческого бытия в императиве поддержания жизни, понимаемой как процесс, средство и цель разрядки морального инстинкта, в мере разумного смысла, связывающего жизнь с авторским порождением мыслеобраза физического труда и «борьбы с природой», канализирующего импульс внутреннего насилия в отказе от суждения об объективных условиях авторского бытия: как я поклонился действию морального инстинкта и слепым формам волевого самообладания, диктующего правила добродетельной трудовой жизни, так и вы все, живущие и будущие, должны разделить со мной моральную истину бытия в общем непосредственно разделяемом сочувствии вне возможности судить о реальном содержании внутреннего самочувствия и морального сознания.

Здесь Толстой явно воскрешает идею ветхозаветного проклятия — «добывать хлеб свой в поте лица», труд предстает как память о травме изгнания из рая, так как иудейский Бог Слова отнял у падшего человека возможность преобразовать себя по образу и подобию слова в вербальной магии самотворения «Да будет свет! — И стал свет»: «Обязанность человека борьбы с природою для приобретения средств жизни всегда будет самой первой и несомненной из всех других обязанностей, потому что обязанность эта есть *закон жизни, отступление от которого влечет за собой неизбежное наказание* — уничтожение или телесной, или разумной жизни человека. Если человек, живя один, уволит себя от обязанности борьбы с природой, он тотчас же казнится тем, что тело его погибает. Если же человек уволит себя от этой обязанности, заставляя других людей, губя их жизнь, исполнять ее, то он тотчас же казнится уничтожением разумной жизни, т.е. жизни, имеющей разумный смысл» (25, 381).

Физическая работа как воспроизводство невозможности преобразить себя словом и через слово поэтому и определена борьбой с внешней природой, с производством условий своего простого физиологического насыщения, поддержания примитивного органического бытия, поскольку человек лишен слова самотворения, принадлежа закону как «силе смерти». Физический труд как обязанность всех и каждого, по утопической мысли Толстого, снимет сам по себе основания для несправедливой экс-

плуатации и социального неравенства: «В этом одном деле получает человек, если уже разделять его, полное удовлетворение телесных и духовных требований своей природы: кормить, одевать, беречь себя и своих близких есть удовлетворение телесной потребности, делать то же для других людей — удовлетворение духовной потребности. Всякая другая *деятельность человека только тогда законна*, когда она направлена *на удовлетворение этой первейшей потребности человека*, потому что в удовлетворении этой потребности состоит и вся жизнь человека» (25, 381).

Схема морального эксперимента Толстого как автора-идеолога, пророка и законодателя морального закона такова: превращение внешнего чувства в факт морального сознания через отождествление восприятия страданий с оцениванием мирового зла — концептуализация аффекта как аргументативной картины (визуализации гипотезы во внешнем мире) через свидетельство о видимой падшей природе человека — выдвижение тезиса о необходимости ее преобразовать моральным действием — теоретическая прозопопея как обоснование морального закона в безусловной форме человеческого поступка исходя из простого события понимания такой формы — оформление императивов действия и набора обязательств и правил исправления человеческой природы через физический труд, через поклонение закону в жизни как форме невоспроизводимого суждения, так как воспроизводство морального суждения необходимо отвлечет от спасительного труда по обеспечению первичных потребностей индивида и коллектива.

Всякий раз ваш труд по искуплению условия человеческого существования будет напоминанием о вашем падении в недостижимости для вас и вашего сознания моего учительско-пророческого самопреобразования через слово, понимаемого как результат действия морального инстинкта и императив волевого самообладания, в носителя нравственного чувства, в законодателя теоретической универсальной формы закона и пророческого слова, побуждающего следовать императивам моей авторской воли, постоянно вменяя дистанцию, разграничивающую мое сознание, которому открыты безусловные правила творения, и любое внешнее сознание, для которого условием жизни станет слепое безрефлексивное подчинение истине иудео-христианского искупления.

Именно концептуальное завершение художественного творчества в идеологии морального законодательства станет предметом феноменологической рефлексии в русском романном письме XX в. («Жизнь Клима Самгина» Горького) с тем, чтобы в бесконечном самоотчете рефлексирующего сознания показать ограниченность любых идеологических проекций, пытающихся выстроить автоматизмы восприятия, мысли и поступка у человека, ставшего отныне животным, управляемым языком.

Ю. В. ФОМИНА
г. Воронеж

Невербальный образ ложной жизни в повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича»

Центральный мотив повести Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» — мотив ложной жизни, проявляющийся с первых же строк: коллеги главного героя, узнав о его кончине, думают, в первую очередь, о том, как эта смерть может повлиять на их передвижения по службе. Затем каждый из них ощущает приятное чувство от того, что умер кто-то другой, а не он сам. Петр Иванович, считаясь другом Ивана Ильича, решает, что теперь ему «надобно исполнить скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования» (26, 62). Там он видит своего знакомого Шварца, который встречает его подмигиванием. Данный жест, если опираться на «Словарь языка русских жестов», означает следующее: «Жестикулирующий X задумал в тайне от других людей осуществить некоторое действие P и призывает адресата Y в союзники, предполагая, что Y поддержит его в осуществлении P»[1]. Подмигивание является символом дружелюбия жестикулирующего по отношению к адресату, так как он выделяет адресата среди остальных людей, словно вступая с ним в сговор. Действие зачастую является баловством, жестикулирующий считает, что оно будет привлекательно для адресата, и последний будет не против в нем поучаствовать. Так и происходит в повести: Петр Иванович сразу понимает, что Шварц желает сговориться, где им сегодня повинтить. Петр Иванович видит в этом жесте и во всем торжественном виде товарища «особенную соль»: «...глупо распорядился Иван Ильич; то ли дело мы с вами» (26, 63). Серьезность героев в данной ситуации напускная, о чем говорят их противоречивые жесты и мимика: если губы у Шварца сложены крепко и серьезно, то взгляд, которым он направляет товарища в комнату мертвеца, игривый. Так здесь начинает проявляться синонимичный мотиву ложной жизни мотив жизни-игры.

Согласно толковому словарю Даля, «игра — забава, установленная по правилам». Герои повести воспринимают жизнь как игру, и наде-

вают определенные «маски», характерные для той или иной ситуации. Так, войдя в комнату мертвеца, Петр Иванович начинает вспоминать, какие правила существуют для данного случая, но определенно вспомнить не может. «Одно он знал, что креститься в этих случаях никогда не мешает. На счет того, нужно ли при этом и кланяться, он не совсем был уверен и потому выбрал среднее: войдя в комнату, он стал креститься и немножко как будто кланяться» (26, 63). Выполняя формально действия, сопутствующие обряду прощания с умершим, Петр Иванович параллельно занимается более интересным для него делом: рассматривает окружающих. Все его движения носят характер наигранности, порывистости, так как герой только и думает, что и как нужно сделать согласно нормам приличия. Однако назидательный вид мертвеца оказывается для Петра Ивановича настолько отталкивающим, что заставляет его сначала совершить действие, а потом уже обдумать его: ему показалось, что он слишком быстро вышел из комнаты, «несообразно с приличиями». «Освежает» Петра Ивановича взгляд на игривую фигуру Шварца, который ждет его, «расставив широко ноги и играя обеими руками за спиной своим цилиндром» (26, 64). Такого рода поза является типично мужской, это — сигнал доминирования, в борьбе за которое мужчины часто принимают агрессивные положения. Вид Шварца говорит, что он «стоит выше этого», и «инцидент панихиды Ивана Ильича» не может помешать провести этот вечер приятно.

Дважды Петр Иванович обращает внимание на женщин с поднятыми бровями: сначала дама в комнате мертвеца, затем вдова. Сигнал «поднятые брови» интерпретируется как удивление. Однако в сознании героя этот мимический знак маркируется определением «странно», что говорит о неконгруэнтности вербального и невербального поведения женщин, на что Петр Иванович бессознательно реагирует. Внешне женщины потрясены и удивлены происходящим, но на самом деле их мысли заняты другими вещами. Так, вдова желает поговорить с Петром Ивановичем, и этот разговор протекает по правилам «игры»: «Прасковья Федоровна, узнав Петра Ивановича, вздохнула, подошла к нему вплоть, взяла его за руку и сказала: «Я знаю, что вы были истинным другом Ивана Ильича...» и посмотрела на него, ожидая от него соответствующие этим словам действия. Петр Иванович знал, что как там надо было креститься, так здесь надо было пожать руку, вздохнуть и сказать: «Поверьте!» Он так и сделал» (26, 65). В этой связи важно отметить, что «пустословие и ложь, словесная каша и обман сочетаются с параязыковыми элементами — многозначительными паузами, вздохами, имитирующими сожаление и безнадежную усталость»[2]. Истинная же цель этой беседы — денежные подсчеты: возможность получить от казны денег в связи со смертью мужа.

Таким образом, поведение героев подчинено определенным правилам «игры», зная которые, они надевают соответствующие «маски».

На несовпадении внутренней и внешней жизни персонажей автор мастерски акцентирует внимание с помощью невербальных сигналов и непроизвольных реакций на них.

В повести описание жизни Ивана Ильича с рождения до болезни (до 45 лет) составляет три главы. Хотя это описание представляет собой значительную часть содержания повести, здесь отсутствуют какие-либо невербальные формы коммуникации: мы не видим ни жестикуляции, ни мимики. Однако мотив жизни-игры здесь продолжает поддерживаться, так как обычная жизнь Головина потому и «ужасная», что она не свободная, а подчиненная правилам и приемам, кем-то составленным. Его жизнь представляет собой смену «масок», которая сопутствует передвижению героя по службе. Всегда главной задачей для него было сделать жизнь «легкой, приятной <...> и приличной» (26, 73). Головин быстро учится отделять «служебное» от «человеческого», и у него это отлично выходит.

И только болезнь открывает глаза Головину. Чем серьезнее становится болезнь, тем отчетливее он начинает видеть ложь, «игру», по правилам которой была построена вся его жизнь, и все яснее понимает, что жизнь такого рода не настоящая, ложная.

Ложь Иван Ильич начинает с ужасом узнавать в каждом жесте и в каждом слове докторов, в их притворной учености и лицемерной игривости, в пустословии, в то время как он ждет четкого ответа на вопрос о жизни и смерти: «Доктор строго взглянул на него одним глазом через очки, как будто говоря: подсудимый, если вы не будете оставаться в пределах ставимых вам вопросов, я буду принужден сделать распоряжение об удалении вас из залы» (26, 84). «Как в зеркале видит он в докторах себя самого, разыгрывающего свою роль, видит маски, какие он сам натягивал на себя в зависимости от роли, которую случалось играть (чиновника особых поручений, следователя, прокурора), в зависимости от дела, которое выпадало разбирать»[3],— отмечает В. Порудоминский.

Искренняя реакция шурина, иллюстрирующая конгруэнтность вербального и невербального поведения, указывает Головину на серьезность заболевания и степень его внешних изменений: «Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтоб ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все» (26, 89). Жест «открытый рот» обозначает большую степень удивления, а точнее изумление и потрясение, что подтверждено и словами: «— Что переменился? / — Да... есть перемена» (26, 89).

Семья умирающего Ивана Ильича, оставляя его, направляется в театр, где выступает знаменитая Сара Бернар. Часть повести, повествующая о том, как семейство героя перед отъездом в театр заходит к боль-

ному Ивану Ильичу, выглядит как театральная сцена. Фразы героев, имеющие целью скрыть истинные чувства, на самом деле явственно их выдают. Головин размышляет о смерти, близкие не хотят видеть этого. Им хочется поскорее в театр, но необходимо соблюдать правила «игры». «Жизнь, превращенная в театр, в игру, не останавливается: абонированная ложа, посещение спектакля, заезжая знаменитость и разговоры о ней такая же часть игрового действа, как визиты, гардины, осетрина к обеду, прощание с умирающим...»[4]. Когда родственники оставляют комнату, Ивану Ильичу кажется, что вместе с ними ушла и ложь.

Как известно, информативны не только жесты и мимика, но и сами лица людей, так как на них оставляют свой «след» черты характера. Так, мысли и поведение мужика Герасима определяют не правила «игры», а начала истинной жизни. Если Головину неловко, неприятно, что Герасим убирает за ним нечистоты, то для буфетного мужика это обычная, серьезная обязанность жизни: «Все умирать будем. Отчего же не потрудиться?» (26, 98). Теперь распознающий ложь, Иван Ильич видит, что только Герасим не лжет, поэтому с ним приятно проводить время. Именно лицо Герасима, как уже отмечалось выше, отражающее черты характера, его человеческую сущность, наталкивает Ивана Ильича на мысль, что действительно вся его жизнь — ложь: «... глядя на сонное, добродушное, скуластое лицо Герасима, ему вдруг пришло в голову: а что как и в самом деле вся моя жизнь, сознательная жизнь, была «не то»» (26, 110). Подтверждением же этой мысли стал вид другого, противоположного Герасиму персонажа,— жены Ивана Ильича: «Ее одежда, ее сложение, выражение ее лица, звук ее голоса — все сказало ему одно: «не то. Все то, чем ты жил и живешь,— есть ложь, обман, скрывающий от тебя жизнь и смерть»» (26, 111).

Таким образом, невербальные поведенческие реакции в повести «Смерть Ивана Ильича» соотносятся с эмоционально-духовной жизнью персонажей, являясь идентификатором лжи / истины. Отдельного внимания заслуживает «игровое» поведения персонажей, предполагающее наличие мимических, жестовых и интонационных «масок» и отсылающее к проблеме конгруэнтности вербальных и невербальных элементов повествования.

---

[1] *Григорьева С. А., Григорьев Н. В., Крейдлин Г. Е.* Словарь языка русских жестов. Москва-Вена, 2001. С. 91.

[2] *Крейдлин Г. Е.* Невербальная семиотика: Язык тела и естественный язык. Москва, 2002. С. 251.

[3] *Порудоминский В. И.* Правила проигранной игры. Карты в повести «Смерть Ивана Ильича». [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://7iskusstv.com/2010/Nomer9/Porudominsky1.php (07.11.2014 г.)

[4] Там же.

М. А. МОЖАРОВА
г. Москва

Художественное творчество Л. Н. Толстого в оценке И. С. Аксакова

Творчество Толстого вызывало неизменный интерес И. С. Аксакова во все время их многолетнего знакомства и общения. Первый известный нам отзыв о сочинениях Толстого относится к «Севастополю в декабре месяце». В письме к родным 25 августа 1855 г. И. С. Аксаков писал: «Очень хорошая вещь, после которой хочется в Севастополь — и кажется, что не струсишь и храбриться не станешь. Какой тонкий и в то же время теплый анализ в сочинениях этого Толстого»[1]. Столь же занимает И. С. Аксакова и мысль о самом авторе: «Скажите мне, пожалуйста,— пишет он отцу в феврале 1856 г.,— как поняли Вы графа Л. Толстого? Он меня очень интересует, и мне бы хотелось с ним познакомиться»[2]. Семья Аксаковых, жившая в Москве, познакомилась с Толстым в январе 1856 г., а И. С. Аксаков встретился со Львом Николаевичем в Петербурге 7 мая того же года.

Толстого необыкновенно притягивал гостеприимный дом Аксаковых. Вероятно, писатель чувствовал себя у них так же, как лишенный семейного уюта Константин Левин в доме Щербацких. Но только этим, разумеется, нельзя объяснить желание Толстого встречаться с Аксаковыми. Обращаясь в одном из писем к К. С. Аксакову, Толстой признается, что ему «больше всего нужно, полезно» приезжать к ним в дом и при этом просит позволения присылать на суд то, что выйдет из-под его пера (60, 292).

О содержании литературных бесед в доме Аксаковых можно судить по немногочисленным упоминаниям о них в дневнике Толстого и в переписке современников. Но более полное, хотя и не исчерпывающее, представление о них можно составить по статье К. С. Аксакова «Обозрение современной литературы», опубликованной в 1857 г. в «Русской беседе»[3]. Учитывая, что братья Аксаковы были единодушны в своих литературно-эстетических воззрениях, можно считать вы-

сказанные Константином Сергеевичем суждения принадлежащими также его брату Ивану Сергеевичу.

Разбор ранних сочинений Толстого содержит в себе не только высокую оценку его дарования, но и отличается строгостью подхода. Как черту положительную К. С. Аксаков отмечает то, что «анализ гр. Толстого бодр и неумолим», но при этом критик предостерегает его от «нарушения общей меры жизни», которая и составляет «действительную правду». Указывая, что Толстой «часто подмечает мелочи, которые не стоят внимания», К. С. Аксаков сравнивает его анализ с микроскопом. Следствием такого анализа становится то, что «мелочи душевного мира» предстают «в ложном виде, ибо в *несоразмерной* величине»[4].

Заметим, что К. С. Аксаков был не единственным критиком, отметившим эту особенность художественной манеры Толстого. А. В. Дружинин, например, находил у Толстого «поползновение к чрезмерной тонкости анализа, которая может разрастись в большой недостаток»[5]. Но в отличие от Дружинина Аксаковы заботились не только и не столько о внешней безупречности стиля начинающего писателя, сколько, по точному замечанию В. А. Кошелева, об его «общем нравственном направлении»[6].

По мнению К. С. Аксакова, опасность такого рода анализа для писателя заключается в том, что «ощущениям минутным, проходящим по душе как дым», он может придать «состоятельность, которой они не имеют». И самое главное — «устремленный тревожно взор в самого себя часто видит призраки и искажает свою собственную душу»[7]. К. С. Аксаков дает совет Толстому: «Надо меньше заниматься собою, обратиться к Божьему миру, яркому и светлому, думать о братьях и любить их,— и тогда, не теряя самосознания, станешь и себя видеть и чувствовать в настоящей мере и настоящем свете». Завершил критик свои рассуждения о Толстом так: «Талант его очевиден, и мы надеемся, что он освободится от этой мелочности, и можем сказать, микроскопичности взгляда, и талант его окрепнет и созреет»[8].

Чтобы представить, насколько эти суждения могли быть авторитетны для Толстого, нужно вспомнить, что из всего семейства Аксаковых Константина Толстой выделял особо. Через много лет, в 1894 г., Толстой говорил о нем: «Константин из них был самым интересным. Иван был талантливее, но Константин был чистая, благородная натура»[9]. Ранняя кончина Константина Аксакова прервала общение, которое Толстой, несомненно, продолжал бы считать полезным для себя. А вот Ивану Аксакову, прожившему долгую жизнь, суждено было испытать на себе все притяжения и отталкивания, которые отличали общение Толстого с соратниками по литературному цеху.

Главное «разочарование» Аксаковых в Толстом состояло в том, что после кончины Н. В. Гоголя они не видели ни в одном из совре-

менных писателей желанного для них соединения мировоззренческой традиционности с художественным талантом. Стремление это было настолько сильным, что порой приводило к определенной филологической глухоте. Так, И. С. Аксаков увидел ожидаемого им «положительного писателя» в Надежде Степановне Соханской (Кохановской). Толстой же отозвался о ее творчестве нелицеприятно: «...тут есть размах и смелость редкая и дорогая в наше время, но зато, увы! нет чувства меры, и не художник» (60, 291).

Неизменно следивший за творчеством Толстого и болевший за него душой Иван Аксаков радовался любому проявлению того «настоящего света», о котором писал его брат Константин. Прочитав в «Русском вестнике» (1876, кн. 2) начальные главы (I–XV) четвертой части «Анны Карениной», И. С. Аксаков делился своим впечатлением с Ю. Ф. Самариным: «В февральской части есть места превосходные, выходящие вон из ряду обычных его достоинств. В его реализме есть способность воспроизводить не только внешнее, но даже некоторые движения души высшего порядка, по самой натуре своей, по-видимому, доступные описанию, субъективному ощущению, но не объективному воспроизведению в их духовной реальности. Каренин прощает жену, смиряется до того, что постигает истину и блаженство смирения, выраженного словами Евангелия о ланите (ударяет одну, подставь и другую). Вот именно христианское прощение и смирение воспроизведены им так реально, им дана жизненная плоть в такой силе, что читатель не только воспринимает их понятием, но переживает эти [движения] явления в своей собственной душе в равной мере»[10].

Но и в романе «Анна Каренина» И. С. Аксаков, оставаясь верным своим принципам, увидел примеры того «опасного анализа», который подвергался критике в ранних произведениях Толстого. В письме к Н. Н. Страхову от 24 октября 1884 г. И. С. Аксаков изложил свой взгляд на Толстого-художника: «Первое: у него нет художественной перспективы, нет уменья справляться с своим громадным талантом. <...> Оттого чтение его подряд зараз утомительно. <...> Другое. Толстой при всем своем реализме ужасно субъективен. Его творчество не есть творчество эпическое, спокойное, <...> где *автора* не видать, где автор будто не свое рассказывает, а передает то, что видел или слышал, а сам тут как бы ни при чем. Толстой же сам своим лицом стоит при каждом выдвигаемом им лице, постоянно около него возится. Вы видите руку, которая поворачивает Вам фигуру направо и налево, Вы слышите авторский голос, который постоянно толкует Вам всякое движение лица, постоянно анализирует его. Пусть этот анализ глубок до поразительности, но я, читая Толстого, постоянно отмахиваюсь от автора. Он мне мешает»[11].

В 1885 г. И. С. Аксаков в письме к Н. Н. Страхову вновь вернулся к этой теме: «...никто более меня не ценит таланта Толстого и не вос-

хищается им, хотя в то же время я нахожу, что у него *слишком много таланта* и относительно недостает *мастерства*. У него что-то вроде гипертрофии таланта, элефантизм, которым он и владеть не всегда умеет; оттого у него нет ни перспективы, ни планов: все на первом плане, потому что все у него *одинаково реально* и *живо*, чего ведь не существует ни для нашего глаза, ни слуха»[12]. По словам И. С. Аксакова, «каторга была бы — видеть отдаленное, фон, обстановку *в той же* отчетливости, как близкое! А у Толстого уж такой резец: чего ни коснется, так и режет вам глаз и слух своею жизненностью и реальностью, подчас вовсе ненужною; нет пощады ни для каких *деталей*»[13]. В этом отзыве Ивана Аксакова также прослеживается сходство с рассуждениями его брата Константина, что лишний раз подтверждает единство литературно-эстетических взглядов братьев Аксаковых.

Эстетические огорчения, вызванные выбором тех или иных художественных средств, не могли, конечно, сравниться с теми душевными страданиями, которые причиняли И. С. Аксакову созданные Толстым в 1880-е гг. религиозно-философские сочинения. В 1885 г. И. С. Аксаков писал Н. П. Гилярову-Платонову: «Жалко становится бедного Льва Толстого, попавшего в логические тиски». Беспокоил И. С. Аксакова и общественный резонанс, вызываемый этими произведениями: «...ведь он продолжает действовать около себя и сбивает с толку»[14].

Отношение И. С. Аксакова к трактату «В чем моя вера?», называемому им «Новым Евангелием», было высказано в письме к Н. Н. Страхову в 1885 г.: «Боже меня сохрани заподозривать искренность внутреннего душевного движения в Толстом. Не только признаю я эту искренность, но и отношусь к ней с великим уважением, придаю его религиозному стремлению и исканию великое общественно-историческое значение: в нем сказывается свойство великого *русского* художника». Важное добавление к этому высказыванию вполне разъясняет позицию И. С. Аксакова: «...вопрос об уважении, о признании искренности надо оставить в стороне и не припутывать его к оценке самого содержания проповеди...»[15].

Примечательно, что далее следовали листы письма, которые И. С. Аксаков уничтожил. Содержание их неизвестно. И. С. Аксаков сообщает только, что во второй половине письма он «очень сильно нападал на Евангелие Толстого и на самого автора». Отказался же включать в окончательный текст письма эти рассуждения не потому, что изменил свое мнение о самом «Изложении Евангелия», но потому, что ему стало ясно, что это лишь «один из этапов» толстовского «странствия к Истине» и что «есть странные заблуждения, которые угоднее Богу бесстрастного обладания правдой»[16].

Что же послужило причиной такой кардинальной редактуры письма? И. С. Аксаков сам объясняет это: «Не успел я письмо докончить,

как прочел новые, только что вышедшие из печати два рассказ Толстого, и так они, по-моему, хороши <...>». Речь идет о рассказах «Где любовь, там и Бог» и «Упустишь огонь — не потушишь», вышедших в издательстве «Посредник». «Вот *такая* проповедь — его дело»[17], — восклицает И. С. Аксаков. В талантливом художественном воплощении Евангельских истин И. С. Аксаков увидел возможность для Толстого избавиться от мучивших его противоречий: «Если Толстой от формы дидактической возвратился к форме художественной, то можно лишь благословить процесс его внутреннего перевоспитания»[18].

Отголосок этих рассуждений И. С. Аксакова прозвучал в строках письма Н. Н. Страхова к Толстому (начало июля 1885 г.): «Сегодня видел я Аксакова <...> он с восхищением отзывался о Ваших 2-х новых рассказах, говорил, что приходится простить Вам Ваши еретичества»[19].

За несколько лет до этих писем, в 1881 г., в газете «Русь» И. С. Аксаков высказался о рассказе «Чем люди живы»: «Какая прелесть — этот рассказ графа Л. Н. Толстого <...>. Что за эпическая простота, какой художественный реализм при самом идеалистическом содержании! <...> Художник-реалист не погиб в нем, но только стал художником внутренно просветленным, для которого освятилось искусство, раскрылся целый новый мир художественного творчества и нравственного служения»[20].

Необходимо отметить, что это раскрытие «целого нового мира» И. С. Аксаков связывал с толстовской манерой художественного письма, представленной в народных рассказах. Примечательно, что и другой строгий ценитель творчества Толстого — К. Н. Леонтьев, который, как и Аксаковы, полагал, что «внешние приемы» имеют «великое внутреннее значение», — провел ту же разграничительную линию, отметив новый этап художественных и религиозных исканий писателя. В 1890 г. К. Н. Леонтьев писал, что «в позднейшей деятельности графа Толстого мы имеем право различать: его *моральную проповедь* от его новых *мелких рассказов*; его несчастную попытку «исправить» христианство и заменить *потребности личной веры обязанностями практической этики* от его счастливой мысли изменить совершенно *манеру* повествований своих»[21].

Заметку о рассказе «Чем люди живы» И. С. Аксаков завершил словами, обращенными не только к читателям, но, очевидно, и к самому автору: «Гр. Толстой может успокоиться: его художественная деятельность вполне благотворна, — пусть только он сам не хоронит в себе Божьего дара»[22]. Звучащие как напутствие слова эти ясно выражают позицию И. С. Аксакова в старом споре, обретшем в нынешнее время особое звучание.

---

[1] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: В 3 т. М., 2004. Т. 2. С. 371.

[2] Там же. С. 444.

[3] Русская беседа. 1857. Т. 1. Кн. 5. Обозрения. С. 1–39.

[4] *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. М., 1982. С. 234.

[5] Л. Н. Толстой. Переписка с русскими писателями: В 2 т. М., 1978. Т. 1. С. 267.

[6] *Кошелев В. А.* Л. Н. Толстой и Аксаковы // Яснополянский сборник 1984. Тула, 1984. С. 149.

[7] *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. С. 234–235.

[8] Там же. С. 235.

[9] Дневник В. Ф. Лазурского // Литературное наследство. Т. 37–38. М, 1939. С. 480.

[10] Лев Толстой в неизданной переписке и воспоминаниях / Публ. Н. Розенблюма // Русская литература. 1960. № 4. С. 155.

[11] Там же. С. 156.

[12] И. С. Аксаков о Льве Толстом. Неопубликованное письмо Н. Н. Страхову / Публ. А. Осповата // Литературная учеба. 1980. № 4. С. 202.

[13] Там же. С. 202.

[14] Иван Сергеевич Аксаков в его письмах: В 3 т. Т. 3. С. 448.

[15] И. С. Аксаков о Льве Толстом. Неопубликованное письмо Н. Н. Страхову / Публ. А. Осповата // Литературная учеба. 1980. № 4. С. 202.

[16] Там же. С. 203.

[17] Там же. С. 202.

[18] Там же. С. 203.

[19] Л. Н. Толстой и Н. Н. Страхов. Полное собрание переписки: В 2 т. Оттава, 2003. Т. 2. С. 686.

[20] *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. С. 281.

[21] *Леонтьев К. Н.* О романах гр. Л. Н. Толстого. Анализ, стиль и веяние (Критический этюд). М., 1911. С. 16.

[22] *Аксаков К. С., Аксаков И. С.* Литературная критика. С. 281.

В. А. ЛЕЩЕВА
г. Москва

Притча как способ выражения авторского начала в трактате Л. Н. Толстого «В чем моя вера?»

Тяжелый духовный кризис, настигший Л. Н. Толстого в 1870-х годах, привел его к существенному перевороту в миросозерцании в целом. Его последствием стало приобретение религиозного взгляда на мир и потребность в проповеди открывшейся истины.

В то время Толстому казалось, что он нашел ответы на мучившие его вопросы, и отныне смысл жизни он видел в разрыве с идеологией дворянского сословия, переходе на сторону патриархального крестьянства.

Период конца 1870–1880-х гг. можно считать временем создания основных религиозно-философских трактатов. Впервые Н. Н. Гусевым, биографом Толстого, была высказана мысль о возможности их объединения в своеобразную тетралогию, раскрывающую основы нового жизнепонимания писателя. Им были выделены «Исповедь» (1879–1882 гг.), «Исследование догматического богословия» (1879–1880 гг.), «Так что же нам делать?» (1882–1886 гг.) и «В чем моя вера?» (1883–1884 гг.), а дальнейшие произведения Толстого, по его словам, «представляли собой развитие и углубление тех положений, которые были изложены в этих четырех трудах»[1].

Как мы полагаем, наиболее полно толстовское вероучение, «толстовство», изложено в трактате «В чем моя вера?», написанном приблизительно в одно время с «Исповедью», произведением, повествующем о нелегком пути обретения потерянного смысла жизни и понимания ее предназначения. Естественно, что два эти труда являются взаимодополняющими, идеи, только намеченные в «Исповеди», в трактате находят свое логическое развитие и подтверждение.

Из истории создания этого религиозно-этического сочинения известно, что во второй половине декабря 1882 г. или в первой половине января 1883 г. Толстой получил письмо от М. А. Энгельгардта, в котором его корреспондент интересовался, «как теперь добиться евангельского учения? что делать?»[2]. Во встречном письме Л. Н. Толстой дал развернутый ответ, в котором изложил личное понимание христиан-

ства, а также описал свое отношение к государству, Церкви, семье и им подобным социальным институтам. Письмо не было отправлено из-за слишком откровенного, по мнению автора, стиля изложения, но послужило основой для трактата «В чем моя вера?».

Яркой особенностью произведения можно считать наличие в нем достаточно большого количества разнообразных притч, используемых писателем, в частности, для наглядной иллюстрации своих убеждений. Таким образом, притча здесь превратилась во вставную конструкцию, органично входящую в состав трактата и во многом определяющую особенности его жанра.

Притча — жанр древний, получивший значительное распространение во времена средневековья в европейской и русской литературе. Преимущественно это было связано с колоссальной ролью Церкви в развитии культуры и искусства того времени.

Опираясь на определение, данное Н. И. Прокофьевым в статье «Древнерусские притчи и их место в жанровой системе литературы русского средневековья», установим, что «притча — это малый повествовательный жанр, в котором абстрагированное обобщение носит назидательный характер и утверждает моральное или религиозное наставление»[3]. Все построение притчи направлено на раскрытие главной и, зачастую, единственной мысли повествования. Благодаря данной особенности текст притчи исключительно выразителен и красочен. Ей присущ аллегоризм, отличающий ее от других средневековых символических жанров: видений, чудес, знамений.

В трактат «В чем моя вера?» входит одиннадцать притч, классических по своим жанровым характеристикам. Они обладают развернутым сюжетом с религиозно-нравственным содержанием. Непременным компонентом также считается аллегория.

Итак, в VII главе Толстой приводит притчу о постоялом дворе, на котором люди находят все, что нужно для безбедной и беззаботной жизни. Каждый думает только о себе, о своем насыщении, не обращая при этом внимания на нужды остальных. Повсюду царит хаос, люди спорят друг с другом за право обладания элементарными материальными благами. Одни уходят, на их место приходят другие, но ссоры не прекращаются. Внезапно появляется тот, кого они назовут учителем, который предлагает обратить внимание на то, как все разумно устроено, перестать враждовать и начать жить в мире, помогая ближнему. Небольшая группка людей услышала его и стала жить по этим заповедям, но большинство осталось глухо к его совету. Наконец, пришло время, когда все вняли словам учителя, более того, признали, что его устами говорил сам Бог; в Учителе увидели Бога. Казалось бы, на дворе должен был наступить Золотой век, но неразбериха поглотила все. Автор поясняет, что слова Учителя были поняты неправильно, превратно: люди решили, что «этот *двор постоялый* и что не стоит ста-

раться жить в нем хорошо, а что надо только заботиться о том, как бы не прозевать ту обещанную хорошую жизнь в другом месте» (23, 384). Истинные же слова Учителя были о другом: «...ваша жизнь в этом дворе дурная, живите лучше, и ваша жизнь будет хорошая» (23, 384).

В конце притчи Толстой еще раз разъясняет как и ее смысл, так и смысл обширных рассуждений, предшествовавших ей: «...людям надо делать свое счастье самим здесь, на том дворе, на котором они сошлись, а вообразили себе, что это двор постоялый, а там где-то будет настоящий... Никто не поможет, коли сами не помогут» (23, 384).

Очевидно, что в иносказательном смысле постоялый двор — Вселенная, Учитель — Иисус Христос, а разобщенные, глупые и жадные люди — народы, населяющие землю во все времена. В построении сюжета нет главных и второстепенных действующих лиц, нет их имен, национальностей, званий, возрастов. Четко не обозначено, где именно, на каком постоялом дворе происходят события, в какое время, то есть пространственно-временным особенностям внимания не уделено, это «усредненный» сюжет.

Развивая мысль об истинном смысле жизни, Толстой в следующей, VIII главе приводит две Евангельские притчи, как убедительные иллюстрации своих размышлений. В данном случае автором указывается первоисточник — Евангельская притча о богатом человеке (Лк, 12, 15–21) и Евангельская притча о виноградарях (Мф, 21, 33–42), причем первая притча непосредственно цитируется, а вторая дана в пересказе Толстого. Думается, что тексты из Евангелия были приведены писателем для усиления проповеднического пафоса и придания большей значимости сказанному. В целом, в трактате большое количество прямых цитат из Евангелия, которые осмысливаются Толстым по-своему.

Притча о виноградарях, напротив, открывается сжатым толстовским пояснением ее морального смысла: «Притчей о виноградарях (Мф, 21, 33–42) Христос разъясняет этот источник заблуждения людей, скрывающего от них эту истину и заставляющего их принимать призрак жизни, свою личную жизнь, за жизнь истинную» (23, 389). В финале повествования Толстой расширяет географию притчи, прямо указывая на то, что виноградари — это все люди, когда бы то ни было жившие на земле.

Третьей притчей, логически примыкающая к двум названным, является притча о хозяине и его рабах, снова представляющая собой точную цитату из Евангелия: «Мф, 25, 14–46: «Хозяин дал рабам своим каждому по части имения своего и, ничего не сказав им, оставил их одних. Одни рабы, хотя и не слыхали приказания хозяина о том, как употребить часть имения господина, поняли, что имение не их, а хозяйское, и что имение должно расти, и работали для хозяина. И рабы, которые работали для хозяина, стали участниками жизни хозяина, а неработавшие лишены того, что было дано им»» (23, 390–391). Сюжет не расшифровывается и не комментируется Толстым, весь упор делается на объяснение заложенного в притчу смысла.

Обширные размышления автора о назначении человеческой жизни, о сути христианства как религии спасения завершаются авторской притчей о путнике, заблудившемся в снежную метель. Названная притча — очередное звено в цепи доказательств, выдвинутых Толстым для подтверждения истинности своего понимания учения Христа. Художественные образы — метель, огоньки, дорога — в аллегорической форме рисуют путь самого автора к обретению веры. Так, снежная метель — символ безверия, неразберихи, брожения умов, дорога — путь, по которому идет ищущий смысла существования, под огоньками имеются в виду ложные идеалы и ценности, которые понятны и легки в исполнении, но гибельны для души.

Сразу же после авторского комментария и небольшого рассуждения о правильности выбранного пути следует еще одна притча, имеющая принципиальное отличие от всех уже упомянутых. В притче о спасении от пожара четко названо место действия — украинский город Бердичев. Не составит труда установить, что речь идет о конкретном историческом факте — в 1883 г. в Бердичеве горел деревянный цирк, в котором погибли более трехсот человек. В притче происходит слияние двух планов повествования — реального и идеального. Сцена пожара, давки и паники осложнена появлением спасителя, произносящего слова, которые можно интерпретировать двояко: «Отступите от двери, вернитесь назад; чем больше вы напираете, тем меньше надежды спасения. Вернитесь, и вы найдете выход и спасетесь» (23, 401). Толстой разъясняет, что сказанное применимо и для спасения от пожара, и для спасения самой души. Образ Спасителя, таким образом, одновременно является и образом Иисуса Христа. В развитии небольшого действия (пожар — спасение от пожара себя и окружающих) принимает участие как бы сам автор, повествование ведется от первого лица, что необходимо Толстому для мощного усиления эффекта проповеди открывшихся истин.

Основополагающий вопрос о вере и безверии в религии Толстой категорически разрешает, сопровождая свои рассуждения притчей о детях, упавших с корабля и не верящих в свою погибель. Авторская притча, иллюстрирующая мысль о непременной смерти души без истинной веры в Бога, подкреплена отсылками к Евангельским притчам, смысл которых — в том же. Толстой пишет: «притчи: о женщине, нашедшей полушку; о пастухе, нашедшем пропавшую овцу; об ужине; о блудном сыне — говорят только про это» (23, 403). Подобные переправления от одного текста к другому, сходному по значению, весьма часто встречаются в трактате. Так, лишь упоминается о притче о спице, притче о самарянине, притчах Нагорной проповеди Христа, притче о девах, ожидающих жениха, притче о Лазаре. Отмеченные притчи призваны очередной раз убедить читателя в истинности морально-нравственного замысла и содержания трактата «В чем моя вера?».

Две притчи, строго названные так самим автором, и идущие одна за другой, притча о работниках, нанятых в разное время и получивших

одинаковую награду, и притча о хозяине и работнике, пришедшем с поля, невелики по объему и гармонично дополняют друг друга. Толстой, пересказывая их, указывает первоисточник (это Евангельские притчи). Само толкование их писателем канонично и четко. Устранены какие-либо варианты разночтений. Назидательность наглядно продемонстрирована Толстым приведением определенных выводов: «...только в жизни личной и бессмысленной дорого и важно вознаграждение за работу по мере работы. Вера в вознаграждение за работу по мере работы вытекает из учения личной жизни» (23, 407). В текстах отсутствует налет таинственности, притчи просты и доходчивы, учительные сентенции, безусловно, усиливают этот эффект.

Логичным продолжением размышления о награде, получаемой за труд (не только физический, но и нравственный), является притча о насыщении пяти и семи тысяч двумя рыбами и пятью хлебами. Толстой изначально выводит тезис, подтверждение которого и представляет собой притча: «Человечество будет иметь высшее доступное ему благо на земле, когда люди не будут стараться поглотить и потребить все каждый для себя, но когда они будут делать как научил их Христос на берегу моря» (23, 431). Большее внимание уделено расшифровке сюжета, его морали. Важно отметить, что единичный пример в притче Толстого разрастается до масштабных нравственных и социальных обобщений.

В завершающей трактат части помещена притча о лодке и кормщике, которой автор в иносказательной форме пытается донести мысль о невозможности разумного человеческого существования без истинной веры, которая со временем не стала тождественна понятию Церковь: «Люди плыли в лодке и гребли, а кормщик правил. Люди вверились кормщику, и кормщик правил хорошо; но пришло время, что хорошего кормщика заменил другой, который не правил. Лодка пошла скоро и легко. Сначала люди не замечали того, что новый кормщик не правит, и только радовались тому, что лодка шла легко. Но потом, убедившись, что новый кормщик не нужен, они стали смеяться над ним — и прогнали его... без кормщика не знаешь, куда плывешь. Это самое случилось с нашим христианским обществом. Церковь не правит, и легко плыть, и мы далеко уплыли, и все успехи знаний, которыми так гордится наш XIX век, это — только то, что мы плывем без руля» (23, 442). Далее следуют пространные рассуждения о движении прогресса в неправильном направлении и призыв к рождению в новой вере, разумной и гуманной.

Язык притчи исключительно скуп на выразительные средства, лаконичен и уравновешен сложными предложениями в остальном тексте. Акцент с художественного изображения картины перенесен в область учительности.

Помимо притч в их классическом понимании, то есть небольших по объему рассказов, имеющих в своей структуре повествовательный элемент и аллегорию, при этом носящих назидательный характер,

в тексте трактата встречаются так называемые притчеобразные рассказы. Так, поясняя одно из самых известных и противоречивых положений христианства — о «непротивлении злу насилием», Толстой упоминает о недавней беседе с еврейским раввином. Тот усомнился в соблюдении христианами заповеди «если тебя ударят по левой щеке — подставь правую», тем самым натолкнув писателя на поиски истинного смысла, заложенного в ней.

Схожая функция есть и у эпизода встречи с молодым гренадером, гонявшем нищих, оправдывая свои действия казенным уставом. Примеры из жизненного опыта, порой сворачиваясь до максимально небольших размеров, тем не менее, несут огромный по объему обобщающий смысл. Повествуя о базаре возле Сухаревой башни, о нищенском быте его обитателей, Толстой называет их «истинными мучениками» (23, 417), но очевидно, что таковыми являются все люди — «от фабричного, извозчика, швеи, проститутки до богача — купца и министра и их жен» (23, 417), ведущие неестественную жизнь, далекую от заповедей Христа.

Итак, трактат «В чем моя вера?» насыщен притчами из разных источников. Здесь оказываются собственно-авторские притчи, Евангельские притчи, которые цитируются, пересказываются и лишь упоминаются, притчеобразные рассказы-эпизоды из современной автору жизни. Авторские притчи появляются лишь тогда, когда необходимо рассказать о самостоятельно пройденном пути, сделанных открытиях.

Преимущество во всех перечисленных жанровых разновидностях притчи отдано объяснению того морального смысла, который был заложен в сюжет, а не самому сюжету, то есть преобладает авторский комментарий, с разных сторон рассматривающий проблемный вопрос. При этом двучастное деление притчи сохранено.

Все притчи невелики по объему, повествование сжато, емко, преобладает ориентация на публицистичность. Некоторые притчи Толстой сам именует «притчами» (к примеру, «притча о виноградарях», «притча о хозяине и работнике»), другие называет «рассказами» («рассказ о насыщении 5 и 7 тысяч двумя рыбами и пятью хлебами»), третьи органично вводит в текст трактата, не определяя их жанровую принадлежность.

Практически во всех притчах, представляющую собой вставную форму, входящую в трактат, сохранены присущие жанру неопределенность времени и места действия, нет прикрепления к конкретным историческим именам действующих лиц и каким-либо топонимам (исключение составляет лишь притча-рассказ о пожаре в бердичевском цирке).

---

[1] *Гусев Н. Н.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1861 по 1885 год. М., 1970. С. 539.

[2] Письма Толстого и к Толстому. М., 1928. С. 308–311.

[3] *Прокофьев Н. И.* Древнерусские притчи и их место в жанровой системе литературы русского средневековья // Литература Древней Руси: Межвуз. сб. науч. тр. М.: МГПИ, 1988. С. 5.

Н. В. ВОЛОХОВА
г. Курск

Общественная деятельность Л. Н. Толстого и его публицистика периода участия в московской переписи 1882 г.

В 1882 г., в год проведения московской переписи, Толстой принял активное участие в общественной жизни столицы. После переезда осенью 1881 г. с семьей из Ясной Поляны в Москву писатель вплотную столкнулся с жизнью городской бедноты и ужаснулся ей: «Прошел месяц — самый мучительный в моей жизни...», «...городская бедность была для меня нова и непонятна. В Москве нельзя пройти улицы, чтобы не встретить нищих, и особенно нищих, не похожих на деревенских»,— признавался писатель позже в трактате «Так что же нам делать?» (25, 182). И далее: «Я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто барски накрытого стола, ни экипажей, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим голодных и униженных жителей Ляпинского дома. И не мог отделаться от мысли, что эти две вещи связаны, что одно происходит от другого» (25, 192). Он призвал «просвещенных людей» быстрее помочь жителям городских трущоб, «устранить величайшее зло разобщения».

Библиографы Толстого так документируют события жизни этого периода жизни писателя: «Работает над статьями «О переписи в Москве», об искусстве. Приступает к написанию трактата «Так что же нам делать?». 20 января. В газете «Современные известия», № 19 опубликована статья «О переписи в Москве». 23–25 января. Участвует в переписи населения Москвы. Январь — апрель. Пишет статью об искусстве в форме письма к издателю «Художественного журнала» Н. А. Александрову (осталась незавершенной). Первая декада февраля. Едет на некоторое время в Ясную Поляну; замысел трактата «Так что же нам делать?». 26 февраля — 7? марта. Вновь отправляется в Ясную Поляну с сыном Ильей. «Уехал очнуться от ужасной московской жизни»,— сообщает А. А. Толстой в письме 4 марта» (70, 286).

Почему же он посчитал нужным принять участие в этом изматывающем для пожилого человека мероприятия. Наверное, считал своим долгом привлечь своим авторитетом внимание, подчеркнуть нужность и надобность каждого горожанина принять участие в переписи. Во все времена авторитет публичного человека играл немаловажную при проведении каких-либо крупномасштабных мероприятий. Вот что сегодня говорят исследования по поводу влияния общественного авторитета. На вопрос «Как вы оцениваете уровень общественного авторитета следующих групп деятелей (работников)?», который задавался 506 экспертам, представляющим 25 регионов России, были получены любопытные, но вполне предсказуемые ответы:

	В основном высокий	**В основном низкий**	**Затрудняюсь ответить**
Писатели, поэты, художники, музыканты	43,3	40,7	16,0
Актеры театра, кино	69,0	22,1	8,9
Работники музеев, домов культуры, библиотек	21,7	68,4	9,9
Артисты эстрады	53,0	35,2	11,8
Преподаватели высших учебных заведений	29,8	49,8	20,4
Ученые	44,3	40,7	15,0
Учителя школ	14,6	74,3	11,1
Журналисты	43,5	35,2	21,3

Как видим, авторитет артистов театра, кино и эстрады значительно выше, чем у преподавателей и учителей. Где-то посередине, писатели, поэты, ученые [1].

В конце XIX в. авторитет публичных людей был тоже весьма высок, поэтому не случайно, что к крупным общественным мероприятиям привлекались знаменитости.

Толстой просил учредителей переписи назначить его счетчиком на «участок Хамовнической части, у Смоленского рынка, по проточному переулку между Береговым проездом и Никольским переулком». Для москвичей конца XIX в. эти места были известны как притон самой страшной нищеты и разврата, так называемая Ржановская крепость. Вместе с Толстым обходил ночлежников и Илья Репин. Позже под впечатлением от увиденного художник напишет картину «Московская перепись».

Накануне переписи в Москве, 20 января 1882 г., Толстой поместил в газете «Современные известия» (№ 19) статью «О переписи в Москве». **Статья** сопровождалась статьей редактора Н. П. Гилярова-Платонова, «уступившего свое обычное руководящее слово к читателю» «почетному и дорогому гостю в нашем издании, графу Льву Николаевичу Толстому»[2]. Писатель взял в редакции газеты 200 экземпляров

статьи и заказал еще 500 отдельных оттисков, чтобы раздать их счетчикам, занимавшимся переписью населения.

«Цель переписи научная. Перепись есть социологическое исследование. Цель же науки социологии — счастие людей. Наука эта и ее приемы резко отличаются от всех других наук. Особенность в том, что социологические исследования не производятся учеными по своим кабинетам, обсерваториям в лабораториям, а двумя тысячами людей из общества. Другая особенность та, что исследования других наук производятся не над живыми людьми, а здесь над живыми людьми. Третья особенность та, что цель всякой другой науки есть только знание, а здесь благо людей. Туманные пятна можно исследовать одному, а для исследования Москвы нужно 2000 людей. Цель исследования туманных пятен только та, чтобы узнать все про туманные пятна; цель исследования жителей та, чтобы вывести законы социологии и на основании этих законов учредить лучше жизнь людей. Туманным пятнам все равно — исследуют их или нет, и они ждали и еще долго готовы ждать; но жителям Москвы не все равно, особенно тем несчастным, которые составляют самый интересный предмет науки социологии. Счетчик приходит в ночлежный дом, в подвале находит умирающего от бескормицы человека и учтиво спрашивает: звание, имя, отчество, род занятия и после небольшого колебания о том, внести ли его в список как живого, записывает и проходит дальше. И так будут ходить 2000 молодых людей. Это нехорошо. Наука делает свое дело, и обществу, призванному в лице 2000 молодых людей содействовать науке, надо делать свое. Статистик, делающий вывод из цифр, может быть равнодушным к людям, но мы, счетчики, видящие этих людей и не имеющие никаких научных увлечений, не можем относиться к ним не по-человечески. Наука делает свое дело и для своих целей в далеком будущем делает дело полезное и нужное для нас. Для людей науки возможно спокойно сказать, что в 1882 году столько-то нищих, столько-то проституток, столько-то детей без призору. Она может это сказать спокойно и с гордостью, потому что знает, что утверждение этого факта ведет к тому, что уясняются законы социологии, а уяснение законов ведет к тому, что общества учреждаются лучше. Но что же, если мы, люди не науки, скажем; вы погибаете в разврате, вы умираете с голоду, вы чахнете и убиваете друг друга — так вы этим не огорчайтесь; когда вы все погибнете и еще сотни тысяч таких же, как вы, тогда, может быть, наука устроит все прекрасно. Для людей науки перепись имеет свой интерес; для нас она имеет свое, совсем другое значение. Для общества интерес и значение переписи в том, что она дает ему зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас» (25, 173).

Статья вызвала широкий резонанс: к вечеру вся Москва знала о воззвании Толстого и обсуждала его на все лады. Одним из первых

выразил свое приветствие «вдохновенному обращению Толстого к жителям Москвы, которое, несомненно, укрепит в них силу любви и гуманности», издатель «Недели» П. А. Гайдебуров. «Это не статья, а крик наболевшего сердца, которому совестно, что голодным есть нечего, а он, барин, роскошествует. <...> Здесь к ней резко отнеслись, многие насмешливо, но большинство сочувственно, хотя, конечно, как к утопии»,— отмечает С. Венгеров, предлагавший Толстому напечатать статью в его журнале «Устои»»[3]. Откликнулся журнал «Вестник Европы»: в общественной хронике напечатали «Речь графа Л. Н. Толстого по поводу московской переписи» (1882, № III), сравнив ее с речью В. Соловьева в годовщину смерти Достоевского. Журнал «Дело» (1882, № 3) поместил статью историка М. П. Драгоманова «Народ и общество», в которой речь Толстого была названа «знаменательной»»[4].

Писатель предлагал воспользоваться переписью для того, чтобы узнать истинные масштабы нищеты в Москве, помочь нуждающимся и этим, по возможности, оздоровить общество. «Будем записывать, считать, но не будем забывать, что если нам встретится человек раздетый и голодный, то помочь ему важнее всех возможных исследований, открытий всех возможных наук; что если был бы вопрос в том, заняться ли старухой, которая второй день не ела, или погубить всю работу переписи, то пропадай вся перепись, только бы накормить старуху! Длиннее, труднее будет перепись, но в бедных кварталах мы не можем проходить людей, только переписывая их, не заботясь о них и не пытаясь, по мере сил и нравственной чуткости нашей, помочь им. Это во-первых. Во-вторых, вот что надо сделать: мы все, не принимающие участия в переписи, давайте не сердиться на то, что нас тревожат; поймемте, что эта перепись очень полезна для нас; что если это не лечение, то это, по крайней мере, попытка исследования болезни, за которую нам надо быть благодарными и по случаю которой нам надо хоть немножко постараться оздоровить себя. Давайте мы все, переписываемые, постараемся воспользоваться тем единственным случаем в 10 лет немножко пообчиститься; давайте не противодействовать, а помогать переписи, и помогать ей именно в том смысле, чтобы она не имела один жестокий характер обследования безнадежного больного, а имела характер лечения в выздоровления. Ведь случай единственный: 80 человек энергичных, образованных людей, имея под рукой 2000 человек таких же молодых людей, обходят всю Москву и не оставят ни одного человека в Москве, не войдя с ним в личные сношения. Все язвы общества, язвы нищеты, разврата, невежества — все будут обнажены. Что ж, неужели успокоиться на этом? Счетчики пройдут по Москве, безразлично занесут в списки с жиру бесящихся, довольных и спокойных, погибающих и погибших, и завеса закроется. Счетчики — наши братья, сыновья-юноши увидят все это, скажут: «Да, очень безобразна наша жизнь и неизлечима»,— и с этим со-

знанием будут вместе с нами продолжать жить, ожидая исправления зла от той или другой внешней силы»,— писал он (25,175–176).

В своей статье он призывает к активным действиям: «Я предлагаю вот что: 1) всем нам, руководителям и счетчикам, к делу переписи присоединить дело помощи — работы для добра тех людей, по нашему понятию требующих помощи, которые встретятся нам; 2) всем нам, руководителям и счетчикам, не по назначению комитета Думы, а по назначению своего сердца остаться на своих местах, т.е. в отношениях к жителям, нуждающимся в помощи, и по, окончании дела переписи продолжать дало помощи. Если я сумел высказать хоть немного, то, что я чувствую, то, я уверен, что только невозможность заставит руководителей и счетчиков бросить это дело и что на место отставших от этого, дела, явятся другие; 3) всем, тем жителям Москвы, чувствующим себя способными работать для нуждающихся, присоединиться к участкам и, по указаниям! счетчиков, и руководителей, начать деятельность теперь же и потом продолжать ее; 4) всем тем, которые по старости, слабости или другим причинам не могут сама работать среди нуждающихся, поручать работу своим близким, молодым, сильным, охочим» (25, 179).

Если говорить не только о личности и деятельности графа Толстого, то, можно сказать, что многие члены семьи Толстого активно занимались культурно-просветительской деятельностью: борьба за здоровый образ жизни, против алкоголизма и табакокурения, проблемы народного образования и пр. Эти вопросы остаются мало разработанной темой. В диссертационном исследовании Е. П. Гриценко «Социокультурная деятельность семьи Л. Н. Толстого (вторая пол. 19 в. —20 в.) есть обобщенные материалы, раскрывающие некоторые аспекты активной социальной деятельности семьи Толстого[5].

Как раз после его участия в московской переписи и после анализа реально увиденной картины жизни бедноты Москвы конца века писатель создает первое негосударственное общество «Согласие против пьянства». В качестве методов антиалкогольной пропаганды особое значение он придавал разъяснительным беседам с простыми людьми и распространению среди них специальной литературы о вреде пьянства. Также он неоднократно обращался к правительству по поводу запрета выпуска винной продукции, вел переписку с российскими объединениями трезвости, известны его публичные выступления в связи с созывом в России антиалкогольного съезда. Об этой деятельности писателя свидетельствует работа В. Бонч-Бруевича «Итоги «Согласия против пьянства»»[6] и более позднее исследование Т. Н. Архангельской[7].

Сам же писатель получил в результате переписи ответ на давно волновавшие его вопросы. Можно сказать, нашел выход из своих духовных исканий. «Так вот какие ответы нашел я для себя на вопрос, что нам делать. Первое: не лгать перед самим собой, как бы ни далек был

мой путь жизни от того истинного пути, который открывает мне разум. Второе: отречься от сознания своей правоты, своих преимуществ, особенностей перед другими людьми и признать себя виноватым. Третье: исполнять тот вечный, несомненный закон человека — трудом всего существа своего, не стыдясь никакого труда, бороться с природою для поддержания жизни своей и других людей»,— пишет Толстой в своем знаменитом трактате (25, 392). Многие произведения писателя несут настолько достоверную информацию, что могут служить хроникой жизни. Он говорит много истинного о социальных проблемах своего времени, выкладывая это на страницах своих романов. Например, проблемы семьи, деторождения неоднократно находятся в фокусе его внимания на страницах «Анны Карениной», вопросы смерти — в «Войне и мире», «Смерти Ивана Ильича»[8], вопросы военной службы — в «Хаджи-Мурате», проблема аборта — в романе «Воскресение».

Художественная литература описывает события и оказывается во многом достовернее исторического документа. Литература — это жизнеописание. Толстой, Успенский, Гиляровский — художники, которые хорошо знали жизнь и их произведения воспроизводят правдивую картину. А сегодняшнюю жизнь кто из современных писателей готов так же достоверно описать? Нам кажется, современным литераторам вредит излишняя тенденциозность. Очень важно отразить жизнь так, как она есть, даже если тебе что-то не нравится или ты думаешь об этом по-другому. Толстой не ставил целью писать документы, его произведения стали документами.

---

[1] Результаты выборочного социологического опроса экспертов РФ на тему «Духовная культура современного российского общества: состояние и тенденции формирования»// Духовная культура современного российского общества: Мнения населения и экспертов: Социология власти: Вестник Социологического центра РАГС № 1. 2005. М., 2005. С. 37.

[2] *Лев Толстой и русская печать (1902–1903 гг.) / Сост., предисл. И. В. Петровицкая. М., 2003. Воспоминания сотрудника газеты С. К. Эфрона // Русский листок. 1902. № 281, 13 октября.* С. 213.

[3] *Там же.*

[4] *Там же.*

[5] Электронный ресурс: http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-deyatelnost-semi-ln-tolstogo-vtoraya-polovina-xix-xx.

[6] *Бонч-Бруевич В.* Итоги «Согласия против пьянства» // Известия Толстовского Музея в Петербурге. М., Пб.: Изд. Толстовского объединения в Петербурге и в Москве, 1911. № 3–5. С. 25–30.

[7] *Архангельская Т. Н.* Предисл. Л. Н. Толстой против пьянства // Толстой Л. Н. Пора опомниться! Тула: Приокское кн. изд-во, 1989. С. 3–35.

[8] *Волохова Н. В.* Проблема смысла жизни и смерти в антропологии Л. Н. Толстого // Известия Юго-Западного государственного университета. 2013. № 2 (47). Ч. 1. С. 105–112.

И. И. СИЗОВА
г. Москва

Современники Л. Н. Толстого о комедии «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» (по материалам фонда И. И. Горбунова-Посадова в РГАЛИ)

В середине мая 1886 г. (с 9-го по 15-е) комедия Л. Н. Толстого «Первый винокур, или Как чертенок краюшку заслужил» была опубликована в Москве (издательство склада «Посредник», типография И. Д. Сытина) в количестве двадцати трех тысяч экземпляров[1]. Остов сюжета комедии незамысловат: молодой неопытный чертенок (первый винокур)»командируется» по делам своей службы из ада на землю, становится батраком мужика и учит его варить водку.

Комедию «Первый винокур», как и драму «Власть тьмы, или «Коготок увяз, всей птичке пропасть»», автор предназначил для народных театров. Актер П. А. Денисенко, стоявший у истоков Василеостровского для рабочих театра, надеялся открыть сцену этого театра в сентябре 1886 г. «Первым винокуром» Толстого. «Как только вышел «Винокур»,— отзывался он о «превосходнейшей вещи» 1 июля,— я тотчас хотел Вам писать о нем, но воздержался, мой восторг Вы могли бы счесть за лесть, а этого не надо» (*ОР ГМТ*). «Пишите пьесы для театра, ах, как они нужны ему!» — явствует из другого письма, от 17 августа (*ОР ГМТ*).

«...Мне не нравится, очень уж низменно для такого таланта. И вряд ли будет иметь успех»,— отозвалась С. А. Толстая о копируемой ею пьесе 28 февраля 1886 г.[2]. «Не люблю я этих сочинений,— уточнила она позднее,— где на сцене черти и вообще все ненатуральное, выдуманное»[3]. Слова жены писателя о неуспехе будущего произведения у читателя оказались пророческими. Немногие по достоинству оценили его художественную и содержательную стороны.

Немало откликов современников Толстого, которые не занимались профессионально литературной и театральной критикой, сохранилось в архиве Ивана Ивановича Горбунова-Посадова в *РГАЛИ*. Среди мате-

риалов фонда И. И. Горбунова (№ 122) есть несколько объемных папок. В них собраны выписки из писем читателей с отзывами о книгах, вышедших в издательстве «Посредник». Сведения о комедии «Первый винокур» найдены нами среди документов, относящихся к периоду с 1885 по 1887 г. В общей сложности нами проработано по описи триста три листа большого формата, заполненных сжатым текстом с обеих сторон (ед. хр. 309 и 310). Благодарим Российский государственный архив литературы и искусства за предоставленные для нашего исследования редкие материалы.

Поступающие в «Посредник» письма, как показывают архивные данные, тщательно изучались сотрудниками склада и систематизировались по нескольким разделам: «Различные сообщения и советы»; «Общие отзывы»; «Книги из продающихся в складе «Посредник», оказавшиеся лучшими для сельского населения» и др.

Обратимся к фактам о комедии «Первый винокур». В рубрике «Общие сведения» трогательны свидетельства о распространении первых партий вышедших книжечек и народные отклики на них, полученные от учителя Нижегородской губернии Ф. Желтова:

«Больше всего нравятся читателям книги: «Чем люди живы», «Два старика» <...> «Упустишь огонь — не потушишь», «Где любовь, там и Бог» <...> «Свечка», «Три сказки», «Иван Дурак», «Первый винокур». <...> одни говорили, что нравятся эти книги им потому, что в них «описана правда», другие — что в них есть из «божественного», третьи — что их читать «хорошо и пользительно» <...> что они «очень умно написаны», «так бы все и читал», «что вон, дескать! продают разную чепуху «Еруслаиы» да «Венециалы»... срам, и читать-то зазорно; а тут жизнь-то вся как на ладони: и приятно читать, да и пользительно, да и толково, каждому полезно». От себя могу сказать об этих книгах, что они могут принести пользу в смягчении нравов и уразумении истины»[4].

Издания «Посредника» распределялись по группам в соответствии с уровнем грамотности народного читателя. К первой группе отнесли книжечки «для хорошо грамотных и развитых». Для «всех» — т.е. и грамотного и безграмотного посетителя сельских школ были «полезны» все книжечки «Посредника», автором которых был Лев Толстой: «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Два старика», «Свечка», «Чем люди живы», сборник «Три сказки», «Первый винокур», «Сказка об Иване Дураке»[5].

Показательно, что И. С. Тургенев, Д. В. Григорович и Ф. М. Достоевский оказались «недоступны» простому читателю «по смыслу содержания». Такие сведения сообщил в «Посредник» учитель А. Рутцен из Курской губернии[6].

В работе «Сюжет о первом винокуре в творчестве Л. Н. Толстого» мы писали о том, что рассказ и комедия Толстого о первом винокуре имеют не один источник, книгу народных легенд А. Н. Афанасьева, как по тра-

диции это принято считать. Автор опирался также на белорусский рассказ «Недобрая выдумка» из собрания И. П. Боричевского и «древнее сказание» «Первый винокур» А. Ф. Погоского[7]. С рассказом А. Ф. Погоского связано появление в «балаганной пьесе» заглавия, названия владыки ада («старшой»), картины преисподней, действующих лиц второго действия. Комедию Л. Н. Толстого и рассказ А. Ф. Погоского объединяют также общая смысловая тональность в освещении писателями образа главного героя, единство изобразительных деталей в раскрытии ими темы приготовления водки, близкая авторская позиция в поучении.

Близость комедии Льва Толстого и рассказа А. Ф. Погоского удостоверяют архивные материалы из фонда И. И. Горбунова-Посадова в *РГАЛИ*. Вот один из них, письмо учителя Я. Харниевича (село Шатиловка):

««Первый винокур» Погоского была одною из самых любимых книжек и детей и взрослых в той серии народных книг, какою пользовались до издания «Посредника». В изложении Л<ьва> Н<иколаеви>ча интерес к ней, без сомнения, еще возрастет — и вместе с тем познакомит с формою комедии»[8].

Однако, как выяснилось на примере комедии Толстого «Первый винокур», крестьянам сложно было воспринимать на слух и в чтении драматическую форму. Жанр короткого рассказа (привычной «сказки»), которому Толстой все же отдавал предпочтение при создании народной литературы, оказался более доступен и понятен народу. Ценно в этом отношении письмо педагога N, учительствующего в Нижнем Новгороде: «...Всем не нравилось, что («мужик, работник, мужик, работник») разрывается сказка действующими лицами, поэтому эта же самая сказка им больше нравится под заглавием «Как чертенок кр<аюшку> выкупал» (в 3-х сказках). Вообще, как видится, смысл им не понятен, а просто смотрят на это, как на сказку, и не больше. «Смешная», дескать»[9].

Письмо учительницы Н. Данилевской из Новгородской губернии подробно передает отклики на комедию Толстого народа и педагогического коллектива одной из сельских школ. Не осталась без внимания слушателей критика Толстым своего круга, транслируемая в комедии обликом боярского беса, а также, с точки зрения «грамотных» читателей комедии, некоторая идеализация Толстым народа, присущая ему со времен «Войны и мира» (образ Платона Каратаева).

«Ваш Винокур поднял такую полемику, что просто смех. Читали мы его в полном сборе, за чайным столом. Слова: «Унес, так унес. Пускай ест на здоровье!» послужили первой ракетой. Что это за издания? Где Толстой видел таких мужиков? Читать не стоит такого вздора! Кроткий мужик! Да он так выругает вора, что только держись. Однако нашлись такие, что посоветовали не торопиться суждением и читать дальше.

Слова: «Покажи боярину шапку соболью, да вотчину, прямо его и обротал и веди, куда хочешь». Эти слова так подействовали, что чи-

тающий вскочил с места и гордо закричал: «Да, я дворянин и горжусь этим, так и скажите это вашему Толстому!» Последние слова были обращены ко мне, и я только одному порадовалась, что мой Толстой не был тут; плохо бы пришлось его сиятельству при подобных обстоятельствах. Я не стерпела и заметила горячившемуся, что в нем заговорила дворянская кровь. Вслед за моими словами поднялась такая буря, что я решила в душе молчать во время чтения, что бы ни говорилось.

На 19 стр<анице> сцена пробы водки понравилась и, как мне кажется, понравилась именно потому, что тут дело склонилось к тому, что мужик совращается, следовательно, в последующей сцене будет безобразничать. Далее все шло хорошо, т.е. читалось спокойно, только слова «Звериная кровь в нем всегда была, только ходу ей не было» вызвали опять возражения. Припомнили случай в соседней деревне, где дочь, замужняя женщина, здоровая и молодая, замучила свою старую мать работой, едва прокармливая старуху, которая не вынесла непосильных трудов, простудилась и умерла. На поминках внук покойницы, на замечание одной женщины, что и он виноват в смерти бабушки, с нахальством заметил: «Да ведь она *наш* хлеб ела, так не лежать же ей на печи» (мальчику 10 лет). Подобных этому случаев много, заговорили со всех сторон, и мыслимо ли, чтобы из подобного мальчишки вышел человек с такими словами «Унес, так унес...» Идея Толстого, что мужик в пьяном виде лисица, волк и свинья, по их мнению, не верна; в *грубом виде* он также и лисица, и волк, и свинья, и разве только у *него* там идеальные мужики, а у нас в Новгородской губ<ернии> такого кроткого мужика под колпак посадили. Дам Винокура почитать в деревне и тогда опять напишу»[10].

При формировании фантастических образов комедии писатель нашел оригинальное поэтическое решение. Как и образы крестьян, фантастические образы лишены у Толстого общечеловеческого синтеза и не представляют собой широкие художественные типы. Их узко-сословные и социальные подтипы в комедии — «боярский», «купеческий», «поповский», «монашеский», «судейский», «бабий», «приказный» и «мужицкий» бесы — максимально приближены к российским реалиям. Иронична перекличка «чудесного» мира с современным Толстому общественным укладом в образе «старшого», или «главного черта», восседающего на «троне» (второе действие и вступительная ремарка к нему). Используя этот прием, автор придал своей народной пьесе острое сатирическое звучание (царь, сословия и чины в российском обществе).

Толстой решительно пересмотрел традиционную схему истолкования аллегорической образности фольклором. «Выдумка» «высиживать» хлебное вино приписывается в народных стихах и легендах, как известно, нечистой силе [11]. Но писатель вывел из этой «выдумки» в своей «волшебной» комедии иное нравоучение. В том, что мужик стал пить, виноват не чертенок, а сам мужик. Толстой доводил до чи-

тателя очевидную истину: каждый человек должен уметь принимать собственные решения и нести за них ответственность.

Тем не менее, фантастические образы комедии долгое время оставались объектом жесткой критики Толстого как публицистами-профессионалами, так и «рядовыми» читателями. И те и другие полагали, что комедия Толстого наносит очевидный вред детям и народу. При этом совершенно игнорировалось бытование аллегорической традиции в народных стихах и легендах, а также в их литературных обработках (А. Ф. Погоский). Более всего выражали свое несогласие с Толстым в этом аспекте педагоги народных школ, в редких случаях учителя выводили свои суждения из откликов крестьян.

«...Все издания ваши бесподобно хороши. Только «Первого винокура» Толстого дети боятся. «Все о чертях», говорят, «страшно»»[12] (учитель Живин, поселение Рубашевское Воронежской области). «Сказанное об «Иване Дураке» и «Свечке» относится также и к «Первому винокуру» (не понимается мысль)»[13] (учитель Ерохин из Саратова, сотрудник «Саратовского листка», общественно-политической и литературной газеты, издававшейся под этим названием ежедневно с 1880 г. П. О. Лебедевым и И. П. Горизонтовым). «Хотя очень странно, но все-таки двоим не понравилось, потому что «тут черти». Один выразился так: «Басня это». Другой: «Хороша», «Смешно, как чертенок водку выдумал»»[14].

«Считаю долгом заметить, что общий недостаток ваших изданий,— наставлял «Посредник» учитель А. Шилов,— состоит в излишнем введении в них мистического элемента; ангелы и черти являются чуть ли не в каждом рассказе. Народу такие произведения не особенно нравятся, а кроме того они поддерживают вредный предрассудок о непосредственном участии сверхъестественных сил в житейских делах, что, безусловно, нежелательно»[15]. А. Шилов находил «веру в домовых, леших и русалок» пережитком, который «поддерживается беспомощностью народа в борьбе с силами природы»; «лучшим противовесом» такого рода «искривления мысли», с его точки зрения, являлось «проведение в народное сознание идеи, что благосостояние человека зависит от него самого, его умственных, нравственных и физических свойств, а равно и от доброй воли, на развитие которой может влиять добрый пример и в жизни и в книге»[16].

«Чем реже будут появляться черти в ваших изданиях,— заключал А. Шилов,— тем лучше. Довольно их дает уже лубочная литература. Этим недостатком особенно невыгодно отличаются: «Первый винокур», «Иван Дурак», «Христос в гостях у мужика»»[17].

В той же тональности выдержан эмоциональный призыв к «Посреднику» учителя Кудрявцева из Луганска: «Ради Христа, не издавайте книжек с чертовщиной! Книжки с чертями, по-моему, доказывают скудость мысли. Вы — поборники правды; зачем же распространять неправду о чертях? Между вашими изданиями имеются книжки с пре-

красным человечным содержанием <...> в которых, однако, сумели обойтись без чертей. Неужели для распространения здравых мыслей и чувств так необходимы черти?»[18]

Небольшую группу откликов современников Толстого на комедию «Первый винокур» образуют положительные оценки этого произведения детьми и взрослыми, на которые обратили внимание школьные учителя. При этом комедия «Первый винокур» упоминается в контексте народной литературы Толстого, просветительского служения писателя и издательской деятельности склада «Посредник».

«Должна сообщить из своих наблюдений,— писала в редакцию «Посредника» М. Страшная из Владимирской губернии,— что из книг вашего издания нравятся больше всего детям: 1)»Чем люди живы», 2)»Иван Дурак», 3)»Первый винокур», 4)»Три сказки» <...> 8)»Два старика» <...> взрослым крестьянам: 1)»Чем люди живы» <...> 3)»Иван Дурак», 4)»Первый винокур» <...> 8)»Три сказки»»[19].

Разнятся отклики на комедию «Первый винокур» священнослужителей, которые тоже присылали свои отзывы на брошюры Толстого в «Посредник». Как правило, отзывы частных духовных лиц о комедии Толстого совпадали с ее оценками религиозной периодикой. Духовная печать («Благовест», «Московские церковные ведомости», «Пастырский собеседник» и др.) за редким исключением («Странник») поддержала точку зрения «Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви» и «Общества любителей духовного просвещения» (заседание от 15 января 1886 г.). Эти религиозные «общества» высказывались решительно против любых книжек с «толстовским направлением», или началом не православным, общехристианским, отвлеченным. Категорическое неприятие в «Первом винокуре» аллегорической образности — характерный знак отличия и своеобразного объединения духовенства и светских читателей в отношении к толстовской комедии.

Священник Алексей Машуков: «Ваши издания нравятся народу и полезны, исключая тех, кот<орые> не уничтожают суеверий, а поддерживают и узаконяют, как-то «Первый винокур» гр. Толстого или «Аленький цветочек» Аксакова»[20].

Противоположна оценка служения Толстого в «Посреднике» священника Александра Аполлова: «Дешевизна и содержательность этих книжек располагают в свою пользу. Самыми лучшими и пригодными для народного чтения представляются *все* (курсив наш. — *И. С.*) книжки Толстого»[21].

Таким образом, в результате предпринятого нами исследования материалов архива И. И. Горбунова-Посадова в *РГАЛИ* найдены и систематизированы отклики на комедию «Первый винокур» современников Толстого, которые не занимались профессионально литературной и театральной критикой. «Посредник» получал письма о вы-

пускаемых им книгах от представителей всех сословий: дворянства, духовенства, сельского и городского населения, «людей разного чина и звания» (разночинцев).

Письма за период с 1885 по 1887 г. дают полное представление о распространении первых книжечек «Посредника» и особенностях их восприятия читателями. Комедия «Первый винокур» (как и другие произведения Толстого для народа указанного временного промежутка — «Чем люди живы», «Упустишь огонь — не потушишь», «Где любовь, там и Бог», «Свечка», «Два старика», «Сказка об Иване Дураке», сборник «Три сказки», драма «Власть тьмы») привлекла к себе исключительное внимание публики, поскольку ее автором был Лев Толстой. Творения Толстого, в том числе и его «балаганная пьеса», «подходили» всем, усваивались народным читателем с разным уровнем грамотности, в отличие от сочинений И. С. Тургенева, Д. В. Григоровича и Ф. М. Достоевского.

Крестьяне отнеслись к комедии «Первый винокур» по-разному. История о том, «как чертенок водку выдумал», одним виделась «смешной», другим — «страшной». В то же время драматическая форма существенно осложняла понимание, что не наблюдалось при чтении рассказа «Как чертенок краюшку выкупал» с аналогичным содержанием. Многих отчуждало дробление художественного целого диалогами действующих лиц.

Суждения о «Первом винокуре» педагогов и духовенства в целом близки печатным критическим отзывам об этом произведении. Их общая тональность обусловлена восприятием рецензентами и «обычными» читателями религиозно-философских воззрений и социальной этики Толстого, просветительского служения писателя в «Посреднике».

Точки зрения представителей этих социальных групп тоже разнятся, как и в крестьянских отзывах. Хвалебные оценки и ожесточенные нападки дополняют, подчас исключают друг друга, иллюстрируют накал, крайнее напряжение и волнение в отношении современников к личности и творчеству Толстого. Поэтому определяющее значение в толковании его произведений для народа (в том числе драматургии) приобретает их идеологическая связь с религиозно-философской и социально-этической публицистикой («Исповедь», «В чем моя вера?», «Новое Евангелие», «Краткое изложение Евангелия», «Церковь и государство», «Так что же нам делать?»).

В комедии «Первый винокур» учителя сельских и городских школ увидели прежде всего осуждение Толстым представителей своего круга в образе боярского беса и идеализацию народа в выведенном типе «доброго» мужика. Однако взыскательные читатели не «заметили» в произведении ключевого положения толстовской социальной этики 1880-х гг. — критики писателем денег и богатства. В комедии это выразилось двояко. С одной стороны, Толстой развивает тему обогащения бедного и «добро-

го» крестьянина, с другой — использует сатирический и драматический пафос в изображении расслоения крестьянства на бедняков и кулачество.

Аллегорическая образность «Первого винокура» (образы бесов и «старшого») вызвала шквал критики в адрес автора комедии. Читатели не «разглядели» в «балаганной пьесе» перекличку «чудесного» мира с российскими реалиями, острой сатиры Толстого на современное ему общество. Совершенно не принималось во внимание то обстоятельство, что Толстой обработал в «Первом винокуре» известный старинный сюжет, бытовавший в народных стихах и легендах. Отсюда и «узнавание» народом в произведении истории о том, «как чертенок водку выдумал».

Корреспонденты «Посредника» проводили разграничительную черту между изданиями склада и продукцией лубка. «Мистический элемент» в комедии и рассказах Толстого, по мысли его оппонентов, поддерживал в народе «вредный» предрассудок об участии сверхъестественных сил в житейских делах, тем самым брошюры «Посредника» приравнивались к лубочной литературе. Осуждающие «неудачную» комедию Толстого призывали «Посредник» «проводить» в народное сознание мысль о том, что человек является хозяином своей судьбы: на развитие его внутреннего мира должен влиять «добрый» пример из жизни и книги.

---

[1] Правительственный вестник, 1886. № 121. С. 2–3.

[2] *Гусев Н. Н.* Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого. 1828–1890. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1958. С. 629.

[3] *Толстая С. А.* Моя жизнь: В 2 т. М.: Кучково поле, 2011. Т. 1. С. 511.

[4] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 2. Ед. хр. 309. Л. 7–7 об.

[5] *Там же*. Л. 26.

[6] *Там же*.

[7] *Сизова И. И.* Сюжет о первом винокуре в творчестве Л. Н. Толстого // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 4. Ч. 2. С. 172–177.

[8] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 2. Ед. хр. 309. Л. 89.; *Там же*. Ед. хр. 310. Л. 46.

[9] *Там же*. Ед. хр. 309. Л. 14.

[10] *Там же*. Л. 88–89 об.

[11] Народные русские легенды, собранные Афанасьевым. Лондон: Вольная русская типография, 1859. С. 181.

[12] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 2. Ед. хр. 309. Л. 89 об.

[13] *Там же*.

[14] *Там же*. Л. 14.

[15] *Там же*. Л. 9.

[16] *Там же*. Ед. хр. 310. Л. 180.

[17] *Там же*.

[18] *Там же*. Ед. хр. 309. Л. 14 об.

[19] *Там же*.

[20] *Там же*. Л. 10.

[21] *Там же*. Л. 9 об.

И. А. ГОРДЕЕВА
г. Москва

«Все люди — братья»: российские радикальные пацифисты во время Первой мировой войны

Начало XX в. в России ознаменовалось выходом на историческую сцену общественных движений с массовой социальной базой. Среди массовых движений было и радикально-пацифистское, которое возникло в конце XIX в. как результат общественно-политического самоопределения «толстовцев», которые также называли себя «свободными христианами» или «свободно-религиозным» движением.

Пацифизм — это принципиальный отказ от войны и насильственных методов решения как международных, так и внутриполитических и межличностных конфликтов. «Радикальность» пацифизма заключается в его «революционности», направленности на общественное действие, на тотальную трансформацию всего общества посредством мирного, ненасильственного изменения человека, его норм и ценностей, повседневной жизни и самого характера отношений между людьми.

Одной из причин невнимания к российскому пацифистскому движению историков является недооценка общественного потенциала «толстовства» и мирового опыта пацифизма. Несмотря на то, что основы идеологии российских пацифистов были заложены религиозно-общественной публицистикой Л. Н. Толстого, который призывал к личному нравственному самосовершенствованию, а не общественной борьбе, в общественном смысле многие «толстовцы» пошли дальше Толстого. Опыт 1890-х годов (работа «на голоде», участие в защите духоборов, тесное общение с крестьянством и т.п.) привел их к выводу, что изменение жизни к лучшему должно произойти в результате не только личного нравственного выбора каждого отдельного человека, но и с помощью координированных общественно-политических действий. Из этого следовала необходимость формирования собственного общественного движения со своей отдельной идеологией

и методами протеста, социальной базой, инфраструктурой, печатью и т. п.

Несмотря на то, что лидеры «толстовского» движения в основном происходили из привилегированных слоев и даже были представителями высшей аристократии, оно принципиально формировалась в опоре на сектантско-крестьянские массы. Проясняя свою общественно-политическую и этическую позицию, «толстовцы», с одной стороны, обращались к идеям Толстого, к мировой философии ненасилия и гражданского сопротивления, но также и к опыту народно-религиозных движений — как российских, так и зарубежных. Можно сказать, что ими была предпринята попытка на концептуальном и практическом уровне превратить «оружие слабых» — устойчивые стереотипы народного протеста (различные формы бегства и отказа от сотрудничества с государством, выстраивания автономных от государства и его институтов общностей) — в современные и эффективные методы социального протеста.

«Толстовцы» занимались правозащитной деятельностью, защищая отказчиков от военной службы и других пострадавших за свои религиозные убеждения, много внимания уделяли печатанию и распространению произведений Толстого и других сторонников ненасилия. Они заявили свой протест против русско-японской войны, а после появления в России Государственной Думы — пытались использовать ее для продвижения законодательных инициатив, связанных с введением альтернативной военной службы и защитой свободы совести. В 1909 г. при участии «толстовцев» было создано Московское вегетарианское общество (МВО), которое в последующие годы станет главной организационной базой развития пацифистского движения.

Помимо «толстовцев» или «свободных христиан», полностью или частично, в индивидуальном или коллективном порядке в разное время свою солидарность с радикально-пацифистским движением проявляли вегетарианцы и эсперантисты, сектанты и другие богоискатели из народа и интеллигенции (трезвенники, духоборы, сютаевцы, добролюбовцы, евангельские христиане и баптисты, малеванцы, последователи теософии и антропософии, духовные монисты, и др.); отдельные представители анархических и социалистических течений.

Первая мировая война стала важным этапом для политического самоопределения российских пацифистов. Опыт мировой войны привел российское пацифистское движение к еще более четкому осознанию своих ценностных и идеологических ориентиров, а также к выбору союзников по общественной борьбе.

В деятельности «толстовцев» в 1914–1917 гг. наиболее значимыми были следующие направления:

— борьба против национализма, «ложного патриотизма, милитаризации сознания и культа насилия;

— защита отказчиков от военной службы;
— завоевание общественного мнения;
— дальнейшее организационное строительство движения;
— продолжение теоретического поиска;
— расширение социальной базы;
— осуществление гуманитарной миссии.

В начале войны представители свободно-религиозного мировоззрения были единственной общественной силой в России, которая не поддалась патриотическим настроениям и заявила о своем принципиальном неприятии войны. Российские пацифисты напряженно следили за новостями, имевшими отношение к ситуации на фронтах и настроениям общественности воюющих государств. Глубоко разочарованные «шовинистическим» отношением к войне европейских социалистов, анархистов и вегетарианцев, «толстовцы» составили ряд антивоенных воззваний. Самым известным из них было воззвание «Опомнитесь, люди-братья!», написанное В. Ф. Булгаковым при участии других «толстовцев» 28 сентября 1914 г. в Ясной Поляне [1].

Под этим воззванием было собрано 43 подписи. Составление и подписание этого текста стало «первым организованным протестом против войны»[2] в России. Позднее появились «толстовские» антивоенные воззвания в Полтаве, Туле [3], Крапивне, Екатеринославе и Тюмени. Большинство подписавших воззвание Булгакова были арестованы по обвинению в распространении суждений, возбуждающих к изменническому деянию, и подвергнуты суду в 1916 г., в результате которого были оправданы. Это оправдание при всеобщем сочувствии как присутствовавшей на суде публики, так и адвокатов и самих членов суда, было расценено пацифистами как признак того, что их ценностям удалось хотя бы частично завоевать общественное мнение, признавшее аргументы «от совести» значимым, заслуживающим уважения мотивом человеческого поведения.

Выраженная в «толстовских» воззваниях уверенность в том, что «пока люди будут считать себя не всемирными братьями, а подданными или гражданами того или другого государства,— не будет мира среди людей!»[4], стала основным мотивом деятельности российских радикальных пацифистов по время мировой войны. Наиболее активными защитниками антимилитаризма, идей ненасилия и ценностей гуманизма, активно выступавшими в печати и публично, во время Первой мировой войны были В. Г. Чертков, И. И. Горбунов-Посадов, В. Ф. Булгаков, М. С. Дудченко (Полтава), П. И. Бирюков (Швейцария и Россия), С. М. Булыгин, И. М. Трегубов, Н. Н. Гусев, Н. Н. Апостолов, К. С. Шохор-Троцкий.

Защита отказчиков от военной службы была самым главным направлением деятельности «толстовцев» с момента основания ими соб-

ственного движения. В период Первой мировой войны резко выросло количество отказов «по совести»[5]. «Толстовцы» придавали этому явлению необычайно важное значение. Они собирали информацию об отказчиках, оказывали им правозащитную помощь, распространяли в обществе информацию о мотивах отказывающихся. Работа по помощи отказчикам велась при Московском военном округе (МВО), ее главными организаторами были В. Г. Чертков и К. С. Шохор-Троцкий, работавшие в данном направлении в тесном взаимодействии с лидерами пацифистских сект[6].

Обычно отказ от военной службы «по совести» был наиболее важной и символичной частью в целом ряду других «отказов»: от присяги (военной и от присяги новому государю), от паспорта, от участия в переписи населения, от уплаты налогов, от занятия бюрократических должностей, от обращения к суду и полиции, от государственного образования и общепринятых систем воспитания детей, от идентификации с определенным сословием и гражданством. По существу, это был отказ от общепринятой гражданской идентичности или даже от подданства в пользу Небесного гражданства или, в светском варианте, в пользу реального или воображаемого «идеологического отечества». Такая позиция порождала в том числе и «антиграничные» настроения — протест против существования государственных, административных, социальных, культурно-религиозных и прочих границ между людьми.

Исходя из убеждения, что «все люди — братья», «толстовцы» считали существование государственных границ одним из источников зла современного мира. Отсюда ставилась цель достижения «всемирного братства» или «всемирного единения» человечества. Еще в 1913 г. российские и зарубежные «толстовцы» начали выпуск сборника «Всемирное единение: Орган человеческого единения во всех формах мысли и действия»[7], обращенного к единомышленникам во всем мире и призванного объединить всех, для кого «расовые, национальные и предрассудки различия религиозных пониманий более не существуют»[8].

Как во время мировой войны, так и после нее главной своей задачей пацифисты видели «активную борьбу с величайшим своим бедствием — с международным разъединением и милитаризмом, делающим из свободных братьев-людей — полчища рабов — врагов-волков, перегрызающих друг другу горло». Способом ведения такой борьбы они видели усиление в сознании людей веры в то, «что в нас, людях, есть единая душа, что мы все братья, дети одной семьи. А все эти Италии, Финляндии, Франции — все это одна фикция»[9].

«Толстовцы» всегда придавали большое значение печатному слову. С началом войны издательство «Посредник» активизировало печать публицистических произведений Толстого и другой антивоенной

литературы. Все чаще радикальные пацифисты, которые в довоенный период общались преимущественно с сектантами крестьянами, обращали свою проповедь ненасилия к солдатам, рабочим, крестьянам и женщинам. В социально-психологической обстановке 1916–1917 гг. брошюры Толстого и выступления «толстовцев» пользовались необыкновенной популярностью среди простых людей.

Со второй половины 1916 г. в Москве издавался журнал «Единение» (позднее — «Голос Толстого и Единение»)[10]. Он распространялся по всей территории России среди единомышленников Толстого и сочувствующих сектантов. Основное содержание журнала — антимилитаризм, пацифизм, христианский анархизм и коммунизм, гуманизм, борьба против ложного патриотизма, национализма, смертной казни, ксенофобии, империализма. Пацифистская печать напоминала обществу о бесценности человеческой жизни, о всеобщем братстве во Христе.

И. И. Горбунов-Посадов, глава издательства «Посредник», подготовил и издал антивоенную серию брошюр «Всемирное братство» (1917–1918 годы), а также работал над сборником «Всемирное братство и война»[11]. С самого начала войны он собирал и пытался распространять информацию о случаях проявления человечности на войне, однако газета, в которую он послал свои заметки, так и не опубликовала их[12].

Сразу после Февральской революции начинается новый виток организационного строительства радикально-пацифистского движения. Летом 1917 г. «толстовцы» создали Общество истинной свободы (ОИС) в память Л. Н. Толстого. Провозглашалось, что ближайшей целью Общества является облегчить общение сочувствующих жизнепониманию Толстого, привнести в общественную и повседневную жизнь ценности гуманизма и ненасилия. Главным же стремлением ОИС было путем нравственного самосовершенствования добиться преобразования общества, основанного на государственном насилии, в безгосударственную общину, в рамках которой могла бы быть осуществлена полная свобода во всех вопросах веры и жизни.

Программные принципы ОИС были изложены в 14 пунктах «Опыта краткого изложения основ истинной свободы», среди которых были следующие:

— всякое насилие, совершаемое над людьми как со стороны отдельных лиц, так со стороны партий и правительства, противно законам человеческой жизни;

— отечество наше — весь мир, и все люди наши братья. Поэтому никакие люди, как бы они не называли себя — монархическими, конституционными, демократическими или социалистическими правительствами,— не имеют права собирать, вооружать и обучать людей

убийству, нападать на других людей и, ведя с людьми другой народности войну, разорять и убивать их;

— ничем не может быть оправдано применение насильственных мер воздействия на людей — привлечений к суду и наказаний: казней, тюрем, ссылок, карательных отрядов, лишений имущества и т.д.;

— никому не должно быть предоставляемо право собственности на землю, которая составляет общее достояние всех людей;

— никто не может насилием или под угрозой насилия отбирать имущество у одних людей и передавать его другим (подати, таможенные пошлины и т.д.);

— не на установление новых форм жизни должна быть направлена деятельность людей, а на изменение и совершенствование внутренних свойств как своих, так и других людей[13].

Таким образом, в своем общественном идеале ОИС сочетало идеалы христианства, пацифизма, анархизма и коммунизма.

Публикация известия об открытии ОИС вызвала ответную волну снизу. Подобные общества стали возникать по всей России. ОИС были призваны воздействовать на общество, возвышая свой голос против таких общественных явлений, как война, смертные казни, погромы, вооруженные восстания и всякая вооруженная борьба, церковные предрассудки, знахарство, самосуды и кулачная расправа в деревне, мясоедение, истязание животных и пр.

Особенно активным было Общество друзей всеобщего мира, основанное в Полтаве старым «толстовцем» М. С. Дудченко. В 1917 г. Общество выпустило воззвание против войны «Наше открытое слово к людям-братьям всего мира», в котором были такие слова: «...Мы, нижеподписавшиеся, желаем провозгласить великое братство всех людей и народов — не как мечту или даже цель, а как факт, глубоко коренящийся в природе человеческой, как *основу*, вне которой нет жизни, и нарушение которой ни в чем не может быть оправдываемо... Любя свою родину столько же, сколько и другие страны, и считая своим *отечеством весь мир*, мы уверены, что разбойное дело, называемое войной, наглой преступностью своею попирающее как Божеские, так и человеческие законы, не только не приближает нас ко всеобщему миру, а отдаляет от него»[14].

Отныне свой идеал российские пацифисты определяли как «религиозный христианский, безнасильственный коммунизм». Они считали, что он заключает в себе и «анархизм в лучшем смысле этого слова»: «религиозный коммунизм делает излишним аппарат власти и государственного принуждения, и осуществляя в жизни людей коллективизм, в то же время не лишает их и полной свободы, поскольку он держится на добровольно приятном сознании братства, единства всего сущего и на любви, как на мировом законе Бога»[15]. На почве коммунистиче-

ских и анархических идей они общались и сотрудничали с социалистами и анархистами, как российскими, так и зарубежными. За связи с зарубежными единомышленниками у пацифистов отвечал Владимир Чертков. Осознание себя как мирных христианских (религиозных) коммунистов, привело «толстовцев» в 1926 г. к участию в основании международной христианско-пацифистской организации Международного движения к христианскому коммунизму.

В период Первой мировой войны российские пацифисты все больше радикализировались, в их риторике и идеологии прочно утвердилась идея «мирной революции», «революции братства» ради достижения всемирного братства и всеобщего мира среди людей.

Основы идеи «мирной революции» были заложены религиозно-общественной публицистикой Л. Н. Толстого конца XIX — начала XX в. Под влияниям Толстого и идей анархиста В. А. Поссе, «толстовец» И. М. Трегубов в 1903–1905 гг. предлагал использовать всеобщие мирные стачки для борьбы против православия и самодержавия[16].

В. Г. Чертков с начала XX в. развивал идею «мирной революции». В 1904 г. он опубликовал брошюру «О революции. Насильственная революция или христианское освобождение?». В ней Чертков писал, что свободно-христианское учение «гораздо более революционно», чем теории насильственных революционеров, так как «оно занимается усовершенствованием внутренних человеческих побуждений и улучшением взаимных отношений между людьми. А от этого гораздо больше зависит прочное изменение к лучшему всего общественного устройства, нежели от тех внешних переворотов или реформ, которых добиваются социалисты»[17].

Идея мирной «революции братства» объединила идеи Трегубова и Черткова, усилив их антимилитаристическое, коммунистическое и анархистское содержание. Радикальные пацифисты пришли к выводу, согласно которому духовная, внутренняя революция, революция братства началась еще с Иисуса Христа, а в настоящее время продолжается среди простого русского народа[18]. Движение отказников от военной службы радикальные пацифисты считали первым провозвестником такой революции. Широко распространившееся дезертирство и братания они также принимали за признаки роста самосознания русского народа. Своей задачей пацифисты видели активно способствовать развитию этого самосознания в христианском, религиозно-нравственном, пацифистском направлении[19].

После окончания войны пацифисты пришли к выводу, что ее опыт никого ничему не научил. В связи с этим было решено «военной подготовке противопоставить мирную подготовку», для чего при МВО была открыта секция Друзей мира. Ее целью провозглашалось распространение идеи Всеобщего мира и Братства, борьбы со всем тем, что

вызывает вооруженные конфликты и войны, противодействие всякой войне, собирания сведений о мирных движениях во всех странах, оказания юридической и материальной помощи всем пострадавшим за идею Всеобщего мира. Среди обязанностей противников войны назывались предупреждение войны, попытка ее прекращения в случае возникновения, воздействие на общественное мнение, разъяснение народу, что такое война вообще, какими причинами она вызывается, к каким результатам приводит. Также ставилась задача развить такое чувство в людях, которые без колебания ответили бы «нет» войне и насилию, в каких бы то ни было обстоятельствах[20].

Резкий рост патриотических настроений и шовинизма в российском и европейском обществе в начале войны, необыкновенный высокий уровень насилия и девальвация человеческой жизни в ходе войны заставили радикальных пацифистов задуматься о психологии массового поведения[21]. Поставив перед собой задачу работать над сознанием людей, воспитывать личностей, обладающих способностью противостоять «гипнозу толпы», пацифисты развивали идеи «свободного воспитания», которые должны были воплотиться в создание «Союза свободного воспитания» («Союз воспитания свободного человека»)[22]. Один из самых активных сторонников этой идеи И. И. Горбунов-Посадов писал: «Но главное — это работа над сознанием людей. Нужно воспитание, антимилитаристическое воспитание, создание у юношества совершенно новой психологии; нужно сеять в юные души отвращение к убийству, принципы братства, отвращение ко всяким кровавым героям войны, нужны указания того, что всякое убийство есть преступление, каким бы словом оно не прикрывалось, нужно знакомство юношества с истинными героями мира, любви и братства и заражение их чувствами, их идеями»[23].

В качестве одного из приоритетных направлений деятельности российских пацифистов была выбрана борьба с милитаризацией сознания населения России, последствием которого был ряд воспитательных и просветительских проектов в 1917 — середине 1920-х гг., направленных на воспитание молодежи в духе идей ненасилия, демонстрацию важности «не приноравливаться к улице», а жить своим умом.

---

[1] *Булгаков В. Ф.* «Опомнитесь, люди-братья!» История воззвания единомышленников Л. Н. Толстого против Мировой войны 1914–1918 гг. М.: Задруга, 1922. Т. 1; также см. вторую и третью части исследования Булгакова: *РГАЛИ*. Ф. 2226. Карт. 1. Д. 105, 106; «Воззвание имело целью... успокоить встревоженную войной совесть толстовцев-антимилитаристов»: Документы Государственного музея Л. Н. Толстого о судебном процессе 21–30 марта 1916 г. // Отечественные архивы. 2006. № 3. С. 80–98.

[2] *РГАЛИ*. Ф. 2226. Карт. 1. Д. 105. Л. 2.

[3] О распространенном в Туле воззвания С. Попова см.: *Рашковская М. А., Рашковский Е. Б.* «Милые братья и сестры!»: (Страницы истории толстовского движения 1914–1917) // Религии мира. История и современность, 1989–1990. М., 1993. С. 154–168.

[4] *Булгаков В. Ф.* Указ. соч. С. 192.

[5] *Brock P.* Against the Draft: Essays on Conscientious Objection from the Radical Reformation to the Second World War. University of Toronto Press, 2006. P. 301–312.

[6] Большое количество неизученных материалов по истории отказов от военной службы отложилось в НИОР РГБ в фондах В. Г. Черткова (Ф. 435) и К. С. Шохор-Троцкого (Ф. 434) Также см.: *Гетель Е. И.* Объединенный Совет религиозных общин и групп как одно из проявлений русского религиозного пацифизма // Долгий путь российского пацифизма. М., 1997. С. 301–317.

[7] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 1. Д. 2090.

[8] *НИОР РГБ*. Ф. 435. Карт. 30. Ед. хр. 16. Л. 1.

[9] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 1. Д. 38. Л. 42 об.

[10] О «толстовской» периодике периода Первой мировой войны см.: *Агарин Е.* Антивоенные выступления в журналах «толстовцев» 1916–1918 годах. URL: http://ruslitwwi.ru/files/content/2254/pages-from-politika-i-poetika-korr-36-agarin-pdf.pdf

[11] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 1. Д. 34. Сборник не был опубликован.

[12]Там же. Д. 38. Л. 8.

[13] Воспоминания крестьян-толстовцев, 1910–1930-е гг. М., 1989. С. 463.

[14] Голос Толстого и Единение. 1917. № 3. С. 16. Также см.: Наше открытое письмо к людям-братьям всего мира: (Письмо в редакцию) // Борьба. 1917. 12 апреля. № 2. С. 6–7.

[15] *НИОР РГБ*. Ф. 435. Карт. 72. Ед. хр. 5. Л. 8.

[16] *Трегубов И. М.* О всеобщей мирной стачке // Свободное слово / Parole Livre. Christchurch. 1903. № 7. Стб. 26.

[17] *Чертков В. Г.* О революции. Christchurch, 1904. С. 2–3.

[18] *НИОР РГБ*. Ф. 435. Карт. 22. Ед. хр. 2.

[19] *Чертков В.* О прекращении войны // Голос Толстого и Единение. 1917. № 2. С. 7–8.

[20] *НИОР РГБ*. Ф. 435. Карт. 68. Ед. хр. 17.

[21] [Письмо военного врача В.С.] // Голос Толстого и Единение. 1917. № 4. С. 13–14; Толпа и общественное мнение // Голос Толстого и Единение. 1917. № 4. С. 10.

[22] *НИОР РГБ*. Ф. 345. К. 92. Ед. хр. 39.

[23] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 1. Д. 38. Л. 43–43 об.

Е. Н. СТРОГАНОВА
г. Тверь

«Искать в себе, а не вне себя…» Л. Н. Толстой и И. П. Ювачев

Имя мемуариста и религиозного публициста Ивана Павловича Ювачева известно в толстовском контексте: о нем упоминают в своих дневниках С. А. Толстая и Д. П. Маковицкий, исследователи называют его возможным прототипом героя рассказа «Божеское и человеческое», его произведения, надписанные Л. Н. Толстому и С. А. Толстой, отмечены в описании книг яснополянской библиотеки. Но специально вопрос об отношениях Толстого и Ювачева затрагивался лишь однажды — в статье Е. М. Сахаровой об образе революционера у Толстого и Чехова. Тема эта, однако, может быть продолжена и развернута. Одним из источников моей статьи послужили материалы фонда И. П. Ювачева, хранящегося в Государственном архиве Тверской области[1].

И. П. Ювачев (1860–1940) был личностью замечательной. Выходец из семьи придворного полотера, он окончил Кронштадтское техническое училище в звании кондуктора корпуса флотских штурманов, служил на Черноморском флоте, но увлекся революционными идеями и в 1883 г. был арестован за принадлежность к военной организации партии «Народная воля». Ювачев проходил по «процессу 14-ти», был обвинен «в организации отдельного революционного кружка между морскими офицерами в городе Николаеве» (ед. хр. 13, л. 25) и приговорен к смертной казни через повешение. Этот приговор ему заменили 15-ю годами каторги. 4 года он отбыл в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях и 8 лет — на Сахалинской каторге.

Оказавшись в крепости, Ювачев стал истово религиозным человеком. С этого времени ему была свойственна чрезвычайная интенсивность религиозных переживаний, которая определяла общее восприятие жизни. В письме к родным от 19 мая 1887 г. есть фраза: «Я так думаю, что верующий человек, внимательно относясь к своей жизни, видит непрестанно множество чудес» (ед. хр. 3, ч. 2, л. 2). И он непре-

станно искал совпадения, предвещания и предначертания в собственной судьбе, проецируя события своей жизни на Священную историю: «Итого со дня ареста сидел в Петроп<авловской> крепости 430 дней, по числу лет пребывания Израиля в Египте» (ед. хр. 4а, дн. 2, л. 20 об). Его истовую религиозность другие заключенные — В. Н. Фигнер, Н. А. Морозов, М. Ю. Ашенбреннер — считали помешательством (правда, последний уточнял, что он «поправился»)[2]. Сам он, опасаясь за свой рассудок, выработал систему правил самосохранения: «стараясь дисциплинировать свой ум», читал вслух лекции по любимым предметам — математике, физике, астрономии, переводил с английского и французского, занимался классическими языками[3].

В тюрьме Ювачев постоянно читал Библию. В 1885 г. он «изъявил желание изучать греческое писание» и в январе 1886 г. получил Библию на греческом, которая была с ним до отъезда из Шлиссельбурга 1 сентября 1886 г. (ед. хр. 4, т. II, дн. 2, л. 26; запись 29 мая/10 июня 1890 г.). Он начал составлять свои толкования и продолжал заниматься этим в дальнейшем. По поводу этого увлечения Ювачева его товарищ по сахалинской каторге Бронислав Пилсудский писал отцу 23 марта 1888 г.: «...будучи религиозным фанатиком, мечтал о переводе или исправлении русских переводов Библии»[4]. На Сахалине Ювачев принимал активное участие в церковном обиходе как староста и помощник регента, начал писать историю сахалинских церквей. Истово соблюдая церковные ритуалы на протяжении всей жизни, он воспринимал христианство как живое учение и руководство к действию, был толерантен, склонен к религиозной рефлексии и интересовался течениями, альтернативными ортодоксальному православию. В 1890 г. Ювачев записал в дневнике: «Читая о Валаамском монастыре [5], я прихожу к следующим мыслям: Валаам с очевидностью показывает, что если бы люди жили по закону в мире и любви, не ища своего, но что служит на общую пользу; если бы исполняли празднование «субботы», т.е. 7 день посвящали бы Богу; тогда бы Господь благословил их дела. Земля бы давала обильные урожаи, простые люди были гениальными мастерами. Но хорошо ли это для христианина? Это похоже как бы на искание царства на земле (да так и озаглавил Немирович-Данченко: «Крестьянское царство»), тогда как Христос говорит: Царство мое не от мира сего <...>. Прославленные святые нашего русского народа жили в нищете...» (ед. хр. 4а, дн. 2, л. 37 об. —38)[6]. Впоследствии в своей публицистике он уделял внимание старообрядчеству и сектантским течениям, призывая верующих к толерантности.

Для более полного представления о личности Ювачева нужно сказать о его отношениях с Марией Антоновной Кржижевской (1854–1892), с которой судьба свела его на Сахалине. Фельдшерица и акушерка, она оказалась на «мертвом острове» по доброй воле, решив «пожертвовать собою для несчастных ссыльных людей»[7]. Так и случи-

лось: она не щадила себя и в молодом возрасте умерла от чахотки. Безутешный после ее кончины, Ювачев записывает в дневнике 28 сентября 1892 г.: «Мне кажется, я люблю ее и любил искренно, даже страстно»[8]. Его сахалинские дневники поражают постоянным обращением к образу Марии Антоновны: они испещрены карандашными пометами, соотносящими то или иное событие с кризисными периодами ее болезни и смертью, рядом с прежними записями появляются заметки такого рода: «Чрез 666 пох<ороны> М. А.» (ед. хр. 4а, дн. 2, л. 40 об.).

В 1895 г. у Ювачева появилась возможность покинуть Сахалин, и он поселился во Владивостоке, где жил до полного помилования в 1899 г. Через несколько лет после возвращения в Петербург, видимо, при посредничестве дам из тюремного благотворительного комитета, он познакомился со своей будущей женой — Надеждой Ивановной Колюбакиной (26.09.1869[9]–18.02.1929), начальницей Убежища для женщин, освободившихся из тюремного заключения. У Надежды Ивановны была своя очень непростая жизненная история: она пережила трагедию инцеста[10]. Судьба соединила двух людей, имевших за плечами нелегкий жизненный опыт. С горестного события началась и совместная жизнь: умер их новорожденный первенец. Иван Павлович принял это как божью волю и, пытаясь успокоить жену, писал ей в больницу: «Ведь мы добровольно не отдали бы своего первенца Богу. У тебя и в мыслях этого не было. А между тем так полагается: первого посвящать Богу» — и заключал: «Верно, что Господь и нас утешит и даст нам хорошего сына» (ед. хр. 1, ч. 2, л. 3 об. —4; письмо от 13 февраля 1904 г.). Вторым их ребенком стал мальчик, которого назвали Даниилом. В историю русской литературы он вошел под именем Даниил Хармс.

Еще находясь на морской службе, Ювачев начал заниматься литературным трудом, впоследствии это стало основным делом его жизни. Свои произведения он подписывал собственным именем или псевдонимом И. Миролюбов — от сложившегося на каторге девиза *Мир и Любовь*. Такова была его жизненная установка: со времени тюремного заключения основной идеей Ювачева становится мысль о любви и всепрощении. В. Фигнер писала: «...из борца, завоевателя свободы насильственным путем он превратился в миролюбца в духе Толстого»[11].

Толстой был одним из наиболее близких Ювачеву писателей. В материалах архива и в опубликованных сочинениях Ювачева встречается несколько упоминаний о Толстом. Одно из них — в своеобразной дневниковой автоанкете, составленной 7/19 мая 1893 г., где он пытался охарактеризовать свое отношение к жизни и свои предпочтения. «Любимыми прозаиками» он называет «Евангелистов и Толстого», а любимой героиней романов — Наташу Ростову (ед. хр. 4, т. III, дн. 3, л. 59 об.). Сохранились свидетельства чтения Ювачевым и других произведений Толстого. В книге о каторге он вспоминал о том, как «жадно упивался «Крей-

церовою сонатою»...»[12] Ювачев находил в творчестве Толстого созвучие собственным мыслям. Очень сильное впечатление произвел на него роман «Воскресение», о чем он писал автору: «Ни одна современная книга не сказала так полно и в такой силе все, что сам бы громко провозгласил...» В этом письме Ювачев объяснял и свои религиозные воззрения, а именно, что, являясь сторонником «православной догматики», не одобряет поддержку церковью «существующих форм государственной жизни»[13]. Знаменательна надпись на одной из присланных Толстому книг: *учителю-писателю*, которая показывает, что нравственно-философское учение писателя Ювачев ставил выше его художественного мастерства.

О том, насколько актуален был для Ювачева Толстой, свидетельствуют и письма Надежды Ивановны. 4 июня 1904 г. она сообщает мужу, что читает в журнале «Вестник Европы» записки И. Н. Захарьина-Якунина о покойной А. А. Толстой: «Много интересного сообщает и о Л. Толстом, взятое им из их переписки» (ед. хр. 2, ч. II, л. 52 об.). 1 ноября 1910 г., не скрывая своего отношения, она пишет: «Граф-то Толстой отличился, ушел из дому совсем. Вероятно, ты уже знаешь это из газет, и потому подробностей писать не буду» (ед. хр. II, ч. V, л. 80).

В тверских материалах, к сожалению, нет дневников и писем Ювачева за 1910 г., поэтому его реакция на уход и смерть Толстого неизвестна. Из писем жены выясняется, что как раз в начале ноября Ювачев, находясь в Люблине, попал в больницу, поэтому, конечно, на похоронах Толстого он не мог быть. Но поскольку архив Ювачева рассредоточен, его отклики на смерть Толстого могут найтись в материалах, находящихся в хранилищах Петербурга, Москвы или в частных собраниях.

Безграничное уважение Ювачева к Толстому проявилось и в такой своеобразной форме, как дарение его портретов свояченице. Старшая сестра его жены Наталья Ивановна Колюбакина, директор Царскосельской Мариинской женской гимназии и преподавательница русского языка, была горячей почитательницей Толстого. 4 февраля 1912 г. Надежда Ивановна пишет мужу: «Ната благодарит тебя за открытку с Толстым...» (ед. хр. 2, ч. III, л. 173). В письме от 25 августа того же года читаем: «У Наши такая масса портретов Толстого, что, по-моему, не следует их прибавлять, лучше книгу ей купи...» (ед. хр. 2, ч. III, л. 291). На сохранившихся фотографиях кабинета Н. И. Колюбакиной можно увидеть множество портретов Толстого, и надо полагать, что не один них был подарен Ювачевым. Вспоминая о Наталье Ивановне, ее ученица М. П. Руденская подчеркивала, что «стены в ее квартире в Детском Селе были украшены многочисленными фотографиями Льва Толстого», и объясняла это знакомством с Толстым Ювачева[14].

Сразу по возвращении в Центральную Россию Ювачев стремился посетить Ясную Поляну, но случилось это только через 6 лет. 27 ноября 1905 г. Ювачев побывал в Ясной Поляне и чрезвычайно распо-

ложил к себе ее обитателей. «...Один из самых милых людей, которых я видел в Ясной Поляне»,— признавался Д. П. Маковицкий[15]. Он оставил довольно подробное описание визита Ювачева, приехавшего «поговорить о вере». Записи Маковицкого сохранили рассказы Ювачева о перипетиях его жизни, о Сахалине, о протестном движении уральских казаков, о ситуации в Петербурге, его суждения о религии и искусстве. Уже на следующий день у Маковицкого состоялся разговор с Толстым по поводу сходства Ювачева с героем рассказа «Божеское и человеческое», в котором Толстой выразил свое понимание религиозных взглядов вчерашнего гостя: «Ювачев православный, у него теория с запинкой, как была у Хомякова. Мне его теория православия очень нравится. Согласно его учению, после Христа были две Церкви — иудейская и христианская. Иудейская разрушилась, когда Богу было угодно, когда был разрушен храм в 70 году (sic!)[16]. Теперь же есть православная Церковь и Церковь свободных христиан; существуют одна возле другой. Православная разрушится, когда Богу будет угодно; нападать на нее не надо»[17]. Ювачев признавал христианство только в его православном изводе. Это проявилось и в его книге, описывавшей паломничество в Палестину, которое автор совершил в 1901 г. Рассказывая о популярности православия в арабской среде, он противопоставляет его другим христианским конфессиям: «Дай Бог, конечно, всякого успеха русским труженикам в Сирии! Они не преследуют здесь никаких политических, экономических и других скрытых целей; их задача одна: внести христианский свет истины в среду православных арабов»[18]. Это было справедливо в отношении конкретных «русских тружеников», но несколько наивно в политическом смысле, поскольку Россия, подобно другим государствам, преследовала на Востоке свои собственные цели. Однако Ювачев закрывает на это глаза и с гордостью пишет, что арабы предпочитают обучать детей в русских школах: «Например, в Рахбэ и Джиброиле дети покинули протестантские школы с открытием русских. В других же селах жители упорно отказываются от назойливых предложений латинян и терпеливо ждут православных школ»[19].

Свои литературные труды Ювачев посылал Толстому. Впервые он адресовался к нему в феврале 1900 г., отправляя оттиски воспоминаний о сахалинской каторге «Восемь лет на Сахалине». Но после личного знакомства с Ювачевым интерес к нему Толстого и его близких естественно возрос. 27 февраля 1906 г. Маковицкий отметил, что Ювачев прислал оттиски публикаций «о своем заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях»[20]. Их читали вслух, и «все внимательно слушали», а Толстой сказал: «Как хорошо, просто написано, сердечно!»[21]. 28 февраля Софья Андреевна записывает в дневнике: «Вечером читали вслух: Шлиссельбургская крепость и Монастырские тюрьмы Ювачева. Хорошо»[22]. Статьи Ювачева, видимо, настолько заинтересовали Тол-

стого, что после общего чтения он перечитывал их «для себя», о чем Маковицкий оставил запись 1 марта 1906 г.[23]. В Ясной Поляне читали вслух и более поздние произведения Ювачева. В дневнике С. А. Толстой 6 апреля 1909 г. находим: «Прочли вслух Ювачева Небесный суд»[24].

Толстому импонировала не только ювачевская «теория православия», но была симпатична сама его личность. Маковицкий свидетельствует: ««Зашла речь о Ювачеве <...>. Л. Н. о нем с приятными воспоминаниями говорил» (запись 4 апреля 1906 г.)[25]. Более всего Толстого привлекало отсутствие в Ювачеве озлобленности: «о притеснителях, палачах, тюремщиках» он писал «с любовью»[26]. Личные усилия Ювачева были направлены на самосовершенствование, он не искал виновных вовне. И Толстой видел и ценил это стремление «искать в себе, а не вне себя...»[27].

Говоря о Ювачеве, Толстой заметил в 1907 г.: «Ювачев, хотя я разрушаю его веру, относится ко мне очень хорошо»[28]. Но ювачевскую веру он не разрушил. Ювачев не стал его последователем, о толстовцах же был не очень высокого мнения, признавая их человеческую ограниченность. Примечателен его отзыв о толстовце Юрии Осиповиче Якубовском: «Обед у Юрия Осип<овича> Якубовского (вегетарианский). У него, говорят, сожительница, она уж и кухарка и все. Сектант! Узкий человек. Толстой — святыня!» (т. III, № 2, л. 69 об.; запись 17 сентября 1916 г.). Испытывая огромное уважение к Толстому и принимая его социальный пафос, Ювачев оставался верен себе и шел своим путем.

---

[1] Государственный архив Тверской области (ГАТО). Ф. 911. Оп. 1. Далее ссылки на архивные документы даются в тексте с указанием единицы хранения, части (если есть) и листа.

[2] *Фигнер В.* Избранные произведения: В 4 т. Т. 2. Запечатленный труд. М.: Изд-во Всесозн. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. С. 18; *Морозов Н.* Памяти В. А. Караулова (Из личных воспоминаний) // Речь. 1910. 22 декабря. С. 2; *Ашенбреннер М. Ю.* Военная организация «Народной воли» и другие воспоминания (1860–1904 гг.) / Ред. Н. С. Тютчев. М.: [Б. и.], 1924. С. 114.

[3] *Миролюбов И. П.* В заточении // Исторический вестник. 1902. Т. 87. С. 193.

[4] Цит. по: *Вуйцек Збигнев*. Из неизвестной переписки ссыльного Бронислава Пилсудского // Вестник Сахалинского музея. 1998. № 5. С. 353.

[5] Эти размышления были связаны с чтением очерков В. И. Немировича-Данченко: *Немирович-Данченко В. И.* Крестьянское царство. Очерки и впечатления летней поездки на Валаам // Русская мысль. 1881. № 1–2, 4–5.

[6] Свои взгляды Ювачев пытался излагать в публицистике. 12 февраля 1911 г. жена сообщала ему о ситуации со статьей, отосланной в журнал «Отдых христианина»: редактор П. А. Миртов сдал ее в набор, но после того как прочитал в письме Ювачева, что он «не считает вселенскую церковь непогрешимой, смутился и хочет просмотреть статью, так как считает это недопустимым» (Ед. хр. 2. Ч. 3. Л. 16).

[7] Фельдшер. 1893. № 10. 15 мая. Стб. 308.

[8] См.: «Мне кажется, я люблю и любил ее искренно...»: Эпистолярный дневник Ивана Ювачева / Вступит. ст., подгот. текста и примеч. Е. Н. Строгановой, А. И. Новиковой // Новый мир. 2001. № 6. С. 128–158.

[9] По материалам фонда устанавливается точная дата рождения Н. И. Колюбакиной (Ед. хр. 14. Л. 78).

[10] См.: *Строганова Е. Н.* К биографии Даниила Хармса: предыстория семьи в письмах родителей // Фольклор, постфольклор, быт, литература: Сб. статей к 60-летию Александра Федоровича Белоусова. СПб.: СПбГУКИ, 2006. С. 308–318.

[11] *Фигнер В.* Избранные произведения: В 3 т. Т. 2. Когда часы жизни остановились. М.: Изд-во Всесоюзн. об-ва политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1933. С. 97.

[12] *Миролюбов И. П.* Восемь лет на Сахалине. СПб.: Тип. А. С. Суворина, 1901. С. 142.

[13] Цит. по: *Сахарова Е. М.* Судьба революционера и ее отражение в творчестве Льва Толстого и Чехова // В творческой лаборатории Чехова. М.: Наука, 1974. С. 174.

[14] «Дело в том, что отец Хармса, Иван Павлович Ювачев, был лично знаком с великим писателем, приезжал в Ясную Поляну в год рождения сына, писал ему письма» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/kolyubjakina-nataljaivanovna-1868–1945.html#.VhNq7G4sB9k (дата обращения: 14.11. 2014).

[15] Литературное наследство. Т. 90. У Толстого (1904–1910). «Яснополянские записки» Д. П. Маковицкого. Кн. 1 (1904–1905). М.: Наука, 1979. С. 475.

[16] Второй Иерусалимский Храм (Храм Зоровавеля, 516 до н.э. — 70 н.э.). В отличие от Первого Храма (Храм Соломона), который просуществовал 364 года (950–586 до н.э.), Второй храм простоял 586 лет. Период, когда храм оставался разрушенным, составляет 70 лет.

[17] Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 476.

[18] *Ювачев-Миролюбов И.* Паломничество в Палестину к Гробу Господню. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014. С. 61.

[19] *Ювачев-Миролюбов Иван.* Указ. соч. С. 49.

[20] Книга «Шлиссельбургская крепость» была опубликована в 1907 г. издательством «Посредник»: *Ювачев И. П. (Миролюбов).* Шлиссельбургская крепость. М.: Посредник, 1907. Рец.: *Новорусский М.* И. П. Ювачев (И. П. Миролюбов). Шлиссельбургская крепость. Книгоиздательство «Посредник». Москва. 1907 года // Товарищ. 1907. 13 апреля. № 241 (вырезка сохранилась в архиве Ювачева: Ед.хр. 15. Л. 94–95).

[21] Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2 (1906–1907). С. 64.

[22] *Толстая С. А.* Дневники: В 2 т. М.: Худож. литература. Т. 2. С. 246.

[23] Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. С. 65.

[24] *Толстая С. А.* Дневники. Т. 2. С. 283.

[25] Литературное наследство. Т. 90. Кн. 2. С. 98.

[26] Там же. С. 475.

[27] Там же. С. 489.

[28] Там же. С. 475.

М. А. КРИВЦОВА
г. Воронеж

Встречи с Л. Н. Толстым и М. О. Меньшиковым (по материалам писем воронежца И. В. Гуляева)

Лев Николаевич Толстой оказал влияние на многих воронежцев[1]. Приверженцем взглядов Толстого был и Лев Григорьевич Соловьев (1837–1919), иконописец, живописец, один из организаторов и преподаватель Воронежской бесплатной рисовальной школы (1893–1918), член Комитета Кружка любителей рисования. Через Соловьева многие ученики школы познакомились с произведениями Толстого. Среди них — Иван Васильевич Гуляев.

В Воронежском областном художественном музее им. И. Н. Крамского (ВОХМ) хранится переписка Соловьева (коллекционный фонд Л. Г. Соловьева) с учениками. В письмах И. В. Гуляева содержатся свидетельства его личных встреч с Л. Н. Толстым и М. О. Меньшиковым.

Иван Васильевич Гуляев родился в крестьянской семье, в д. Грибоедово (Грибоедовка) Елецкого уезда Орловской губернии. Получив начальное образование, он начал самостоятельный путь. Вероятно, во второй половине 1880-х гг. он приехал в Воронеж, где работал в одном из фотографических заведений. Интерес к изобразительному искусству и вопросам христианства привели его к Л. Г. Соловьеву. В Воронежской бесплатной рисовальной школе он занимался с первых дней ее работы[2], участвовал на первых выставках школы. Корреспонденты воронежских газет отмечали успехи Гуляева как художника-любителя[3].

Занятия живописью, рисунком перемежались с разговорами о христианстве, чтением книг, статей Л. Н. Толстого, М. О. Меньшикова. Из контекста писем Гуляева середины 1890-х гг. видно, что они состояли в переписке с Меньшиковым, который с 1892 г. был корреспондентом, а позднее секретарем газеты «Неделя»[4].

По личным обстоятельствам И. В. Гуляев в 1895 г. уехал из Воронежа в Саратов, где работал в фотографическом заведении. С этого времени он часть года проводил в Саратове, часть — в Воронеже, где

продолжал занятия живописью, экспонировал свои работы на выставках школы[5]. Однако в его письмах к Соловьеву присутствует чувство неудовлетворенности.

В марте 1898 г. Гуляев едет в Петербург для личной встречи с М. О. Меньшиковым. «Спешу вам в коротких словах сообщить,— писал он Соловьеву,— что в ночь на 5-е число марта я выехал из г. Саратова в С.-Петербург. Прочтя письмо нашего общего друга М. О. Меньшикова, я почувствовал в душе жгучее желание повидаться с ним. <...> Поймете также и мое сердечное сожаление о том, что я еду без вас и Мити[6] к нашему общему другу и учителю. <...> При всем моем душевном желании осуществить заветную мечту вместе с вами — я не мог этого сделать... Простите, прошу вас, меня, если мой настоящий поступок покажется вам эгоистичным. Я сам не могу дать себе точного отчета в том, что я делаю, чувствую только, что не делать того, что я делаю сейчас,— мне невозможно. Пробуду в Петербурге дней семь... и вместе с Василием Никандровичем[7] упросим М. О. сняться в лучшей фотографии... Ему я везу вашу и Митину фот<ографические> карточки. Словом познакомлюсь с ним во что бы то ни стало, выскажу ему от вас и от себя наше сердечное сочувствие, любовь и преданность к нему... А от него, конечно, заеду к вам и поделюсь с вами всем, всем... Дал бы только Бог благополучно добраться до своей цели»[8].

Эта встреча состоялась 9 марта 1898 г. в редакции «Недели». В тот же день Гуляев написал подробное письмо: «Дорогие друзья мои, Лев Григорьевич и Митя! Сегодня 9 марта Судьба дала мне счастье познакомиться с нашим глубокоуважаемым Михаилом Осифовичем Меньшиковым. Спешу поделиться с вами этим столь радостным, столь великим событием в моей жизни, от которого на всю жизнь останется в душе моей самое отрадное, самое светлое воспоминание...». Он подробно описал свое состояние перед встречей, внешность Меньшикова, его манеру держаться: «Удивительное смирение, скромность, благодушие и простота в его походке, в манерах, словах и действиях. <...> Здороваясь со служащими при редакции (большинство из них дамы), он каждому выражал внимание, ласку сердечную, каждому говорил, кроме «здравствуйте», какое-нибудь серьезное, задушевное слово»[9]. Узнав, что Гуляев из Воронежа, Меньшиков вспомнил, что они знакомы по переписке, поблагодарил его и воронежских друзей «за сердечное внимание, не раз оказанное в письмах».

В ходе разговора Меньшиков сам предложил Гуляеву встретиться с Л. Н. Толстым: «Вам нужно,— передавал Гуляев слова Меньшикова,— необходимо нужно побывать у него, поговорить с ним. Теперь он в Москве. Я напишу к нему письмо, и вы заедете, повидаетесь. Свидание со святым, великим человеком вам может принести огромную нравственную пользу, раз только вы искренне ищите истины. Лев

Николаевич ведь удивительно высокой души человек. Я, конечно, не смею себя считать толстовцем, потому что исполнить все то, что делает он, очень трудно для меня. Все мы люди грешные (большинство из нас), не способные удержаться от слабостей своих, но он удивительный, удивительный человек. Кроме того, что у него глубокий проницательный ум, он обладает еще великою совестью, ради которой он не щадит самого себя»[10]. Меньшиков пригласил Гуляева к себе домой: «Через день я познакомлюсь с домашней жизнью Михаила Осифовича Меньшикова и тогда сообщу вам об этом».

Письмо Гуляева о поездке к Меньшикову в Царское Село, где он жил, неизвестно. Но позже, в недатированном письме, он написал: «Дорогой Лев Григорьевич! В пятницу 20 марта я выезжаю из С. Петербурга, имея в руках 2 письма от М. О. Меньшикова — одно ко Л. Н. Толстому, другое в ред<акцию> «Посредник» И. И. Горбунову. Эти письма дают мне возможность не только видеть того человека, имя которого ежечасно живет в моем сердце, но и познакомиться с ним, войти в непосредственное общение. Какое счастье мне посылает Бог. За что? — Я и сам не знаю. При личном свидании, конечно, будем говорить подробнее... Крепко целую Вас И. Гуляев»[11].

Встреча И. В. Гуляева с Толстым состоялась 22 марта 1898 г. (см.: 71, 372) Записей, писем Гуляева об этой встрече, на сегодняшний день не обнаружено. Не обозначена эта встреча и в «Хронологической канве жизни и творчества Л. Н. Толстого за 1895–1899 гг.» (53, 408). Но 23 (?) марта 1898 г. Толстой написал Меньшикову: «...хотелось поблагодарить вас за хорошее письмо и за знакомство с Гуляевым» (71, 334). Содержание их разговора неизвестно, можно только предположить, что речь шла о жизни в деревне и о занятиях крестьянским трудом.

2 июня 1898 г. Гуляев написал письмо Толстому, на которое он ответил 9 июня 1898 г.: «Я почти был уверен, что ваша попытка поселиться в деревне не удастся. Хорошо то, что всё это скоро разрешилось. Боюсь только, чтобы эта попытка не ухудшила ваших отношений с родными. <...> Мысль милого М<ихаила> Осиповича совершенно справедлива, если бы она высказана была в форме пожелания — видеть вас женатым на согласной по духу девушке и на земле, кот<орую> вы приобрели своим трудом. Я тоже был бы рад видеть вас в этом положении, но не советую вам ставить себе это, или даже какое-либо определенное положение, целью. Очень может быть, что из двух сил вашего духовного или вашего животного стремления выйдет это самое, но выйдет нечаянно, а не как достижение цели» (71, 370–371).

В комментариях к этому письму обозначено, что «в 1899 и 1901 гг. Гуляев еще несколько раз виделся с Толстым». Как и встреча в марте 1898 г., в «Хронологической канве жизни и творчества Л. Н. Толстого» они не зафиксированы (53, 412–414). Поэтому возникает вопрос, ког-

да именно Гуляев лично встречался с Толстым и при каких обстоятельствах. О встрече (встречах?) в 1899 г. сведения не выявлены, но об одной из встреч 1901 г. сохранилось свидетельство И. В. Гуляева.

С сентября 1901 г. по июнь 1902 г. Толстой жил в Крыму, в Гаспре (54, 365–373). Гуляев тоже часть времени в этот период провел в Крыму, у Василия Никандровича Сокорнова, соученика по Воронежской бесплатной рисовальной школе. Сокорнов жил в Алупке и занимался фотографией. Сохранилось письмо Гуляева к Соловьеву из Крыма с описанием визита к Толстому. Письмо без точной даты, но обозначено, что встреча происходила 28 октября, поэтому его можно отнести к 1901 г.

Гуляев писал Соловьеву: «Вчера 28 октября, я ходил ко Льву Николаевичу, он живет тут недалеко, версты за три-четыре. Когда я пришел, ему как раз лакей нес завтрак: овсянку и два яйца восмятку. Когда лакей доложил ему обо мне, он вышел наружу и позвал меня. Я подошел, поцеловался с ним, и он повел меня в столовую, где он завтракал, расспрашивал, как я попал в Крым. Расспрашивал о Вас, «ну, а скажите, как поживает приятель художник, который мне картину прислал?» Я отвечал, что ничего, жив, здоров, слава Богу. Затем спрашивал про Маркова[12] и почему-то сожалел, что он человек с хорошими задатками, остался в барстве. Когда пришли графиня С<офья> А<ндреевна>, сын Сер<гей> Л<ьвович>, его жена и две барышни, и заговорили о прогулке по горам, он давал советы, где и как лучше всего подняться и спуститься, где ближе, где дальше. После завтрака он повел меня по винтовой лестнице наверх, желая меня познакомить кое с чем из последних его произведений. Из числа которых, он особенно рекомендовал три письма: о Боге, вере и молитве, которые и дал мне. Указав мне на шкаф с книгами и позволив порыться в них, он сам сел за письменный стол за работу. «Пишу, говорит, о религии; хочется по этому поводу еще многое и многое сказать. Все говорят религия, религия, а ведь религии у людей нет никакой. Вот в чем все и несчастие наше» Это он говорил так между делом, которое творил»[13]. Возможно, Гуляев встречался с Толстым и в 1902 г. Известно, что 20 июня 1902 г. Толстой совершил поездку в Алупку (см.: 54, 373). В это время там находился и Иван Васильевич Гуляев, который, как и в 1901 г., жил у В. Н. Сокорнова.

В 1904–1905 гг. И. В. Гуляев написал Толстому несколько писем, сообщая о судьбе Федора Ивановича Бурова, который отказался от военной службы (см.: 55, 403; 75, 139–140). Летом 1905 г. Гуляев находился в Воронеже. Под влиянием событий 1905 г. он написал статью «Письмо к революционеру», которую послал Толстому. «Получил ваше письмо, милый Гуляев, и очень одобрил ваше письмо к революционеру,— писал Толстой. — Лучше нельзя сказать. Меня радует ваше ясное и твердое понимание христианства, включающее в себя все то, что есть хорошего

в революционерстве, и исключающее все нехорошее и главное достигающее попутно тех целей, к к<оторым> те стремятся» (76, 21).

Если взгляды Гуляева на революционные события вызывают отклик Толстого, то его художественное творчество для писателя менее интересно. На письмо Гуляева от 25 мая 1907 г., в котором он прислал на отзыв свои стихи и рисунок, ответил Д. П. Маковицкий (см.: 77, 295).

К июню 1908 г. Иван Васильевич Гуляев женился на Клавдии Ивановне [14]. Можно предположить, что идеи Толстого ей тоже были близки. С этого времени письма Толстому они писали вместе. Известно несколько таких писем, из которых на два писатель ответил сам. В письме от 3 октября 1909 г. Гуляевы сообщали о своей жизни в деревни, о борьбе с «врагами внутри себя — со страстями» (80, 128). На это Толстой ответил: «Получил хорошие и милые два письма ваши и был очень рад им: так близко все то, что вы пишите о себе, к тому, чем я живу. Полной победы над внутренними врагами в этой жизни не может быть, потому что жизнь здесь есть только непрестанная, радостная борьба с ними и все большее и большее одоление их» (80, 128). Гуляевым послали книги «На каждый день».

Письмо от 8 сентября 1910 г. Гуляевы отправили из Воронежа. Они спрашивали совета по поводу брака. Ответное письмо датировано 18 сентября 1910 г. «Думаю,— написал Толстой незадолго до того, как навсегда покинул Ясную Поляну,— что вообще, чем большего целомудрия достигают вступившие в брак супруги, тем это лучше. Думаю, что для того, чтобы жить целомудренной жизнью, нет супругам надобности разъезжаться. Можно, не разъезжаясь, но, изменив некоторые обычные условия брачной жизни, продолжать жить мужу с женой дружно, как брат с сестрой. От всей души желаю вам добра. Брат ваш Лев Толстой» (82, 153).

К 1915 г. Гуляевы переехали в деревню, на родину Гуляева[15]. «Мне кажется счастьем,— написал он Соловьеву,— иметь возможность жить и кормиться в деревне. А потому хотя Моисей Николаевич[16] предлагал мне опять переехать к нему, чтобы жить и кормиться в городе, а у меня не лежит на это душа»[17]. В его стремлении к крестьянскому труду видно влияние Толстого. Еще сильнее оно ощущается в отношении к войне, к службе в действующей армии.

В открытке от 10 ноября 1916 г. Гуляев написал Соловьеву: «Мой год внесен в список тех людей, которые, как бараны, предназначаются в жертву бога войны, бога насилия и убийства.

Мне уже вот-вот будет приказано, чтобы шел в убийцы, был готов совершать дела явно противные истинному Богу и закону Его, дела противные любви и правде, миру и благоволению, противные христианству и совести.

Пусть будет так. Противиться злу я не буду насилием, готовиться в убийцы не могу. Потому, что всем существом души верю, что убийство всегда убийство, кто бы не разрешал его и какое бы не было его оправдание.

Молю Бога мира и любви об одном, чтобы Он в эти последние, трудные дни помог мне лучше укрепиться духовной жизни, в исполнении власти Его, укрепиться так, чтобы с радостью, спокойно, без страха, с кротостью, но твердостью отказаться от военной службы, от служения злу, тому, что противно духу Христа, вере моей и совести»[18]. Дальнейшая судьба Ивана Васильевича Гуляева неизвестна. Можно только предположить, что он остался верен своим идеалам, которые сформировались под влиянием Льва Николаевича Толстого.

---

[1] *Русанов Г. А.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. 1883–1901 гг. / Г. А. Русанов, А. Г. Русанов, [сост. и авт. вступ. ст. Г. В. Антюхин]. Воронеж, 1972; *Антюхин Г. В.* Друзья Л. Н. Толстого Г. А. Русанов и В. Г. Чертков. Воронеж, 1983; *Болотов П. Е.* Последователи учения Л. Н. Толстого в воронежском крае // Из истории Воронежского края. Вып. 8. Воронеж, 2000. С. 86–92.

[2] Отчет Комитета Кружка любителей рисования за 1893–1894 г. // Воронежский телеграф. 1895. 20 января.

[3] Выставка работ бесплатной школы рисования // Дон. 1893. 30 декабря. № 147; Любитель. Выставка картин // Дон. 1895. 31 декабря. № 146.

[4] Письма М. О. Меньшикова не обнаружены.

[5] Из публики. По поводу выставки ученических работ бесплатной рисовальной школы // Воронежский телеграф. 1897. 5 января. № 3; Любитель фотографии и рисования. С выставки ученических работ бесплатной школы рисования и живописи. // Дон. 1897. 1 января. № 1.

[6] Белоусов Дмитрий Васильевич (?), ученик Воронежской бесплатной рисовальной школы, фотограф,

[7] Сокорнов Василий Никандрович (1867–1946), ученик Л. Г. Соловьева, фотограф.

[8] ВОХМ. Коллекционный фонд Л. Г. Соловьева. Конверт 1. № 53.

[9] Там же. № 56.

[10] Там же.

[11] Там же. Конверт 2. № 74.

[12] Марков Евгений Львович (1835–1903), активный воронежский общественный деятель, один из организаторов Кружка любителей рисования, был лично знаком с Л. Н. Толстым.

[13] ВОХМ. Коллекционный фонд Л. Г. Соловьева. Конверт 2. № 63.

[14] Сведения о жене И. Г. Гуляева не выявлены.

[15] ВОХМ. Коллекционный фонд Л. Г. Соловьева. Конверт 24. № 924.

[16] Селиверстов Моисей Николаевич (1872–1942), фотограф, владелец фотографического заведения в Воронеже.

[17] ВОХМ. Коллекционный фонд Л. Г. Соловьева. Конверт 23. № 924.

[18] Там же. № 920.

Г. В. ЖИРКОВ
г. Санкт-Петербург

«Посредник» — издательство нового типа: союз «совместных» редакторов

Тип издательства определяется целым рядом существенных и менее существенных факторов. Эти факторы у «Посредника» имели новаторский характер. Бытующее утверждение о том, что «Посредник» — издательство В. Г. Черткова,— в этом смысле не совсем корректно. В одном из писем Черткова есть подсказка, раскрывающая особенность управления этим предприятием.

Перед его поездкой в Англию летом 1885 г. между ним и Л. Н. Толстым возникла полемика, кому быть редактором задуманной народной газеты — Черткову или П. И. Бирюкову. Толстой настаивал на кандидатуре Черткова, но тот не соглашался. В июне он сообщил из Ньюпорта Льву Николаевичу, что предложил Бирюкову быть «*совместными редакторами*»: Бирюков будет «действительным, работающим» редактором, а он станет заниматься «совместным разрешением вопросов в затруднительных случаях» (85, 230). Вспомним еще то, что можно назвать географическим фактором: Чертков жил в имении матери в Воронежской губернии, наезжая в Петербург, Толстой — в Ясной Поляне, Бирюков — в Петербурге, Сытин — в Москве. Уже это заставляло редакцию действовать коллективно.

В статье «Во имя благого дела (Л. Н. Толстой, И. Д. Сытин и «Посредник»)» Е. А. Динерштейн пишет: «Деловые взаимоотношения между компаньонами слагались таким образом: Чертков брал на себя всю редакционную работу от заключения договора с автором до чтения корректур и наблюдения за художественным оформлением изданий: вся техническая сторона дела оставалась за Сытиным. Большая часть изданий распространялась через фирму «И. Д. Сытин и К°», меньшая — через склад вновь создаваемой фирмы и ее контрагентов»[1].

К сожалению, в интересной статье Динерштейна акценты ролей сотрудников редакции несколько смещены. В первую очередь это ка-

сается Л. Н. Толстого, который на протяжении всей жизни был связующим и руководящим звеном «Посредника». Его авторитет сдерживал возникавшие конфликты, гасил их. Каждый из членов редакции осознавал, кто с ним рядом работает над общим делом.

Издатель-предприниматель И. Д. Сытин высоко ценил это обстоятельство. Нельзя приуменьшать и значение в делах «Посредника» П. И. Бирюкова. Его фигура в научной литературе обычно уходит на второй план, что не справедливо. Чертков по семейным обстоятельствам довольно часто уезжал в Англию. В это время Бирюков один тянул общий воз. Так, 22 мая 1885 г. перед отъездом Чертков извещал Толстого: «Вообще все дела по изданию переданы Бирюкову и, если нужно, вы ему пишите и посылайте. Он все сделает лучше и проще меня» (85, 214).

Совместные редакторы взаимно дополняли друг друга. Конечно, речь не об официальной стороне дела, а о фактической. На практике у «Посредника» и сложилось именно такое распределение функций управления между Чертковым, Бирюковым и И. И. Горбуновым-Посадовым.

Но за всем этим стоял Толстой — такой соредактор, который имел ведущее значение в общем деле. Он объединял усилия всех совместных редакторов «Посредника». Редакционная переписка, организация предприятия, выработка его программы, определение типа издательства, особенностей его репертуара и самой продукции, аудитории, на которую рассчитывали авторы «Посредника», т.е. все стороны функционирования этого предприятия во многом были заботой и обязанностью Толстого.

14 декабря 1884 г. Чертков писал Толстому: «Но успех дела вполне зависит от тех, кто имеет возможность доставлять содержание для этих изданий. *Моя роль посредническая — до такой степени побочная, что я не могу очень увлекаться.* Лишь получу материал, я сделаю все возможное для скорейшего доставления его крестьянам» (85, 129.Курсив наш. — *Г. Ж.*). «...Если вы с этим не согласны,— замечал 22 мая 1885 г. Чертков в письме Толстому,— то, пожалуйста, скажите Бирюкову остановить. И всегда так делайте. Мне же приходится действовать иногда самостоятельно, потому что мы живем в разных местах и списываться о каждой подробности затруднительно... Но я буду стараться всегда вам сообщать заблаговременно так, чтобы в случае, если я ошибусь, то вы могли бы остановить...» (85, 214).

Такая ситуация в основном сохранялась и в последующие годы деятельности «Посредника». Но уже на третьем году работы предприятия Чертков ощутил определенную усталость от рутины. 12 июня 1887 г. он сознался Толстому, что хочет уйти со своего поста. В ответе писатель довольно категоричен: «Еще не согласен я с тем, что вы хотите

отделаться от «Посредника»» (86, 62, 64). Такие рецидивы со стороны Черткова будут происходить вплоть до 1893 г., когда он действительно откажется от редакторства. Однако надо отдать должное Черткову. На 9 лет он взял на себя почти всю организационно-руководящую деятельность по созданию издательства и его функционированию. В этот период он занимался почти всей практической стороной общего дела.

1893 г. оказался кризисным и для «Посредника», и в деятельности В. Г. Черткова, который 3 марта делился с Толстым душевными терзаниями: «...совершается какой-то переворот в моей жизни; но, что именно, еще не знаю». Он хотел бы отойти от «текущих дел «Посредника»»[2]. В это время он уже постепенно осуществлял свой отход от дел издательства. 14 марта он сообщал Толстому, что начал работу над большой статьей «О правильном мышлении», к которой он будет потом неоднократно возвращаться, но так и не закончит, и добавлял: «Дело в том, что мне удается понемногу освобождать себя от поглощавших меня до сих пор занятий текущими делами «Посредника». Как я вам, кажется, писал, я сознаю неотложную необходимость разобраться в своей жизни внутренней и внешней. Для этого необходим некоторый спокойный досуг на неопределенное время, который я себе и очищаю». Часть этого досуга он собирался потратить на «письменную работу» (87, 185). 18 марта он поставил себе в дневнике такой диагноз: «В моей жизни наступил кризис». По контексту — душевный.

Толстой ощущал, что с издательством происходит что-то неладное. Он пытался организовать помощь Черткову и 3 апреля сообщал: «Если никто к вам не приедет (я писал Леве <сыну. — *Г. Ж.*> и надеюсь, что он поедет), то он <И. И. Горбунов-Посадов. — *Г. Ж.*> приедет» (87, 187). В пространных письмах от 8 и 10 апреля Чертков объяснял Толстому: «Я же решил во что бы то ни стало оставить на время это дело, которому я принадлежал 8 лет, так как у меня «*дошло*», и я должен временно *освободить себя от всякого порабощения и принадлежать самому себе*. Если людей нет у нас для такого дела, как «Посредник», то значит «Посредник» у нас и не нужен, а нужны земские начальники». И хотя Владимир Григорьевич признавал и не скрывал того, что он был раздражен; искал оправдательные мотивы, это уже были новые ноты в поведении Черткова (87, 192, 193. Курсив наш. — *Г. Ж.*).

Его эгоцентризм в тот момент более отчетливо проявился в письме к матери Елизавете Ивановне Чертковой от 9 апреля 1893 г.: «*Обстоятельства теперь со всех сторон так назрели, что я вижу себя вынужденным подписаться под своим делом «Посредника», обнаружить, что «Посредник» — есть не что иное, как Владимир Чертков*» (Курсив наш. — *Г. Ж.*)[3].

Письма Черткова свидетельствуют о том, что проблема не столько в его душевном кризисе, сколько в организации ведения дела. Он сам расширил его. Но никто из соредакторов не понял перегруженно-

сти Черткова производственными проблемами. Даже его помощник И. И. Горбунов-Посадов по семейным делам уехал на некоторое время из Ржевска, где тогда находилась редакция «Посредника». Толстой поздно заметил это. Он послал на помощь Черткову И. М. Трегубова (1858–1931) и объяснял: «Так случилось, что никому не удалось поехать... Горбунову нельзя было. Лева болен. Но вы не упрекайте нас, милый друг. Мы больше, чем любим дело «Посредника», мы все очень любим вас. Ну вот я и вздумал просить Трегубова. Он отлично владеет языком, очень трудолюбив, склонен к кабинетной работе и очень сверх того, что хороший, искренний человек, еще и приятный должен быть сожитель». «Дай Бог, чтобы вы отдохнули,— замечает Толстой в конце этого письма от 3 мая,— с новой энергией взялись за опять ставшее мне более близким дело «Посредника» и уяснили себе то, что хотите» (87, 194). Эти строки явно содержат обещание Толстого активнее участвовать в издательстве.

Он мягко, но настойчиво в письме от 22 июня отстаивал общее дело: «Насчет вашего намерения закрыть «Посредник» я только одно определенно думаю, это то, что опасно и вредно всегда бывает что-нибудь предпринимать... А еще то, что опасно делать себе простор для литературной деятельности: *это такая,— когда она настоящая, не от нас зависящая деятельность, что трудно предвидеть ее*». (87, 204. Курсив наш. — *Г. Ж.*) Переписка Толстого с Чертковым по этой проблеме еще некоторое время продолжалась, мало добавляя к сказанному. В нее включилась жена Черткова Анна Константиновна. Позиция Толстого по отношению к поступку соратника наиболее отчетливо видна из его письма к ней от 4 сентября: «Мне тоже жалко, что Владимир Григорьевич отдал «Посредник». И не столько за «Посредник», сколько за него. Они так родились вместе и слились, что им не следует разлучаться» (87, 218).

Так или иначе, в 1893 г. Чертков отказался от редакторства и передал обязанности И. М. Трегубову и П. И. Бирюкову. Толстой искал новые литературные силы для издательства. Он обратился к Б. Н. Леонтьеву (1866–1905), который помогал ему в борьбе с голодом: «П. И. Бирюков теперь будет заведовать изданиями «Посредник» — и народными, и интеллигентными изданиями — Чертков передал ему все дела, и я думаю, что если тоже, отрекшись от своей воли, делать это для служения Богу, то можно жить. Я стараюсь помогать этому делу выбором книг, и писанием туда, если успею и пропустят.

Не примете ли вы участие в этом деле?.. там дела очень много. И заведуют делами Поша Бирюков и И. И. Горбунов, оба люди, с которыми радостно вместе работать» (66, 379).

«В это время «Посредник» переживал кризис,— вспоминал П. И. Бирюков. — В. Г. Чертков, основавший его, уехал жить с семьей

на свой хутор, в Ржевск Воронежской губернии, и сосредоточил там редакторскую работу для будущих изданий. Печатание же новых книжек приостановилось ввиду сильных нападок цензуры. В. Г. Чертков должен был прекратить субсидию книжному складу, и «Посреднику» в Петербурге предстояло закрытие... Мы решили взять его на свое иждивение». Редакция переехала «в небольшой домик на Песках»; сумела активизировать продажу книг; получила материальную поддержку у К. М. Сибирякова; наконец, И. Д. Сытин предоставил редакции широкий кредит[4]. Кризис был преодолен.

Специально по делам «Посредника» в двадцатых числах сентября 1893 г. в Ясную Поляну приехал П. И. Бирюков. После бесед с Толстым он известил Черткова, что «Л. Н. дал уже мне порядочное количество тем научно-популярных, исторических и философских, и я приступаю уж к разработке их» (87, 224). В «Биографии Л. Н. Толстого» Бирюков замечает, что центр деятельности издательства тогда переместился из Петербурга в Москву, и Толстой стал принимать в ней еще большее участие.

Однако Толстой был не только руководителем «Посредника», он был и *полноправным совместным редактором*[5]. Интересна в связи с этим работа редакции над рукописью об Александре Македонском. Она проходила в 1888 г., то есть редакция в этом уже накопила определенный опыт. Начинала книжку писать А. М. Калмыкова, продолжил и довел ее до конца П. В. Засодимский, затем ее редактировал Чертков. Познакомившись с рукописью, Толстой высказал замечания в письме к Черткову от 11 марта: «Александра Македонского только что прочел. Это превосходно. Я кое-что отметил. Заключение все длинно, хотя и хорошо, и нужно, потому что сама вещь с ужасной силой говорит за себя. Вместо всего заключения я бы тут в конце поместил бы предание о мирном таинственном народе: оно все выражает. Я отметил кое-что в смысле цензурном и советую еще многое выкинуть в видах цензурной безопасности» (86, 132–133).

Чертков ответил 8 апреля: «...согласно вашим указаниям я в Александре Македонском выкидываю все заключение». Но он сомневался в необходимости перестановки сказания о праведном народе, хотя оно «весьма подходит для окончания нашей книжки», «подводит нравственный итог» ее содержанию. «Я, однако, не достаточно уверен в себе, чтобы самому решить,— признавался Чертков,— и потому прошу вас сказать мне ваше мнение об этом» (86, 152–153). Повествование о Македонском сначала вышло вместе с рассказом о Марке Аврелии в одной книжке «Два победителя. Царь македонский Александр и римский император Марк Аврелий» (СПб., 1890), затем — отдельной книжкой «Александр Македонский — знаменитый завоеватель, прозванный Великим» (М., «Посредник», 1890).

Этот пример работы «Посредника» над рукописями типичен, как и роль в этой работе Толстого. Об этом же говорят и его многочисленные письма Черткову и Бирюкову, особенно те, которые носят как бы отчетный характер. В них писатель перечисляет, что он сделал сам для «Посредника» и что по их поручениям. В таком случае типичной в них является фраза: «Ну, теперь следующий листок о делах по пунктам, а их много» (Из письма Черткову от 6 апреля 1888 г. — 86, 148). Проиллюстрируем хотя бы фрагментом из одного показательного в этом смысле письма от 1–2 июня 1885 г. тому же адресату:

«Теперь по пунктам:

1) *Бирюков прекрасный редактор, но вы лучше...* (Далее, что особенно интересно, Толстой подчеркивает духовную общность редакции «Посредника» — *Г. Ж.*) *Я знаю, что в этом общем Божьем деле вы спрашиваете того же самого Хозяина, который и мне предписывает, и потому всегда оказывается, что то, что Он вам велел, то самое и мне.*

2) *Крестик я писал, чтобы снять*». (За этой фразой стоит целая проблема. Фирменное оформление обложек книжек «Посредника» включало красную кайму и слова-девиз, кроме того, по предложению Черткова ставился крест. Но уже 8 мая 1885 г. Чертков сообщал Толстому: «С разных сторон меня предупреждают, что кресты на обложках наших изданий вредят их распространению» (85, 195). Причину этого он видит в усилении у крестьян «ненависти к попам», но скорее причина в другом: для лубочного издания элемент официальности неприемлем, крест был не привычен для аудитории, он настораживал ее. Чертков предлагал снять крест с обложек книг. 20–22 мая Толстой ответил согласием («не имею насчет этого никакого мнения». — 85, 207).

«3) Нагорная проповедь без этого названия будет, под стихами «Придите ко мне все труждающиеся...» (Толстой работал над введением к «Нагорной проповеди». — *Г. Ж.*).

4) 5) 6) К девченкам лучше в виде эпиграфа. (Маленький рассказ «Девчонки умнее стариков» в первом варианте имел в названии слова из Евангелия; во втором — Толстой дал приведенный заголовок, а этими словами закончил рассказ. Чертков советовал поставить их эпиграфом под заглавием. — Г. Ж.)

7) С Сократом случилась беда. Я стал переделывать, стал читать Меморабилиа, Платона и увидал, что все это можно сделать лучше... (Здесь и далее речь идет о произведении А. М. Калмыковой, которое редактировал Толстой. Его не удовлетворил вариант. Он увлекся чтением литературы о Сократе и начал снова работать над рукописью, что обычно затягивало выход книжек в свет. — *Г. Ж.*)

8) Бирюкову сейчас напишу письмо с возвращением статьи Свешниковой. Я вчера только получил эту статью (изложение эпизода из романа В. Гюго «93-й год». — *Г. Ж.*) и ваше письмо с ними. Я прочел эту

статью вслух при наших и кузминских детях и взрослых. Всех захватило. Язык не безупречный в описаниях, но поправлять не буду — как бы не случилось того, что с Сократом, и прибавлять в конце не буду. И так хорошо. Как вы хотите издать, с красной рамкой или нет? По-моему, с красной рамкой.

9) Места из житий святых попрошу кого-нибудь из домашних выписать и пришлю Бирюкову. Почему житие Беликова без рамки?

Я между делами написал один рассказец хороший из записанных мною тем. Жду Ге и попрошу его сделать рисунки» (85, 211).

Письмо, на мой взгляд, не нуждается в особом комментарии. По нему хорошо видно, что Толстой весь в заботах и хлопотах по делам «Посредника» и еще в отличие от других соредакторов успевает написать рассказец, организовать свое окружение, включая и часть семьи, на участие в этих делах.

Это же можно сказать о тех многочисленных связях «Посредника», которые устанавливались через Толстого. «...здесь в Москве существуют кружки,— замечает Лев Николаевич в письме к Черткову от 17 февраля 1888 г.,— один, мне знакомый, в нем участвует Сербская, занимающаяся изданием и выбором книг для народа. Я предложил кружку просматривать эти рукописи и решать, стоит ли ими заменять то, что переделано, и Сытину предложил им дать на просмотр рукописи. Обе стороны согласились» (86, 124).

Несколько девушек, проживавших в Тифлисе, высказали желание участвовать в переделке произведений для народных изданий. Толстой писал «тифлисским барышням» 17 марта 1887 г.: «Книжки сытинских изданий, большие так называемые романы, все разосланы желавшим заняться их переделкой кроме одной, которую и посылаю. Остаются мелкие — листовки; переделка или замена их хорошим содержанием еще более нужна. Посылаю таких 4. Если же бы вам вздумалось независимо от посылаемых книг составить из известных хороших романов Диккенса, Элиота и др., сокращая и опрощая их, книжки в размере той, которую посылаю, то это было бы очень хорошо» (64, 28–29).

Таким образом, с конца 1893 г. роль официального руководителя «Посредника» переходит к П. И. Бирюкову, позднее — к И. И. Горбунову-Посадову. Значение же самого Толстого остается традиционно в большей или меньшей степени определяющим содержательно-тематическую направленность «Посредника», языковой уровень его продукции. Конечно, в издательстве выходили и такие произведения, которые не попадали в поле зрения Толстого. Набрав опыта и базируясь на указаниях Льва Николаевича, Чертков порой самостоятельно принимал решения. Но это не было принципиальным.

В огромной по размеру книге В. Шкловского «Лев Толстой» (1963 г.) явно сквозит предубеждение к В. Г. Черткову, взятое им на-

прокат у Софьи Андреевны[6]. Шкловский предъявляет претензии Черткову в том, что тот виновен «в сухости «народных рассказов» и в запретности широкого творчества для Толстого»; «Для Черткова нужны прямые, черство сказанные слова»[7]. Без сомнения, Толстой — художник, Чертков — ремесленник слова. Наивно было бы думать, что Толстой, вспомним к случаю В. В. Маяковского, «вставал на горло собственной песне» в угоду Черткову. Он искал выход своего Слова к народу, понимая, что его первые романы еще не могут им читаться. Этот поиск дал миру такие шедевры, как «Воскресение», «Власть тьмы». И этого вполне достаточно. Но был позитивен и баланс в деятельности «Посредника».

Поскольку не один Шкловский преувеличивает значение влияния Черткова на Толстого, проиллюстрируем реальную ситуацию по «воздействию» Владимира Григорьевича на создание писателем произведений для «Посредника», где как соредакторство оно естественно более ощутимо. Работая над ними старательно и основательно, не щадя сил и времени, Толстой прислушивался к советам близких и сотрудников издательства, особенно Черткова, мнением которого дорожил. Эти советы нередко шли вразрез с представлениями Толстого о творчестве, с его художественным талантом, писательским чутьем. По Толстому, повторим его слова, литературная деятельность: «это такая,— когда она настоящая, не от нас зависящая деятельность...» (87, 204).

Для примера остановимся на сказке Толстого «Свечка», созданной по рассказу подвыпившего крестьянина. В зачине ее говорится: «Было это дело при господах. Всякие были господа. Были такие, что смертный час и Бога помнили и жалели людей, и были собаки, не тем будь помянуты. Но хуже не было начальников как из крепостных, как из грязи да попали в князи! И от них-то хуже всего житье было» (25, 106). В сказке есть один такой господский прихвостень — приказчик Михаил Семеныч, который заставил крестьян пахать в Пасху. Они отказывались и ругались на него, а вот божий человек Петр приладил на соху пятнадцатикопеечную свечку и стал боронить землю. При этом как борону ни изворачивал, ни встряхивал, его свечка продолжала гореть. В конце сказки у Толстого приказчик был наказан: он погибает.

Чертков, познакомившись с этим произведением, пришел к выводу о том, что по воле Бога исполняется желание злых мужиков. «Эта ужасная смерть приказчика, как раз после того, как он сознал торжество добра над злом и признал себя побежденным,— замечал Чертков 7 ноября 1885 г. в письме к автору,— <...> все это ужасно тяжело напоминает мне ветхозаветный рассказ о пророке, отомстившем смертью детям, смеявшимся над ним <...>. И кто ни читает этот рассказ <...> — все в один голос находят, что рассказ и по форме и по содержанию

прекрасен, только вот конец все портит» (85, 277). Чертков предлагал изменить концовку произведения.

Завязалась переписка об этом. Толстой сообщал Черткову, что думал над сказкой целый вечер. Под давлением соратника он переделал ее. Сказка вышла в «Посреднике» в 1886 г. с другим концом и под названием «Свечка, или как добрый мужик пересилил злого приказчика». Но Толстой остался при своем мнении, которое было высказано им в письме Черткову 11 ноября 1885 г.: «...все это не годится и не может годиться. Вся историйка написана ввиду этого конца. Вся она груба и по форме и по содержанию, и так я ее слышал, так ее понял, и иною она не может быть — чтобы не быть фальшивою» (85, 276) Позднее, при издании сказки в собрании сочинений, писатель вернул ей и старое название, и концовку: приказчик погибал на колу.

Эпизод с этим рассказом не был исключительным во взаимоотношениях Толстого с Чертковым. Писатель вообще нередко возражал компаньонам по «Посреднику», когда дело касалось художественных произведений и когда они выступали против изображения в них темных сторон народной жизни. Так, в сентябре 1885 г. Толстой послал Бирюкову полученное им для ознакомления письмо Черткова к автору «Посредника» Е. С. Некрасовой с таким характерным комментарием: «Письмо хорошо, но о предмете этого письма можно и должно сказать кое-что, если говорить о художественном произведении — о книжке, например. Я теперь поправляю рассказ бабы, поехавшей в Сибирь за мужем. Это — вся развратная жизнь и лживая, и в ней высокие черты. *Нельзя и не должно скрывать лжи, неверности и дурное. Надо только осветить все так, что то — страданья, а это радость и счастье.* Не правда ли так, Владимир Григорьевич и Павел Иванович?» (85, 256. Курсив наш. — *Г. Ж.*).

Рассказ Т. А. Кузминской «Бабья доля», о котором говорит Толстой, записанный со слов простой женщины,— яркий пример жизненного материала, где невозможно отделить позитивное и негативное. Жизнь в нем предстает во всей ее сложности. В комментарии Толстого чувствуется отзвук его возражений Черткову по поводу рассказа «Свечка» и основная обращенность к Владимиру Григорьевичу, хотя он написан Бирюкову.

Показательна в этом смысле конфликтная ситуация, возникшая между Чертковым и Толстым в октябре 1898 г. при устройстве духоборов в Канаде. Практичные американские издатели потребовали от Толстого в качестве гарантии писать для них конспекты представляемых в печать произведений, давать им предварительно читать их первые главы. Чертков на это согласился, что вызвало возмущение Толстого. Он отверг все требования такого рода как ущемляющие свободу творчества.

«...как мне ни желательно собрать деньги для духоборов,— объяснял Толстой Черткову,— я не могу на это согласиться, потому что это и непрактично, и есть средство, кроме унижения без всякой причины, еще и продешевить товар <...>, мое возмущение против конспектов и предварительного чтения есть не гордость, а некоторое *сознание своего писательского призвания, которое не может подчинить свою духовную деятельность писания каким-либо другим практическим соображениям*. Тут что-то есть отвратительное и возмущающее душу» (88, 134. Курсив наш. — *Г. Ж.*) Мало того, Толстой винит Черткова: именно он заставил его раскаяться в том, что ему приходится участвовать в сделке с такими издателями.

Наконец, еще один эпизод такого рода. В январе 1906 г. Толстой написал острое, обличительное «*Обращение к русским людям. К правительству, революционерам и народу*». В сопроводительном письме к Черткову 16 января Толстой утверждал, что «*попытаться сказать это теперь моя обязанность перед Богом*» (36, 710. Курсив наш. — *Г. Ж.*). Однако Чертков отказался печатать обращение, подверг текст резкой критике, предлагая исключить ряд мест, содержавших осуждение революционеров, и усилить критику правительства.

Не соглашаясь с замечаниями соратника, Толстой подчеркивал: «*Статья эта для меня целая история моей внутренней жизни...*» — и объяснял: «...я писал правительству, становясь на его точку зрения, также и революционерам, также и народу. Даже вся статья эта образовалась из написанного мною довольно горячего обращения к правительству <...> для того, чтобы не стать в положение помогающего правительству, я написал и то, что думал по отношению других двух. Вообще в этой статье я, несмотря на свое удаление от центра борьбы, был захлестнут ее волной и написал под влиянием борьбы, с одним желанием утишить, ослабить ее» (89, 35–36).

Обращение Толстого в России никто не взялся опубликовать целиком. В марте 1906 г. издательство «Обновление» попыталось его выпустить в свет, но набранная статья была конфискована цензурой (см.: 89, 34). Однако писатель, по его словам, поставил себе непреложное условие: статью «печатать всю или ничего. А изменять, прибавлять к ней, если бы кто решился напечатать, мне не хочется» (89, 36).

Чертков 29 марта снова предложил Толстому напечатать его статью уже в новой редакции. Тот снова отказался. Полемика продолжилась и в апреле. 2 апреля Толстой дает Черткову настоящую отповедь: «...я истинно с большим сожалением никак не могу согласиться на ваши поправки. Я не вижу им никакого основания, кроме того awe (благоговейный страх. — *Ред.*), который внушают в наше время к себе все либералы, революционеры, которому вы поддались и которого я не испытываю. Подтверждает меня в этой мысли то, что люди во-

все не христиански чувствующие, как вы, делали те же замечания, как и вы, мотивируя их отсутствием доброты. Другое то, что вы не делали замечания, которые следовало сделать, при моих гораздо более грубых отзывах о царе и властвующих. <...> Не сердитесь и не сетуйте на меня, и не будем больше говорить об этом» (89, 39).

Позже Чертков снова вернулся к разговору об обращении, прося разрешения сделать в него вставки о необходимости уступок со стороны правительства из письма Толстого от 15 августа. На это Лев Николаевич заметил: «Это не в духе статьи и похоже на программу, чего я боюсь. Оставьте, как есть». (89, 42) То же самое сказано, хотя и более категорично, в письме к Черткову дочерью писателя М. Л. Оболенской: «...вставка так, как вы ее составили, при той статье получает совершенно другой характер и придает другое значение» (89, 43).

Затянувшийся эпизод с обращением закончился согласием Толстого при публикации статьи на «Заметку от издателей» «Свободного слова», что произошло уже в ноябре 1906 г.[8] (36, 713–714). Обращение вышло в виде брошюры в Петербурге в издательстве «Свободное слово», открывая серию его публикаций в России.

Таким образом, нельзя считать, как это делается некоторыми историками литературы, литературоведами, что Толстой в своем творчестве пошел на поводу Черткова и попал под его влияние. Толстой нередко принимал советы компаньона, особенно о произведениях, проходящих через «Посредник». Как свидетельствует его переписка с редакцией, он даже настаивал на том, чтобы его соратники откровенно высказывали мнение о его творениях и критиковали их. «Совет ваш хорош и мне нужен,— замечает 21 января 1898 г. Толстой в письме к Черткову, находившемуся тогда в Англии. — Мне вообще недостает вас — вашей критики,— которой я часто пользовался и люблю пользоваться,— критикой того, что в моих писаниях не добро — не христианско» (88, 75). Но при этом Толстой-художник оставался верен своим творческим принципам. Да и собственно критику друзей и недругов он использовал в соответствии с этими же принципами, которые и для друзей были не всегда до конца понятны.

Приведенные факты, без сомнения, свидетельствуют о том, что основной руководящей и интеллектуальной силой «Посредника» был Л. Н. Толстой, то есть тот, по словам Черткова, «кто имеет возможность доставлять содержание для этих изданий». *Толстой был стержнем всего дела, собиравшим вокруг себя сотрудников для этого большого, хорошего и гуманного дела. Он же определял тип самого издательства, характер его деятельности, ее направление, выработку форм, а главное того простого и понятного языка, на котором оно общалось с народом.* Именно эту роль Толстому отводили его помощники по издательству народной литературы и ее никто из них, конечно, не мог осуществлять.

Его ближайший помощник П. И. Бирюков назовет это «борьбой за *реформу народной литературы*»[9]. Толстой на практике выработал целую систему требований к авторам, пишущим для народа. С самого начала деятельности «Посредника» он пытался определить характер народной духовной пищи, о чем свидетельствует его переписка и предисловие к сборнику рассказов «Цветник» — «Прочти прежде чем книгу» (1886 г.). В нем, по его словам, он «старался выразить, в чем состоит дело поэтического писания», то есть создания литературы, обращенной к народу[10].

Центральными проблемами его статьи были *проблемы правды и нравственности* этой литературы, народных рассказов, которые тогда Толстой создавал сам и стремился получить для «Посредника» от других авторов. Нравственное отношение к описываемому предмету и легло в основу издательской политики «Посредника».

«Цветнику» предпослан многозначительный эпиграф об ответственности за Слово: «...Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф 12, 36–37.)

Новаторский тип издательства, выработанный под руководством Толстого, позволял значительно полнее по сравнению с большинством других предприятий реализовать просветительские задачи. Это хорошо понимали и вдумчивые современники великого писателя. «Впервые в русской литературе такой гениальный талант посвящен сермяжному народу. Громадная популярность, почести, огромные средства, роскошь — все это принесено в жертву простому народу, который не в состоянии даже знать это,— мужественно докладывал в Главное управление по делам печати его чиновник особых поручений, цензор К. Н. Воронич (1849–1903). — Нужно было отличаться патриотизмом Минина и носить в душе веру истинного подвижника, чтобы, сознавая необходимость нравственного просвещения народа своего, поступить со своим талантом так, как поступил Толстой. Это не поступок, а подвиг, за который каждый истинный россиянин при встрече с Толстым должен поклониться ему в ноги»[11].

---

[1] *Динерштейн Е. А.* Во имя благого дела (Л. Н. Толстой, И. Д. Сытин и «Посредник») // Книга: Исследования и материалы. Сб. XXVII. М., 1978. С. 73.

[2] Цит. по: *Муратов В. В.* Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков: По их переписке. М., 1934. С. 192.

[3] Там же. С. 195.

[4] *Бирюков П. И.* Начало работы И. И. Горбунова-Посадова в книгоиздательстве «Посредник» // Сорок лет служения людям. Сб. ст., посвященный общественно-литературной и книгоиздательской деятельности И. И. Горбунова-Посадова. М., 1925. С. 16–17.

[5] См.: *Жирков Г. В.* Л. Н. Толстой как редактор «Посредника» // Журналистика XXI века: исторический опыт и развитие. Межвуз. сб. Вып. X. Владикавказ, 2008. С. 51–70.

[6] См.: *Толстая С. А.* Дневники. В 2 т. М., 1978. Т. 2. 1901–1910. С. 120. (о Черткове: «...он убил художественную искру в Л. Н.» и т.д.).

[7] *Шкловский В.* Лев Толстой. М., 1963. С. 609–610.

[8] Свободное слово (Петербург). 1906. № 1, ноябрь.

[9] *Бирюков П. И.* Д. Сытин и дело «Посредника» // Жизнь для книги. М., 1985. С. 350.

[10] Прочти прежде чем книгу // Цветник. Сб. М., Посредник. 1887. С. 3–5.

[11] *РГИА*. Ф. 776. Оп. 20, 1887 г. Ед. хр. 922. Л. 62. См. подробнее: *Жирков Г. В.* Л. Н. Толстой и цензура. СПб., 2009. С. 126–128.

И. Б. ПАВЛОВА
г. Москва

М. Е. Салтыков-Щедрин и издательство «Посредник»

М. Е. Салтыков-Щедрин и Л. Н. Толстой познакомились в 1856 г. в Петербурге, общались они и в последующие два года. Как указала С. Я. Долинина в своей диссертации «Л. Н. Толстой и М. Е. Салтыков-Щедрин в 1850–1860-е годы», последняя известная нам встреча писателей, до сих пор не отмечавшаяся исследователями, происходила 10 марта 1859 г. на чествовании актера А. Е. Мартынова. В дальнейшем их контакты ограничивались редкими письмами, но оба внимательно следили за творческой деятельностью друг друга.

В 1870-е — начале 1880-х гг. Салтыков-Щедрин приглашал Толстого к сотрудничеству в «Отечественных записках», которое, однако, не состоялось. После закрытия журнала в 1884 г. и в связи с возникновением просветительского издательства «Посредник» Толстой предложил сатирику принять участие в этом важном для народа начинании. 1–3 декабря 1885 г. он писал Салтыкову-Щедрину: «...мне кажется, вспоминая многое и многое из ваших старых и теперешних вещей, что если бы вы представили себе этого мнимого читателя, и обратились бы к нему, и захотели бы этого, вы бы написали превосходную вещь или вещи и нашли бы в этом наслаждение, то, которое находит мастер, проявляя свое мастерство перед настоящими знатоками. Если бы я сказал вам все, что я думаю о том, что *именно* вы можете сделать в этом роде по моему мнению, вы бы, несмотря на то, что не считаете меня хитрым человеком, наверно бы приняли за лесть. У вас есть все, что нужно — сжатый, сильный, настоящий язык, характерность, оставшаяся у вас одних <...> и по содержанию — любовь и потому знание истинных интересов жизни народа...» (63, 307–308).

Эти слова Толстого прежде всего могли относиться к «народным главам» цикла «Губернские очерки» (раздел «Богомольцы, странники и проезжие»), к известным ему сказкам сатирика. Так, например, реминисценции из «Повести о том, как один мужик двух генералов

прокормил» (1869) звучат в пьесе «Плоды просвещения», намек на эту сказку содержится в письме к С. А. Толстой от 6 апреля 1886 г. Позднее Д. П. Маковицкий зафиксировал 19 февраля 1905 г. в дневнике: «Раньше Л. Н. вспомнил сказку Салтыкова о двух генералах на острове и рассказал ее содержание»[1]. Что касается сказки «О потерянной совести» (точное название «Пропала совесть»), то автор «Яснополянских записок» приводит на страницах дневника за ноябрь 1908 г. такую оценку Толстого: «Остроумно. Но мне неприятно шуточное отношение к вопросам огромной важности»[2].

Салтыков-Щедрин принял предложение и наметил те вещи, которые хотел бы предложить для публикации. Но дело приостановилось, и переговоры возобновились уже по инициативе сатирика лишь в 1887 г. 12 марта писатель обращался в издательство: «Уже довольно давно Л. Н. Толстой и В. Г. Чертков предлагали мне участвовать в изданиях «Посредника», но в то время у меня ничего подходящего не было. Теперь же кое-что набралось, и я препровождаю при сем в склад пять сказок, которые и прошу издать, если это окажется удобным. Две из них: «Самоотв<ерженный> заяц» и «Бедный волк» я полагал бы издать вместе (в одной книжке), так как между ними есть связь; остальные — порознь. При этом я вполне подчиняюсь тем условиям, какие полагаются для прочих писателей, участвующих в изданиях «Посредника». Я попросил бы ответить на настоящее письмо, и притом по возможности скорее, потому что я тяжко болен»[3].

Посетив Петербург, В. Г. Чертков, один из организаторов «Посредника» и доверенное лицо Толстого, провел переговоры с Салтыковым-Щедриным. Результатом этого свидания стало письмо Толстому от 19 марта 1887 г.: «Щедрин прислал нам несколько своих вещей. Я был у него. <...> Во всех почти его рассказах, подходящих сколько-нибудь к нашей цели, есть что-нибудь прямо противоположное нашему духу; но когда указываешь на это, то он говорит, что всю вещь написал именно для этого места, и никак не соглашается на пропуск»[4].

«Из этого письма Черткова ясно,— делала заключение исследователь М. Чистякова,— что Салтыков по-своему понял задачи «Посредника» и потому только так охотно пошел навстречу сделанному ему Толстым предложению, что вновь организованное издательское предприятие он рассматривал по-видимому как сильное орудие для агитационного воздействия на широкие народные массы в политическом и революционном отношении. Однако такие цели противоречили принципиальной установке организаторов «Посредника» и потому по поводу предложенного Салтыковым для напечатания материала начались переговоры, не приводившие к взаимному соглашению»[5].

Сказки «Бедный волк», «Самоотверженный заяц» и «Пропала совесть» были отклонены. По словам Черткова, Толстой назвал «изуми-

тельной» «Рождественскую сказку», но не принял ее «нехристианского конца». От лица писателя Чертков просил Салтыкова-Щедрина изменить или опустить заключительную часть. Но сатирик ответил отказом: «Вы хотите отрезать конец? Ну, так я вам скажу, что свои произведения я не отмериваю на аршин!»[6]

Возникает вопрос, чем же окончание сказки могло не устроить Толстого. «Рождественская сказка» (1886) начинается гимном Христу и Правде. С глубоким чувством передает автор проповедь, которую произнес сельский батюшка, крестьянский пастырь. Он напомнил слушателям, что главная Евангельская заповедь возлюбить Бога всем сердцем и ближнего как самого себя. Слова праздничной проповеди встречают полный отклик в душе мальчика, сына бедной вдовы-помещицы, Сережи Русланцева. В отличие от «маленького русского дитя», в чьем сердце может приютиться совесть из сказки «Пропала совесть», этот образ лишен всякой отвлеченности, вполне конкретен, что и предопределяет драматический исход. Вместить Правду оказалось маленькому герою не под силу: Сережа заболевает и погибает.

«— Мама! — лепетал он: — смотри; весь в белом... это Христос... это Правда... За Ним... К Нему...

Он опрокинулся на подушку, по-детски всхлипнул и умер.

Правда мелькнула перед ним и напоила его существо блаженством; но неокрепшее сердце отрока не выдержало наплыва и разорвалось»[7].

Впоследствии исследователи выяснили, что эта сказка была названа Чертковым по ошибке. Речь шла об одном из ярких произведений последнего периода жизни Салтыкова-Щедрина «Христова ночь» (1886), имеющего подзаголовок «Предание». Тем самым автор связал его с фольклорной традицией и одновременно во многом эту традицию переосмыслил. Сказка начинается пронзительно горькой русской пейзажной картиной, типичной для творчества сатирика: цепенеющая под снежной пеленой среди глубокого безмолвия ночи равнина, молчаливый лес, придавленный инеем, темное небо, усыпанное звездами, льющими на землю холодный, трепещущий свет, траурные точки деревьев, утонувших в сугробах. На всем «печать сиротливости, заброшенности и убожества»[8]. «Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой»[9]. Вдруг раздается гудение полночных колоколов, и окрестность оживает. По дороге потянулись серые, замученные нищетою люди. Свое смирение и воздыхания — вот, что они несли Воскресшему Богу. За ними шли богатые, благополучные, самодовольные со своими мечтами. Неожиданно наступило торжественное молчание. «Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения,— как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное

чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый Бог! воскрес Бог, к которому искони огорченные и недугующие сердца вопиют: «Господи поспешай!»»[10]. Таинственный перерыв — своего рода отмена относительных законов этого бытия. Чудо Пасхальной ночи открывает людям новую реальность. Спаситель благословляет природу, все создания, населяющие землю. Затем Он обращается к людям с истерзанными сердцами и поникшими долу головами, своему долготерпеливому воинству, которому вера помогает нести бремя жизни, и смотрит на них с великой скорбью. Желая подчеркнуть, что христианство религия страждущих, художник проводит параллель между голгофскими муками и страданиями угнетенных. Искупитель обещает обездоленным, что обязательно «пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас»[11]. Христос открывает путь к спасению и богатым, алчным, жестоким правителям, неправедным судьям, лицемерам и даже душегубцам. «Этот путь,— говорит Он,— суд вашей собственной совести»[12]. В своих переживаниях, исканиях, надеждах Салтыков-Щедрин глубоко национален. Особенно близка ему проповедь любви ко всем обиженным, бесправным, обетование, что Спаситель сотрет с их лица всякую слезу. В то же время та часть произведения, которая относится к приговору Иуде, действительно не имеет ничего общего со Священным Преданием. «Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми, вместо посоха, древесный сук, на котором ты чаял найти смерть,— и иди! И едва замерло в воздухе слово Воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеивая смуту, измену и рознь»[13]. Писатель с помощью этого сюжетного хода придал максимальную выразительность своей мысли, что предатель Истины предопределил свою участь — ему не может быть прощения.

В 1887 г. «Посредник» опубликовал без указания имени автора другую «Рождественскую сказку» — переложение повести Ч. Диккенса «Рождественский гимн в прозе» (1843) о раскаявшемся скряге. Щедринское произведение Толстой собирался включить в «Круг чтения». Об этом свидетельствует запись Д. П. Маковицкого, сделанная 22 февраля 1905 г.: «Щедрина — о мальчике, который слушал проповедь,— надо бы в «Круг чтения»,— сказал Л. Н. — «Круг чтения» не такой, какой мог бы быть. Можно было бы много больше собрать хорошего»[14].

Несмотря на мучительную сложность стоявших перед ним общественных проблем, Салтыков-Щедрин оставался непоколебим в своей вере, что Правда «придет и весь мир осияет»[15]. В этом он опирался на стихийную народную жажду Истины и справедливости, идеи утопи-

ческого социализма, что отразилось в «Губернских очерках», «Господах Головлевых», «Пошехонской старине», упомянутых выше сказках. Писатель «горечи и гнева», социальный моралист, Салтыков-Щедрин не смирялся с разлитым в окружающей действительности злом. Мировоззренческое различие сатирика и толстовского круга было очевидным. Поэтому участие Салтыкова-Щедрина в издательском проекте «Посредника», несмотря на первоначальную заинтересованность обеих сторон, не состоялась.

---

[1] *Маковицкий Д. П.* У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки»: В 5 кн. // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. М., 1979. С. 181.

[2] Там же. Кн. 3. С. 263.

[3] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч.: в 20 т. М., 1977. Т. XX. С. 318.

[4] *Чистякова М.* Л. Н. Толстой и Салтыков // Литературное наследство. Т. 13–14. Кн. II. М., 1934. С. 517.

[5] Там же. С. 516.

[6] *Макашин С.* Салтыков-Щедрин. Последние годы. Биография. М., 1989. С. 384.

[7] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. Т. XVI-1. С. 226.

[8] Там же. С. 206.

[9] Там же.

[10] Там же.

[11] Там же. С. 208.

[12] Там же. С. 209.

[13] Там же. С. 210.

[14] *Маковицкий Д. П.* У Толстого. 1904–1910. «Яснополянские записки»: В 5 кн. // Литературное наследство. Т. 90. Кн. 1. С. 186.

[15] *Салтыков-Щедрин М. Е.* Собр. соч. Т. XVI-1. С. 218.

Е. П. ГРИЦЕНКО
Ясная Поляна

Толстые — издатели книг для народа

В середине 1880-х гг. задача выпуска общедоступных книг для народа, отличающихся высоким нравственным содержанием, стала одной из главных задач в общественной деятельности Л. Н. Толстого. На собрании в Хамовниках 14 февраля 1884 г. Толстой, выступая перед сочувствующими делу народного издательства, особенно остановился на том, что необходимо «издавать такого рода книги, которые имеют вечное мировое значение» (85, 27). В связи с этим для печатания он предлагал, прежде всего сочинения древних и средневековых классиков, Геродота, Монтеня, Паскаля, русские былины, полагая, что эти «творения должны быть — читаемы всеми и одинаково для всех будут поняты» (25, 527).

Толстой полагал, что при отборе материала для печатания не следует делать никаких ограничений и выпускать книги с целью «образования русских людей». По его определению, нужно избегать само понятие «народ», так как условного «деления народа и не народа» не может быть (85, 27).

Начало осуществления плана Толстого было положено его единомышленником, В. Г. Чертковым, который в конце ноября 1884 г. заключил договор с известным издателем и просветителем И. Д. Сытиным, взявшимся печатать и распространять книги народного издательства, получившего название «Посредник». Во главе книжного дела встали Чертков (при непосредственном участии Толстого), а с 1897 г. — И. И. Горбунов-Посадов. В 1903 г. «Посредник» отмежевался от фирмы «И. Д. Сытин и компания» и сделался самостоятельным издательством.

Издательство сыграло важную роль в формировании читательского вкуса и распространении в народе знаний по различным отраслям науки и искусства. Впервые простые читателя смогли познакомиться с произведения выдающихся российских писателей: Г. И. Успенского, В. М. Гаршина, Д. В. Григоровича, А. Н. Островского, Н. С. Ле-

скова, А. П. Чехова, А. И. Эртеля, К. М. Станюковича, В. Г. Короленко, В. А. Слепцова, П. В. Засодимского, Н. Н. Златовратского, А. М. Горького, Н. А. Рубакина, Н. Д. Телешова и др. Из иностранных авторов в «Посреднике выходили книги: Ч. Диккенса, Ги де Мопасана, Б. Гарта, Г. Лонгфелло, А. Доде, Бичер Стоу, А. Франса, В. Шекспира, Г. Сенкевича, Д. Элиота, Б. Паскаля, Р. Эмерсона.

Примером настоящего искусства, которое должно служить интересам простых людей, являлись для Толстого произведения французского писателя Ги де Мопассана, творчеством которого он восхищался, считая его лучшим сочинителем «новой эпохи» после В. Гюго и единственным, кто понял и воссоздал картину духовного падения общества. Его роман «Жизнь» был одним из самых любимых у Толстого, и его он неоднократно перечитывал. В нем, по мнению Толстого, соединяются все три условия истинного художественного произведения: правильное (нравственное) отношение автора к предмету, простота формы и искренность, т.е. любовь к тому, что описывается.

В 1893 г. писатель приступил к изданию в «Посреднике» произведений Мопассана, на которые в России появился большой спрос. Отобрав его лучшие сочинения, Толстой предложил своему знакомому переводчику Л. П. Никифорову перевести их на русский язык. В результате «Посредник» издал пять его книг, в которые вошли три романа («Жизнь», «Монт Ориоль», «Милый друг») и 24 рассказа. В их числе находились: «Рок», «Ребенок», «Пышка», «Ночь», «На реке», «Отец Симона». В своем предисловии к одной из книг Мопассана, изданной в «Посреднике», Толстой отмечал, что в его «мелких рассказах» автор сумел показать примеры «духовного рождения личности» (30, 487–508).

Помимо подбора и редактирования французских оригиналов, Толстой сам лично перевел некоторые из них. Специально для народного издательства он подготовил перевод рассказов «Не удалось» и «Осечка». В то же время писатель проявил себя не только как переводчик, но и как своеобразный соавтор Мопассана. Сохраняя сюжет и композицию полюбившихся ему произведений, он дал им свой вольный пересказ. Таким образом в «Посреднике» появились новеллы «Порт» (Франсуаза) и «Дорого стоит», ставшие своеобразным переложением Толстого.

Среди изданий большое место занимали сочинения самого писателя, который передал для печатания свои рассказы «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем люди живы», «Много ли человеку земли нужно», «Свечка», «Кавказский пленник». Выход рассказа Толстого «Чем люди живы», изданной в марте 1885 г. отдельной книжкой, и положил начало многообразной деятельности «Посредника». Этот рассказ стал своеобразным художественным манифестом и программой

нового издательства, образцом подлинно народной в представлении Толстого литературы, которая должна отличаться, прежде всего нравственным содержанием.

Наряду с художественными изданиями в «Посреднике» выпускалась и литература по педагогике, медицине, географии, химии, астрономии, истории, философии, арифметике, алгебре, сельскому хозяйству. Толстой, считая научно-популярный отдел одним из самых важных, видел его задачу не просто в сообщении знаний, а в выпуске таких книг, «которые бы вызывали потребность в мышлении по известному предмету» (63, 397). Обращаясь к авторам, он призывал их писать понятным и хорошим языком, но в то же время строго и серьезно.

Полагая, что простого читателя необходимо познакомить с сочинениями известных философов, Толстой, прочитав в октябре 1892 г. дневник швейцарского философа А. Амиеля, сразу решил рекомендовать понравившиеся ему отрывки для печатания в «Посреднике», которые вместе с предисловием писателя появились там в 1894 г. Первостепенное значение для Л. Н. Толстого имело то, что в этой книге «открываются духовные искания личности, путь человека к Богу» (63, 210–211).

Большое внимание Толстой старался уделять вопросам, связанным с гигиеной питания, кормлением детей, первой врачебной помощью. «Посредник» напечатал «Общедоступный лечебник», «О работах вредных для здоровья», «Советы как лечить наружные болезни и ухаживать за больными с описанием устройства человеческого тела» В. В. Рахманова, «Дефтерит или грудная жаба» М. В. Рашкевича, «Советы беременным и бабам повитухам с наставлениями о кормлении грудных детей и лечении детских болезней» А. Караева, «Об уходе за малыми детьми» Е. А. Покровского.

При непосредственном участии писателя вышли в народном издании в 1887 г. отредактированные им работа Н. Ф. Михайлова «Наставления матери об уходе за грудными детьми», статьи В. К. Трутовской о заразных заболеваниях и земского врача А. Г. Архангельской о помощи при несчастных случаях. Л. Н. Толстой вместе с врачом А. М. Богомолец переводили с английского языка книгу Э. Берс «Об отношении между полами. Психофизиологический очерк о половых отношениях между стоящими в браке мужчинами и женщинами». Приложение к этой книге в виде статьи Толстого «Частное письмо родителям, докторам и начальникам школ» напечатали в 1894 г. в «Посреднике» в сборнике «Тайный порок».

Особое значение писатель придавал выпуску книг по отдельным научным проблемам. Первым опытом в этом направлении стало опубликование в 1887 г. в народном издании работы А. И. Клейбера, со-

держащей астрономические знания. Она была напечатана в виде отдельной книги под названием «Затмение солнца 7-го августа 1887 года» и получила высокую оценку Толстого. Писатель обратился с просьбой к заведующему изданием выслать ему 50 экземпляров брошюры, предназначавшихся для его посетителей из народа.

Поддерживал Толстой издание книг о животных и о жизни разных народов. По его предложению для простого читателя вышла книга Н. Н. Миклухо-Маклая об истории его путешествий, а также книга А. А. Гатцука о китайцах.

Одним из главных направлений в деятельности «Посредника» стал выпуск календарей, которые Толстой считал первоисточником знания для простого человека. По его инициативе в 1887 г. был издан «Календарь с пословицами на каждый день», пользовавшийся огромным успехом у народа. В народном издании Толстой напечатал пословицы из словаря Даля, которые им были очень любимы, а также тексты из Евангелия, впоследствии исключенные цензурой. Он также написал для этого календаря заметки о крестьянских работах на каждый месяц.

В том же году в народном издательстве вышел крестьянский календарь, в котором писатель давал рекомендации по вопросам рационального ведения хозяйства. Кроме того, в него были помещены разнообразные санитарно-медицинские и практические советы для сельского труженика, а также рассказы «В неурожайный год», «На городской улице», «Мудрая девица», «Миролюбие», «Добрый обычай», «Настоящая мать», «Добрый товарищ», написанные им самим.

В 1890-е гг. «Посредник» начал издание специальной серии «Деревенское хозяйство» и «Крестьянская жизнь», которая содержала различные руководства для начинающих заниматься садоводством и огородничеством. Там были опубликованы беседы агронома А. М. Болонина «Как увеличить корма для скота в хозяйстве северной полосы России» и брошюра А. А. Ванина «Как увеличить урожай картофеля». В издательстве выпускались многочисленные рекомендации, связанные с устройством быта сельского труженика. Например, «Что делать против пожаров» и «Подробное описание того, как устроить несгораемые крыши».

Значительное место в «Посреднике» отводилось выпуску литературы по борьбе с пьянством. В 1886 г. Толстой опубликовал там свою пьесу «Первый винокур», специально написанную для этого народного издания.

Живо интересуясь изданием книг подобного рода, Толстой способствовал их скорейшему выходу в свет, подыскивал авторов, которые писали на антиалкогольную тему. При этом первостепенное значение он уделял выпуску научно-популярной литературы по этому вопросу. По его предложению статьи о пьянстве выходили в самой сжатой фор-

ме (в виде объявления или листовки), а затем распространялись во время продажи газет и книг. Подобная форма антиалкогольных изданий позволяла им очень быстро расходиться в народной среде. В «Посреднике» печатались многие работы врача П. М. Алексеева, а также статьи самого писателя. Нередко Толстой сам редактировал материалы для этих листовок. Так, в конце 1880-х гг. благодаря его деятельному участию вышли три статьи-воззвания против пьянства Ф. А. Желтова.

Помимо специальных выпусков по борьбе с пьянством «Посредник» печатал отдельные книги и брошюры по этому вопросу. В 1888 г. после обращения Толстого к доктору А. Т. Соловьеву (председателю казанского общества трезвости) появились книги этого автора «Как остановить пьянство», «О вреде употребления крепких напитков», «Чем помочь современному горю», «Вино для человека и его потомства — яд». В том же году по совету Толстого «Посредник» опубликовал повесть А. О. Эльснера «Вино» и брошюру против пьянства Тиличеева. Прочитав комедию Д. Д. Кишенского «Пить до дна, не видать добра», он также предложил ее напечатать для простого читателя. Однако комедию в «Посреднике» не издали вследствие цензурного запрещения.

В связи с недостатком русских материалов по этой теме писатель считал необходимым выпустить в «Посреднике» также работы иностранных авторов. Так, в 1888 г. в народном издании при его непосредственном участии вышла брошюра под названием «Пора опомниться!», которая была составлена по книге американского священника, профессора химии А. П. Пакина. В 1890 г. Толстой прибавил к ней свое заключение, получившее впоследствии вид самостоятельной статьи с одноименным названием. В 1888 г. народное издательство напечатало с предисловием писателя сборник «Грех и безумие пьянства». В 1889 г. там же по его рекомендации появилась книга Ф. А. Желтова «Перестанем пить вино и угощать им», а в 1891 г. в серии «для интеллигентных читателей» в книге под названием «Против пьянства» вышло воззвание Цурихского общества трезвости и речь немецкого профессора Фореля: «Обычай пьянства, его гигиеническое и общественное значение по отношению к университетской молодежи».

В 1891 г. «Посредник» выпустил работу врача П. С. Алексеева «О пьянстве» с предисловием Толстого, которое затем оформилось в статью «Для чего люди одурманиваются?», впоследствии ее напечатали в сельскохозяйственном календаре.

Предполагалось «Посредником» в 1896 г. в календаре выпустить и работу Толстого «Богу или маммоне?», однако напечатать ее цензура не разрешила, и она вышла отдельной книжкой в этом же издании. Писатель в своей публикации взывал к совести человека и его разуму, требуя остановиться от пьянства. Особое внимание в статье уделялось обычаям, связанным с питьем вина в праздники и предлагалось

заменить старые традиции новыми, при которых будет отсутствовать вино. Встреча писателя в июне 1909 г. в Ясной Поляне с молодым крестьянином А. И. Суриным, обещавшим бросить пить, подтолкнула его к написанию рассказа «Благодарная почва», который в том же году напечатал «Посредник».

Понимая важность борьбы с пьянством и желая привлечь читателя к подобным изданиям, Толстой обращался с предложениями в их оформлении к известным российским художникам. Н. Н. Ге по просьбе писателя создал виньетку для всех выпусков против пьянства под заглавием «Пора опомниться!», а И. Е. Репин согласился сделать несколько иллюстраций к ним.

Толстой также считал необходимым знакомить читателя из народа с материалами о вреде табакокурения. Он очень внимательно следил за изданием литературы о вреде табака и не раз сам писал на эту тему. Критика курения содержится в его статье «Для чего люди одурманиваются?» (1891), где данному вопросу он посвятил специальную главу. В издании «Посредника» в 1896 г. вышла при его участии и брошюра Д. П. Никольского «О табаке и о вреде его курения», а в 1904 г. книга А. И. Аполлова «Перестанем курить! Что такое табак и какой вред от него бывает», в которой приводились высказывания писателя по этому сюжету.

В целом можно сказать, что выпуск литературы в «Посреднике» проходил под влиянием Толстого, который формировал основные его направления. В своей издательской деятельности писатель исходил из того, что простого читателя нужно познакомить с передовыми достижениями человеческого разума и истинного искусства, а также знаниями, которые пригодятся ему в жизни. Он сам принимал непосредственное участие в реализации идеи просветительства, считая задачу издания книг для народа важнейшей формой его образования.

К работе по выпуску литературы для простого человека подключались близкие писателя. Их участие в народном издании определялось активной гражданской позицией, горячим желанием приносить пользу людям. Свидетельствует об этом и деятельность его старшей дочери, ставившей своей задачей заменить «грубые, безнравственные лубочные» иллюстрации в книгах для народного чтения «более художественными и нравственными»[1]. В то же время, вероятно, еще одним важным фактором, повлиявшим на нее, являлся пример отца, его подвижническая деятельность во имя блага людей. Помощь ему, совместная работа с ним в «Посреднике» стали первым проявлением ее общественной зрелости.

Склонность Т. Л. Толстой к рисованию и учеба в училище ваяния и зодчества в Москве позволили ей в работе издательства проявить свои художественные способности. В 1886 г. она выпустила в «Посреднике»

рассказ Л. Н. Толстого «Чем люди живы» в виде альбома с репродукциями Н. Н. Ге, который очень понравился Толстому. Для «Посредника» писала и Т. А. Кузминская, опубликовавшая в том же году со слов яснополянской крестьянки Аксиньи Тюриной рассказ «Бабья доля», отредактированный затем писателем. Не осталась в стороне и С. А. Толстая, которая в феврале 1887 г. приняла участие в обсуждении вместе с П. И. Бирюковым и Л. Н. Толстым брошюры Н. Ф. Михайлова «Наставления матери об уходе за грудными детьми», вышедшей в «Посреднике».

В 1890-е гг. Толстые продолжили издательскую деятельность. Так, в 1891 г. С. А. Толстая работала над корректурами «Новой Азбуки» и хлопотала по поводу ее очередного, 17 выпуска. Для напечатания книги потребовалось одобрение Ученого комитета, и в связи с этим она обратилась лично с письмом к поэту А. Н. Майкову, входившему в его состав в качестве эксперта, о чем отмечалось в ее дневниках[2]. В том же году вернулась к издательской деятельности Т. А. Кузминская, опубликовав в «Посреднике» свой очерк «Бешеный волк».

Родные писателя сделали для народного издания ряд переводов научных работ и отдельных художественных произведений иностранных авторов. По рекомендации Толстого его жена и дочери Татьяна и Мария подготовили к выпуску книгу английского автора Х. Ульямса о вегетарианстве (Howard Williams. The Ethics of Diet. London, 1891). Она вышла в «Посреднике» в 1893 г. в серии «для интеллигентных читателей» под названием «Этика пищи, или нравственные основы безубойного питания для человека» вместе со вступительной статьей Толстого, а впоследствии она была издана под заглавием «Первая ступень». М. Л. Толстая в 1891 г. переводила для «Посредника» фрагменты из дневника швейцарского философа Амиеля. Активной помощницей писателя стала и его племянница В. С. Толстая (дочь его старшего брата), которая в 1890-е гг. также подготовила для «Посредника» несколько переводов произведений английских авторов: Ч. Диккенса: «Колокола», «Большие ожидания», «Давид Копперфильд», «Сверчок на печи» и Д. Элиот «Мельница на Флоссе»[3].

Под редакцией Т. Л. Толстой в 1893 г. вышли в «Посреднике» также переводы романов Г. Мопассана «Жизнь» и «Монт-Ориоль». Во многом ее участие в работе над сочинениями французского автора объяснялось тем, что она, как и он сам в эти годы, зачитывалась книгами Мопассана. Вероятно, и любовь к его творчеству передалась ей от отца. В 1898 г. Татьяна Толстая вновь вернулась к издательской деятельности, приняв активное участие в выпуске альбома французских картин под названием «Картинная галерея», который пользовался большой популярностью в народе. Издание включало репродукции с 12 полотен французских художников. Среди них значились: «Последний луч», «Завтрак» Ж. Бретона, «Последнее признание» Элена Пере,

«По воле ветра» Е. Рену, «Раненный крестьянин» А. Брулье, «Сенокос» Б. Лепажа, «Партия переселенцев в Гавре» А. Давана, «Посещение» Ю. Жофруа, «Печальная весть» И. М. Брейля, «Веселая прогулка» Ж. Денелена, «Погибшее судно» Суза-Пинто, «Суд исправительной полиции» П. Сальзедо. Главной темой этих работ являлась нелегкая жизнь простого народа.

В своем трактате «Что такое искусство?» Толстой причислял некоторые из этих работ к «лучшим произведениям искусства», полагая, что они «стремятся к передаче таких чувств, которые могли бы соединить всех людей без исключения» (30, 177). Т. Л. Толстой была задумана для «Посредника» целая серия выпусков европейской живописи, однако осуществить удалось только издание одного альбома французских авторов. В 1903 г. она составила для «Посредника» сборники «Восточная мудрость», «250 мыслей философов, поэтов и ученых о вегетарианстве и воздержании».

Проблемы просвещения волновали и Л. Л. Толстого, который в 1904 г. в Петербурге образовал свой книжный магазин под названием «Доброе дело», просуществовавший до 1912 г. Критически оценивая причины «пассивности» народа в начавшейся в то время русско-японской войне, он видел их в его неграмотности. По его мнению, «новое книготорговое предприятие призвано было восполнить этот пробел»[4]. Преемственность взглядов писателя и его сына проявилась и в том, что он называл свое предприятие «Посредником» в Петербурге.

После смерти Толстого его близкие продолжали сотрудничать с издательством, у истоков создания которого стоял их отец. Доказывает это переписка А. Л. Толстой с И. И. Горбуновым-Посадовым, возглавлявшим в то время «Посредник». В одном из своих писем к нему в ноябре 1910 г. она рекомендовала возобновить выпуск народных рассказов Толстого, «Азбуки» и его книг для чтения[5]. В своем письме в редакцию «Посредника» она называла эту задачу для себя «священной»[6].

С этим издательством был связан и Л. Л. Толстой, который в 1912 г. дал согласие на выпуск там своего рассказа «Илюшины яблоки». По желанию сына писателя его напечатали на бесплатной основе в специальной серии дешевых листовок[7]. Продолжала сотрудничать с «Посредником» и Т. Л. Толстая, написавшая в 1914 г. для него книгу о прогрессивном итальянском педагоге Марии Монтессори[8], которая вышла в серии «библиотека нового воспитания, образования и защиты детей». Ее методика в то время считалась прогрессивной и вызывала интерес в педагогических кругах, кроме того, она базировалась на принципах близких к образовательным идеям Толстого, выступавшего за развитие свободного, самостоятельного человека.

Осенью 1918 г. решил продолжить издательскую деятельность сын Толстого Лев Львович, попытавшийся создать свою газету. Эту идею

он хотел воплотить еще весной 1905 г., однако из-за материальных обстоятельств начать ее выпуск ему не удалось. Новая газета, названная им «Весточка», появилась 24 августа 1918 г. и ставила целью решение культурно-просветительских задач, связанных главным образом с пропагандой мировоззрения и творчества его отца. Уже в ее первом номере он отмечал, что «Весточка» «хотела бы напомнить читателям великие мысли мирового искателя правды»[9]. В ней публиковались отдельные высказывания из «Круга чтения» Л. Н. Толстого, а также мысли писателя по религиозно-философским вопросам. Однако просуществовала она считанные дни, и ее последний номер, десятый по счету, вышел 6 сентября 1918 г., что объяснялось отъездом Льва Львовича в Швецию, где в то время находилась его семья.

Активно поддерживая антиалкогольную деятельность писателя, его дочери Татьяна и Мария участвовали в выпуске литературы по этому вопросу. Их первым опытом в этом деле стало составление в 1887 г. календаря, вышедшего в «Посреднике», для которого они отобрали не один десяток пословиц и выражений о пьянстве. Помимо непосредственной практической работы, связанной с подбором и редактированием материала, дочери писателя вели активную переписку с его членами, а также с авторами книг, писавших о пьянстве. Становясь координаторами антиалкогольного движения в стране, дочери Толстого переписывались с представителями многочисленных российских обществ трезвости. Так, их постоянными корреспондентами являлись А. Т. Соловьев, председатель Казанского общества трезвости, и студент-медик А. Соболевский, член общества трезвости в Петербурге, который, в частности, неоднократно отправлял Татьяне Толстой сведения о членах общества и просил ее прислать книги «Посредника» о пьянстве и листовки с воззванием.

Разделяя убеждения Л. Н. Толстого о вреде табакокурения, его дочь Мария вела активную переписку с А. Т. Соловьевым, автором статей о вреде табака[10]. Активное участие в антитабачной деятельности принял и Л. Л. Толстой, написавший ряд публицистических статей [11] по этой теме. В его работах «Моя гигиена» (1904) и «Семья и школа» (1901) была приведена научная информация о вреде табака на здоровье молодого организма и были даны практические советы педагогам и родителям, направленные на предупреждение этой вредной привычки среди детей и подростков.

В заключении можно сделать вывод, что жизнь близких писателя была тесно связана с творческой и общественной деятельностью Толстого. В середине 1880-х гг., в условиях, когда в стране остро стояла проблема издания общедоступных книг для широких масс, Толстой и его близкие приняли активное участие в работе народного издательства «Посредник». Простой человек получил возможность приобрести

недорогую по цене литературу по различным отраслям знаний и искусства, отличающуюся высоконравственными и художественными критериями.

На протяжении всех лет существования народного издательства члены семьи оставались его активными сотрудниками. Их самостоятельный опыт в деле выпуска книг для народа и то внимание, которое сохранялось у них к этой проблеме после смерти Толстого, подтверждает, что гуманистические традиции, направленные на развитие духовных потребностей простого человека, являлись постоянной приметой жизни семьи Толстых.

---

[1] *Сухотина-Толстая Т. Л.* Воспоминания. М.: Художественная литература, 1981. С. 392.

[2] *Толстая С. А.* Дневники: В 2 т. М.: Художественная литература, 1978. Т. 1. С. 204.

[3] Л. Н. Толстой и его близкие. М.: Современник, 1986. С. 147.

[4] *Абросимова В. Н.* Предисл. Сын и отец // Лица: Биографич. альманах. № 4. М., СПб.: Феникс: Atheneum, 1994. С. 180.

[5] *РГАЛИ*. Ф. 122. Оп. 1. Ед. хр. 1343. Л. 23.

[6] Там же. Л. 22.

[7] Там же. Ед. хр. 1291.

[8] *Толстая Т. Л.* Мария Монтессори и новое воспитание. М.: Посредник, 1914.

[9] *Абросимова В. Н.* Предисл. Сын и отец // Лица: Биографич. альманах. № 4. М., СПб.: Феникс: Atheneum. 1994. С. 190.

[10] Толстовский ежегодник 1912. СПб., М.: Изд-во толстовского музея в Петербурге и Толстовского об-ва в Москве, 1912. С. 152–153.

[11] *Толстой Л. Л.* Моя гигиена. Очерки по частной гигиене. СПб.: Тип. И. Н. Кушнерева, 1904; *Толстой Л. Л.* Семья и школа (их настоящее и будущее). Беспл. приложение к журналу «Спутник здоровья». СПб.: Тип. тов. «Народная польза», 1901.

Н. И. ГАВРИЛОВА
г. Иркутск

Константин Михайлович Сибиряков: штрихи к биографии (к вопросу о круге деятелей издательства «Посредник»)

Задачей предлагаемой публикации является попытка реконструкции основных этапов биографии потомственного почетного гражданина, представителя мощного иркутского купеческого рода XVIII — начала XX в. Константина Михайловича Сибирякова (1854 — после 1908), известного в числе круга знакомых Л. Н. Толстого, способствовавшего своими средствами реализации ряда проектов писателя, в том числе функционированию издательства «Посредник».

В отличие от массива разнообразных биографических очерков, энциклопедических статей и публицистики, посвященных Александру Михайловичу, Иннокентию Михайловичу и Анне Михайловне Сибиряковым как представителям шестого поколения этого купеческого рода, исследований биографии, предпринимательской и общественной деятельности Константина Михайловича Сибирякова практически нет. Крайне незначителен и блок архивных и опубликованных источников, введенных исследователями в научный оборот по интересующей нас теме. Источниковую базу настоящего сообщения составили архивные материалы делопроизводства, опубликованные источники личного происхождения (воспоминания, переписка, путевые заметки лиц, знавших К. М. Сибирякова), данные газетной периодики рубежа XIX–XX вв.

Заслуживающими внимания видятся реализованные представителями шестого поколения Сибиряковых практики предпринимательской и общественной деятельности, определение ими ценностных ориентиров и механизмов их достижения. Разделяемая братьями и сестрами «идея послужить своими богатствами»[1] Александром Михайловичем Сибиряковым была осуществлена в рамках изучения и освоения Сибири, прежде всего ее водных путей, Иннокентием Михайловичем трансформирована в широчайшую благотворительность и богоиска-

тельство, приведшее к монашеству, Анной Михайловной также воплощена в благотворительности, однако, главным образом, светской. Наконец, Константин Михайлович попытался найти ответы в идеях либерального народничества, а позже — в положениях толстовства.

К. М. Сибиряков родился в Иркутске в семье крупного золотопромышленника, иркутского купца 1 гильдии, потомственного почетного гражданина М. А. Сибирякова (1815–1874) и Варвары Константиновны (урожд. Трапезниковой; 1826(?) — 1867, февраль) третьим ребенком после Ольги (р. 1846?) и Александра (р. 1849). Его младшими братьями и сестрами стали Антонина (р. 1857/58), Иннокентий (р. 1860) и Анна (р. 1862)[2].

Не располагая сведениями о годах учебы Константина, можно предположить, что, следуя семейной традиции, молодой человек получил серьезное образование (Александр окончил Цюрихский политехникум, Иннокентий учился в Петербургском университете), а художественные наклонности позволили ему поступить в Императорскую Академию художеств в класс скульптора Н. А. Лаверецкого (преподавал в 1870–1894 гг.)[3]. Ныне известны три скульптурные работы К. М. Сибирякова, выполненные в 1890-х гг. Среди них — «Портрет неизвестного» (ныне Государственный Русский музей) и «Женский портрет» (1897 г., ныне Рязанская картинная галерея). Наибольшую же известность Сибирякову как скульптору принесла работа «Бюст Н. М. Ядринцева», выполненная в бронзе и в 1900 г. установленная в граните на могиле общественного деятеля в Барнауле.

Как и старшие дети М. А. Сибирякова молодым человеком Константин Михайлович покинул Иркутск и переехал в Петербург (младшие дети М. А. Сибирякова также в юности выехали из Иркутска), где к этому времени проживала его сестра, в замужестве княгиня О. М. Вяземская, и несколько дальних родственников, наследников Александра Ксенофонтовича Сибирякова[4]. Следует отметить, что с отъездом из Иркутска родной город для Константина оказался значительно дистанцирован не только в физическом пространстве, но и социокультурном. За исключением пожертвований на восстановление после пожара 1879 г. иркутской богадельни, построенной его отцом[5], нам не известны его благотворительные вклады в социальную или культурно-просветительную сферы развития Иркутска, участие в общественной жизни города. В отличие от Александра, Иннокентия и Анны Сибиряковых, братьев Трапезниковых (близкой родне по линии матери) его имя не фигурировало среди жертвователей на строительство иркутского театра, развития Восточно-Сибирского Отделения Русского географического общества, строительство Казанской церкви, пожертвований в учебные и благотворительные заведения города. Причины подобной позиции пока остаются не ясны.

Толчком к самостоятельной предпринимательской деятельности К. М. Сибирякова стало получение им наследства в 1875 г. Согласно мировой записи наследников Константин получил в равной с братьями Александром и Иннокентием доли капитал (875 тыс. руб.), участие в «Ленско-Витимском пароходстве», в золотосодержащих приисках отца, золотопромышленных «Прибрежно-Витимской компании» и «К° промышленности в разных местах Восточной Сибири», одних из крупнейших в системе Лены (в середине 90-х гг. X1X в. добыча на них составляла по 200 и более пудов золота)[6]. В полную собственность братьев переходили все земельные участки, движимое и недвижимое имущество в Иркутске, оставшееся после их родителей — Варвары Константиновны и Михаила Александровича[7]. В 1896 г. в пользу Константина перешла и доля участия в наследственных предприятиях младшего брата Иннокентия[8].

Как и для Александра, Иннокентия и Анны, доходность принадлежавших К. М. Сибирякову золотодобывающих компаний создавала основную финансовую базу устойчивости его экономического положения и предпринимательской активности. Выработка в начале XX в. золотосодержащих приисков привела к резкому сокращению доходов фамилии и практически полному сворачиванию коммерческой, а вместе с тем, и благотворительной деятельности ее представителей.

Помимо золотопромышленности, определенная доля капиталов Константином Михайловичем была вложена, вероятно, в торговые операции. Согласно воспоминаниям Матвея Николаевича Чистякова, в 1880–1886 гг. служившего управляющим делами К. М. Сибирякова, «у обоих братьев (Александра и Константина. — *Н. Г.*) были свои поверенные в Японии, в Китае»[9].

В отличие от старшего брата, вкладывающего значительные суммы в развитие речного и морского транспорта, Константин Михайлович попытался реализовать себя как крупный землевладелец. В середине 1870-х гг., очевидно, после получения доли наследства, он скупает, по словам современников, «у обедневших самарских помещиков большое количество земли с целью организации крупного, технически рационального хозяйства»[10]. К. М. Сибирякову принадлежали земли в с. Сколково и Алакаевка Самарской губернии в 50 верстах от Самары.

За границей были закуплены усовершенствованные земледельческие орудия, в том числе два паровых плуга, сооружены громадные кирпичные и саманные постройки при хуторах для скота и земледельческих орудий. М. Н. Чистяков вспоминал: «Замысел грандиозный. Приобрел несколько десятков тысяч десятин земли, воздвиг целый поселок и несколько отдельных хуторов. Строения все великолепные, всё камень, кирпич и железо. Главный поселок был целым городом. Одно здание для школы стоило миллион. Земледельческие орудия вы-

писывались все из Англии, стоили они двести тысяч, а может быть, и более. Кругом строились хутора — все здания каменные, железом крытые. Дома для рабочих — удобные, всё на широкую ногу. И всем этим я заведовал. Архитекторы, инженеры, техники все были под моим ведомством»[11].

Новаторские идеи натолкнулись на косность работников. Как вспоминал Чистяков, «садится хохол на косилку и через полчаса задремлет, качается с боку на бок, не видит, куда волы идут. А тут пень или куст на поле, хохол спит, косилка зацепит за пень или куст, хохол летит кувырком — косилка вдребезги! Все машины нам исковеркали. <...> целый сарай этими ломаными машинами завалили»[12].

Хозяйство приносило лишь убыток, и Сибирякову пришлось отказаться от своей затеи. Земледельческие орудия были проданы за бесценок немцу, имевшему в Самаре торговлю мелким слесарным инструментом и земледельческими орудиями. После же запрета со стороны самарского губернатора А. Д. Свербеева открыть на Константиновском хуторе (в двух верстах от Алакаевки) сельскохозяйственную школу (ставшую еще одним «детищем» Сибирякова), К. М. Сибиряков окончательно распродает принадлежавшие ему земли. Один из участков (83 десятины и мельница) при д. Алакаевке в начале 1889 г. за 7,5 тыс. руб. приобрела семья Ульяновых (при содействии М. Т. Елизарова)[13].

Не расставаясь с идеей организации сельскохозяйственных предприятий, К. М. Сибиряков переключает внимание на земли черноморского побережья, где ему принадлежало имение в 22 верстах от Туапсе, расположенное на самом берегу моря, между речкой Нежданной и Аше. Побывавшая летом 1886 г. в имении графиня П. С. Уварова отмечала: «Еще две версты и мы останавливаемся у пристани роскошной и совершенно крымской (по обстановке и расположению) дачи Сибирякова. Дача эта весьма роскошна, и красиво расположена на высоком горном откосе, имеет значительное хозяйство, множество скота и может быть со временем будет, по желанию хозяина, обращена в сельскохозяйственную школу»[14].

Плантации имения были заняты пробными посадками клещевины, на опытном поле выращивались кунжутное семя, сахарное сорго, китайская крапива. Имелись плантации хлопка и чая. Кроме того, как сообщала газета «Вестник виноделия», «на Сочинском участке в 1890-х гг. быстро выдвинулись вперёд и заняли одно из видных мест среди вин Черноморского округа вина, производившиеся в имении Сибирякова близ р. Аше. Отличаясь несколько большей крепостью, чем остальные черноморские, в особенности красные, вина эти нашли массу ценителей и постепенно приобрели репутацию прекрасных умеренно-крепких столовых вин»[15].

Однако данное предприятие также оказалось неустойчивым. После смерти дочери Варвары (вероятно, названной в честь бабки — Варвары Константиновны Трапезниковой) К. М. Сибиряков в 1890-х гг. продает имение промышленнику Виктору Федоровичу Голубеву и переезжает в Грузию, покупая дачу в местечке близ Батуми.

Следует отметить, что предпринимательская деятельность К. М. Сибирякова тесно переплеталась с его общественными и благотворительными начинаниями, зачастую даже подчиняясь им.

Молодым человеком приехав в Петербург, Константин Михайлович окунулся в общественную жизнь столицы, сошелся с писателями-разночинцами, членами кружков народников. Вероятно, не без их влияния Сибиряков выступает инициатором создания в Петербурге народной библиотеки-читальни[16], в 1878–1881 гг. финансирует издание журнала «Слово» (совместно с А. А. Жемчужниковым). «Человеком левых либеральных убеждений» характеризуют его в этот период[17].

По мнению современников, знавших о нем по «самарской жизни», даже само имение в с. Алакаевке и Сколково Сибиряков приобретает, имея «в виду и революционную пропаганду в народе. Во всяком случае, та или иная связь с политическими у него была. <...> Он широко помогал народникам, которые еще с конца 70-х годов вели в округе Алакаевки непрерывную революционную работу. Во второй половине 70-х годов в одной из деревень Сибирякова — Сколкове, его резиденции, жил Глеб Успенский вместе со своей женой, которая занимала место учительницы в построенной Сибиряковым начальной школе. Здесь Успенский написал свой известный рассказ «Три деревни», описав в нем деревни Сколково, Заглядино и Гвардейцы и подлинных жителей этих деревень»[18].

В силу отсутствия иных источников подтвердить реальность намерений К. М. Сибирякова относительно революционной пропаганды пока не представляется возможным, однако известно, что среди приказчиков и управляющих самарским имением Константина Михайловича в 1870-х гг. значились Константин Иванович Сумкин, принимавший участие в 1874 г. в самарском революционном кружке, Александр Константинович Соловьев (1846–1879), 2 апреля 1879 г. совершивший неудачное покушение на императора Александра II, А. А. Александровский, проходивший по «Процессу 193-х», но оправданный. К. М. Сибиряковым оказывалась финансовая помощь «привлекавшимся по государственным преступлениям» В. Ст. Минаеву, Н. Ст. Долгову, П. В. Григорьеву[19]. Подобные связи «самарского помещика» явились причиной подчинения Константина Михайловича в конце 1870-х — начале 1880-х гг. негласному наблюдению по распоряжению начальника Самарского жандармского управления[20].

Начало 1880-х гг. стало для К. М. Сибирякова, вероятно, временем переосмысления своих общественно-политических и мировоззренческих взглядов. В поисках обновления ценностных ориентаций он постепенно сближается с Л. Н. Толстым, попадая под влияние его идей. Толчком их переписки, а затем и более близкого знакомства (Сибиряков не раз бывал в Ясной Поляне Толстого) стало направленное Константином Михайловичем в начале 1885 г. письмо, где он предлагал ежемесячно высылать 100 рублей и просил Толстого «принять на себя труд раздавать» эти деньги нуждающимся. Здесь же он высказал «мысль» об издании журнала, «доступного пониманию простолюдина», с целью «поднять нравственный уровень его развития» (63, 240). В ответном письме из Москвы Толстой писал: «Если вы, как я надеюсь, судя по вашему письму, сойдетесь с нами, то с божьей помощью выйдет хорошее и полезное дело» (63, 239).

Влияние Л. Н. Толстого на К. М. Сибирякова оказалось велико. Со слов И. М. Ивакина, бывшего в 1880 г. домашним учителем сыновей Толстого и после поддерживавшего с ним отношения, писатель отмечал: «Сибиряков — он до смешного мне верит, или старается верить во все, во что я верю, и далее не идет...»[21]. Оценки Толстого на сегодняшний день являются единственными известными нам характеристиками воззрений Константина Михайловича Сибирякова. В 1887 г. Толстой о нем писал В. И. Алексееву: «Он преоригинальный человек; так степенно, не торопясь, но упорно ведет свое дело. На Кавказе у него идет школа, а в Самаре теперь есть пять человек живущих, и, по рассказам, очень хорошо» (64, 112). И в другом письме: «Он очень хороший человек, мягкий, добрый, истинно тронутый духом Христовым и только одного желающий — послужить своими богатствами для добра людям. Мое мнение, как было, так и есть, что богатством нельзя служить добру. Нужно только освобождаться и помогать другим освобождаться от него; но он в моих глазах не богатый человек, а человек, которому, если я могу и вы можете, мы обязаны помочь братски, если он ищет общения с нами» (64, 8).

Будучи увлечен идеями Толстого, К. М. Сибиряков сближается с тесным кругом знакомых и сподвижников Льва Николаевича: В. Г. Чертковым, П. И. Бирюковым, И. М. Ивакиным, В. И. Алексеевым, В. Ф. Орловым и др. Оказывает существенную материальную помощь издательству «Посредник», журналу «Русское богатство», «который Толстой считал самым «близким» ему по направлению. Для журнала характерен был интерес к жизни деревни и к морально-этическим проблемам»[22]. Нередко Константин Михайлович финансирует отдельные издания. В 1887 г. Сибиряков дал средства на заграничную публикацию сочинения Т. М. Бондарева (Минусинск)»Торжество земледельца, или трудолюбие и тунеядство», значительно отредакти-

рованного Толстым[23]. В 1891 г. Сибиряков жертвует на издание за границей работы Л. Н. Толстого «Соединение и перевод четырех Евангелий», в эти же годы издает за свой счет сборник «Путь-дорога» в пользу Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам, с напечатанными в нем повестью Л. Н. Толстого «Ходите в свете, пока есть свет» и очерком Н. С. Лескова «Продукт природы».

В самарском имении Сибирякова в 1886–1889 гг. было создано «интеллигентное» земледельческое поселение, в течение 5 месяцев 1886 г. на землях Черноморского побережья, принадлежавших Константину Михайловичу, также существовала толстовская колония, первая на Кавказе. В 1887 г. «Восточное обозрение» сообщало, что благодаря стараниям В. О. Португалова (врач, публицист, неоднократно подвергался арестам за участие в политических кружках) К. М. Сибиряков был готов подарить землю в Закавказье братьям-библейцам[24].

1870–1880-е гг. стали пиком общественной и благотворительной деятельности К. М. Сибирякова. Помимо уже обозначенных направлений, Сибиряков являлся участником нескольких совместных с братьями и сестрой крупных филантропических начинаний. Совместно с Александром, Иннокентием и Анной Константином Михайловичем было учреждено 10 именных стипендий на Бестужевских курсах[25]. Вместе с Анной и Иннокентием за значительные пожертвования этому учебному заведению К. М. Сибиряков был избран почетным и пожизненным членом Общества для доставления средств Высшим женским курсам[26]. Помимо данного общества, Константин Михайлович с братом Иннокентием стояли у истоков созданного в 1890 г. в Петербурге Общества для вспомоществования нуждающимся переселенцам[27].

В 1886–1888 гг. им была предпринята попытка организации в с. Сколково Самарской губернии на принадлежавших ему землях Михеевской сельскохозяйственной школы, закрытой в сентябре 1888 г. по настоянию самарского губернатора А. Д. Свербеева.

Аналогичную школу Сибиряков открыл и на территории своей кавказской дачи. В 1888 г. И. М. Ивакин так характеризовал эту идею: «Сибиряков дает всё, что только нужно для школы, мало того, он даже и прислуге-то приказывает исполнять в его доме малейшее желание участников... И один из них, умный, хороший человек, потребовал: хочу шампанского с апельсинами! Принесли и шампанского, и апельсинов»[28].

Желая расширить контингент учащихся и придать учебному заведению более высокий статус, в конце 1880-х гг. К. М. Сибиряков приобрел в Туапсе участок земли для строительства на нем Варваринского училища плодоводства и виноградарства. К моменту своего открытия в 1897/1898 г. училище было обеспечено пожертвованным Сибиряко-

вым капиталом (15 тыс. руб.) и Уставом, о преимуществах которого в своей переписке упоминала младшая сестра жертвователя[29].

На средства же Константина Михайловича в 1881–1882 гг. в Туапсе было построено народное училище, неоднократно Сибиряков жертвовал в пользу других учебных заведений южного края.

В силу различных обстоятельств общественная и благотворительная деятельность К. М. Сибирякова к рубежу XIX–XX вв. постепенно снижалась, практически затухая с начала XX в. С этого же времени обрываются и сведения о жизни Константина Михайловича.

Женат К. М. Сибиряков был на дочери коллежского секретаря Елизавете Аполлоновне Семеновой, служившей в 1870-х гг. в библиотеке-читальне, открытой им в Петербурге [30]. Имел дочь Варвару (ум. 1890-е гг.) и сына Игоря.

---

[1] *Алексеев В. И.* Воспоминания / [Примеч. В. И. Срезневского и Н. Н. Гусева] // в кн.: Л. Н. Толстой: К 120-летию со дня рождения. (1828–1948) / Коммент. и ред. Н. Н. Гусева. М., 1948. Т. II. С. 309.

[2] РГИА. Ф. 1102. Оп. 3. Д. 552. Л. 1, 3.

[3] *Лыхин Ю. П., Крючкова Т. А.* Иконописцы, мастера и художники Иркутска (XVII век — 1917 год). Биобиблиографический словарь. Иркутск, 2000. С. 314.

[4] РГИА. Ф. 1102. Оп. 3 Д. 552. Л. 1–2, 9; ГАИО. Ф. 480. Оп .1. Д. 238. Л. 5–5 об.

[5] *Шорохова Т. С.* Благотворитель Иннокентий Сибиряков: Биографические повествования. СПб, 2005. С. 20.

[6] *Хроленок С. Ф.* Золотопромышленность Сибири (1832–1917). Историко-экономический очерк. Иркутск, 1990. С. 68–69.

[7] РГИА. Ф. 1102. Оп. 3. Д. 552. Л. 10–10 об, 12.

[8] Сибиряков Константин Михайлович // Краткая энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири. Т. 4 (С – Я). Кн. 1. Новосибирск, 1997. С. 52.

[9] *Раевская С. И.* Лев Николаевич Толстой среди голодающих // в кн.: Л. Н. Толстой / Гос. лит. музей; ред. Н. Н. Гусева. М., 1938. Т. I. С. 390.

[10] *Ульянова М. И.* Из самарского (алакаевского) периода 1889–1893 гг. В деревне и в городе // в кн.: Воспоминания о Владимире Ильиче Ленине: в 10 т. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; редкол.: М. П. Мчедлов [и др.]. Т. 1: Воспоминания родных / А. И. Ульянова-Елизарова, Д. И. Ульянов, М. И. Ульянова; сост. С. У. Манбекова. М., 1990. С. 200.

[11] *Раевская С. И.* Указ. соч. С. 390.

[12] Там же. С. 391.

[13] *Ульянова М. И.* Указ. соч. С. 200.

[14] *Уварова П. С.* Кавказ (Абхазия, Аджария, Шавшетия, Посховский участок). Путевые заметки. Часть II. М., 1891 (запись от 16 июля 1886 г.).

[15] Вестник виноделия. 1893. № 10.

[16] Сибиряков Константин Михайлович // Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь: От предшественников декабристов до падения царизма / под ред. Вл. Виленского-Сибирякова, Ф. Кона, А. А. Шилова [и др.]; Всесоюзное общество политических каторжан и ссыльно-поселенцев. Т. 2: Семидесятые годы / сост. А. А. Шилов, М. Г. Карнаухова. Вып. 4: «С — Я». М., 1932. стлб. 1480–1481.

[17] *Ульянова М. И.* Указ. соч. С. 200.

[18] Там же. С. 200.

[19] *Александровский А. А., Григорьев П. В.* // Деятели революционного движения в России... Т. 2. Вып. 1: «А — Е». М., 1929. стлб. 315, 22–23; Минаев В. Ст. // Там же. Т. 2. Вып. 3: «М — Р». М., 1931. стлб. 927–928; Соловьев А. К., Сумкин К. И. // Там же. Т. 2. Вып. 4: «С — Я». М., 1932. стлб. 1568–1570, 1651.

[20] Сибиряков Константин Михайлович // Деятели революционного движения в России. стб. 1481.

[21] *Ивакин И. М.* Воспоминания 1885–1889 гг. (фрагменты) // в кн.: Федоров Н. Ф.: pro et contra. Книга 1 (Антология) / Серия «Русский путь». СПб, 2004. С. 199.

[22] *Алексеев В. И.* Указ. соч. С. 308–309.

[23] *Опульская Л. Д.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1886 по 1892 год. М., 1979. С. 107, 242.

[24] Восточное обозрение. 1887. № 2.

[25] *Соловьева Б. А.* Иннокентий Михайлович Сибиряков // Природа. 2001. № 10. С. 92.

[26] *Мешалкин П. Н.* Меценатство и благотворительность сибирских купцов-предпринимателей. Вторая половина Х1Х — начало ХХ в. Красноярск, 1995. С. 18.

[27] *Соловьева Б. А.* Указ. соч. С. 95.

[28] *Ивакин И. М.* Указ. соч. С. 210.

[29] РГИА. Ф. 1102. Оп. 3. Д. 553. Л. 11 об.

[30] Сибирякова (урожд. Семенова) Елизавета Аполлоновна // Деятели революционного движения в России. Т. 2. Вып. 4: «С — Я». стлб. 1480–1481.

Т. М. ОСИПОВА
г. Москва

И. А. Беневский — корреспондент и адресат издательства «Посредник» (по документам архива И. А. Беневского)

Когда я родилась (июль 1941 г.), Ивана Аркадьевича Беневского, отца моей мамы, и Ивана Ивановича Горбунова-Посадова, отца моего папы, уже не было в живых. Поэтому о них, помимо рассказов моих родных, узнавала по публикациям и по документам семейного архива.

Иван Аркадьевич Беневский (1880–1922). О нем в 1933 г. Иван Иванович Горбунов-Посадов (1864–1940) писал:

«Прекрасно известный мне Иван Аркадьевич Беневский много работал на пользу трудового народа и его детей еще в дореволюционное время. В то время, когда в России почти не было сельскохозяйственных крестьянских трудовых коллективов, Иван Аркадьевич деятельно организовывал из крестьян и городских рабочих ряд таких сельскохозяйственных коллективов — коммун, причем сам участвовал в работе этих коммун трудами рук своих, как рядовой работник. Наряду с этим Иван Аркадьевич много работал над помощью детям беднейших слоев городского пролетариата, над организацией детских трудовых колоний для воспитания детей городских трущоб, особенно сирот.

После Октябрьской революции Иван Аркадьевич стал деятельнейшим советским работником по организации советских детских трудовых колоний, преимущественно для сирот. Такая колония была устроена им и на своем трудовом земельном участке. Особенно много работал он для детских трудовых колоний в Брянском округе, где он сделался деятельнейшим инструктором тамошних детских колоний. В разъездах по делу колоний он заразился сыпным тифом, от которого и умер в 1922 году.

Личность и деятельность Ивана Аркадьевича были хорошо известны и достойно оценены Надеждой Константиновной Крупской-Ульяновой.

Ответственный редактор Кооперативного
издательства ««Посредник» И. Горбунов-Посадов».

По материалам семейного архива мною сделана подборка документов, подтверждающих вышесказанное И. И. Горбуновым-Посадовым о И. А. Беневском.

Поскольку по роду своей деятельности Беневский был постоянно в разъездах, но часто бывал в Москве, то зачастую многие его корреспонденты оставляли свои письма в редакции «Посредник». Среди них мною в архиве обнаружены письма: Беневский А. С., Бурлюк Д. Д., Лабчевский И., Наживин И. Ф., Нинеберг В. А., Панкратов А. С., Перель Я., Прокопенко Д. И., Пронин А., Рожнева М., Шейерман Н. А. и др.

Из переписки И. А. Беневского с сотрудниками издательства «Посредник» мною сделан соответствующий подбор писем, выдержки из которых приводятся ниже.

11 декабря 1901 г. из России в Англию Беневский писал Чертковым:

«Дорогие и глубокоуважаемые Владимир Григорьевич и Анна Константиновна.

Получил Ваше письмо и извещение о том, что послали и книжки, но их пока я не получил. Посланная бандеролью «Исповедь» дошла без всяких препятствий — думаю, что получу и остальные. Получил также выпуск 3-й «Сборника песен и гимнов свободных христиан», но 1-го и 2-го выпусков у меня нет, а потому прошу их выслать под бандеролью.

Относительно распространения Ваших изданий и перевозки уже изданных, я считаю, что это дело было бы легко устроить при большом объединении среди людей близких нам по взглядам. <...> самым важным делом я считаю создание народной литературы свободного и правдивого направления — как в виде издания отдельных книг и брошюр, так и периодического издания.

Все издания «Свободного слова» больше доступны интеллигенции, и только небольшое количество последних произведений Л. Н. Толстого доступны народу, и то — требуют пояснений при чтении. Кроме того, издание периодическое «Свободного слова» необходимо перенести в Россию и расширить его в виде ежемесячного журнала или ежемесячных тетрадок. Это я пишу не с тем, чтобы советовать Вам что-либо, но чтобы Вы знали о потребностях русской читающей интеллигенции, близко стоящей к простому трудящемуся народу. <...> Увлечению русской молодежи идеями социал-демократии необходимо противопоставить распространение сочинений Л. Н. и изданий «Свободного слова» в самых широких размерах <...>.

Искренно уважающий и любящий Вас И. Беневский»

18 сентября 1906 г. письмо И. А. Беневский писал А. К. Чертковой:

«Глубокоуважаемая Анна Константиновна!

<...> В Полтаве мы открываем книжный магазин — участники исключительно христианского направления, и книжки будем держать

только нашего направления. Будем собирать также средства для бесплатного распространения в народе наших книг. Мой адрес теперь: Полтава, Ново-Николаевская ул., дом № 38 (Аршовского), Надежде Михайловне Стрижевой для И. А. Беневского».

Полтавский книжный магазин «Посредника», о котором говорится в письме, существовал и раннее. Вот что писал И. А. Бунин в дневнике в 1894 г.:

«...я завел книжную лавку, полтавское отделение «Посредника», и так запутал счета, что порою примеривался повеситься. В конце концов, я эту лавку просто бросил, уехал в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник руководителей этого «Посредника» и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга на счет «доброй» жизни. Там-то я и видел его (Толстого) еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал (ибо он ходил страшно легко и быстро) по вечерам и, не снимая полушубка, сидел час или два, со всех сторон окруженный братией...»

И несколько слов о Надежде Михайловне Стрижевой. Она была единомышленница Л. Н. Толстого. Состояла в тесной дружбе с сотрудниками издательства «Посредник». Заведовала книжным магазином в Полтаве. В начале 1920-х гг. по книжным делам приехала в Москву и до конца своих дней проживала в квартире Горбуновых-Посадовых.

В 1907 г. в серии «Взаимная помощь» издательства «Посредник» вышла брошюра И. А. Беневского «Христианвская община и земледелие», под редакцией И. И. Горбунова-Посадова и А. Коншина, с приложением устава общества земледельцев «Божья нива».

18 октября 1907 г. И. А. Беневский писал Чертковым из Харькова:

«Глубокоуважаемые и дорогие Владимир Григорьевич и Анна Константиновна!

Получил Ваше письмо и благодарю. <...> В деле распределения книг произошла серьезная задержка, т.к. Жихарев неожиданно отказался от участия и все полученные им деньги возвратил, передав их Рябову. Таким образом, нам с Н. Н. (Гусевым) придется действовать самостоятельно, поскольку это может удаться каждому из нас в отдельности, принимая во внимание, что каждый из нас связан своим делом. Конечно, от участия или неучастия одного человека не может остановиться дело, но пока что это вызовет неизбежную задержку.

С Вами мне хотелось бы о многом еще посоветоваться, но дальность расстояния и неудобство переписки сильно препятствует этому. Приходится или приостановить дело, или действовать по своим соображениям, заранее принося повинную за то, что будет, может быть, сделано не так, как следует быть. Сейчас, например, мне кажется более производительным и необходимым завести сношения с книгоношами (более или менее

сочувствующими) и для этого составлять списки книг не только Л. Н., но и других. Как поступить в данном случае (если Вы согласны в принципе), прислать ли Вам список только или и по одному экземпляру всех книг, которые я хочу включить в этот список для просмотра? Согласитесь ли Вы на то, чтобы приобрести от «Посредника» и Сытина известный запас таких книг, чтобы иметь их под руками и чтобы таким образом можно было бы устанавливать связь с книгоношами и торговцами, не дожидаясь ответа и присылки из «Посредника», т.к. все, кто выписывают от «Посредника», недовольны тем, что «Посредник» не высылает очень долго, а зачастую и совсем не то, что выписывают. И таким образом, люди, готовые и сочувствующие продаже книг этого направления, поневоле предпочитают иметь дело с другими издательствами <...>.

С уважением и любовью к Вам И. Беневский»

А. К. Черткова ответила И. А. Беневскому 11/24 ноября 1907 г.:

«...мы вполне одобряем Ваш выбор книг и наперед согласны. Кроме того, отчасти это самое и делалось; запас книг находился у Н. Н. (Гусева). Спишитесь с Маковицким.

Шлю Вам сердечный привет. Надеюсь, Вы благополучны. Ваша Анна Черткова».

Сюжет о книгах повторяется в переписка И. А. Беневского с Чертковыми и в 1913 г.

26 января 1913 г. В. Г. Чертков писал И. А. Беневскому:

«Ясенки. Тульской губ. 26 января 1913 г.

Дорогой Иван Аркадьевич <...>.

В Москве я говорил с Сытиным о Вашей нужде в книгах. Он тотчас же прислал мне довольно большое количество книг для Вас, которые я поручил Алеше Сергеенко Вам отправить прямо из Москвы вместе с книгами от «Посредника», относительно которых я ему поручил обратиться к Ив. Ив-чу Горбунову. В том письме моем я не приложил моих писем к Плюхину и Виноградову. Прилагаю их теперь. Пожалуйста, доставь их по назначению. Прилагаю также по копии с них для тебя.

Пожалуйста, пришли мне обещанный тобой первоначальный Устав Ржевской артели.

Любящий тебя В. Г. Чертков»

И еще следующее письмо:

«Москва. Ивану Аркадьевичу Беневскому.

2 апреля 1913 г.

Иван Аркадьевич,

Владимир Григорьевич Чертков поручил мне переслать на Ваше имя и в полное Ваше распоряжение книги, пожертвованные издательствами «Посредник» и «Сытин» детям, которыми Вы интересуетесь.

Владимир Григорьевич очень сожалеет, что по независящим от него обстоятельствам произошла задержка в пересылке этих книг.

При сем пересылается дубликат квитанций на получение высланных книг.

Зн<акомый> В. Г. Черткова — Н. Е.»

На конверте указаны адреса и фамилии 11-ти получателей.

Имеющиеся в архиве письма от Чертковых, касающиеся общинной деятельности Ивана Аркадьевича, приведены в книге «Иван Аркадьевич Беневский», написанной мною и переданной в Государственный музей Л. Н. Толстого.

Приведу несколько писем из переписки Ивана Аркадьевича с сотрудниками издательства «Посредник».

(на бланке)

««ПОСРЕДНИК»

Москва 27 июня 1907 г.

Милостивый Государь Иван Аркадьевич!

Иван Иванович Горбунов очень сожалеет, что не может лично передать вам его искреннюю просьбу — принять участие в новом начинании Ивана Ивановича — журнале «Свободное воспитание», и просил меня как секретаря этого журнала обратиться к вам с этой просьбой. Ставя своей целью коренную, внутреннюю реформу воспитания, журнал наш будет особенно рад всем статьям и заметкам, которые ставят реформу воспитания в связь с реформой жизни, жизненных основ. Мысль Льва Николаевича, что лучшая, разумная, основанная на физическом труде, как базисе, жизнь — есть и лучшее воспитание, стоит во главе нашего журнала, и потому мы будем особенно рады вашему в нем участию, т.к. вы особенно много и любовно работали именно над вопросом реформы жизни на основе земледельческого труда.

Иван Иванович очень хотел бы лично с вами повидаться, и ждет, что вы собираетесь к нему в Овсянники.

Вместе с приветом Ивана Ивановича прошу принять и личный мой искренний привет.

Уважающий вас секретарь «Свободного воспитания» С. Дурылин»

06.07.1907

(на бланке)

«РЕДАКЦИЯ ИЗДАНИЙ «ПОСРЕДНИКА».

В книжный магазин «Посредник» в г. Полтава.

Милостивые Государи!

Подтверждаем получение от Вас, согласно почтенному письму Вашему от 10.04., разных книг на сумму за скидкою 30%. Рб. 234 р. 54 к., высланных Вами обратно из числа отпущенных Вам на комиссию. Оз-

наченная сумма списана нами с Вашего счета, расходы же наши по принятию книг поставлены в Ваш счет. С полным уважением Акушвин».

13 октября 1910 г. Елена Евгеньевна Горбунова-Посадова писала И. А. Беневскому о намерении напечатать в журнале «Маяк» его путевые заметки в район Пржевальска, куда Иван Аркадьевич вместе с «ходоками» направился с целью устройства там общины. Во время этого путешествия он вел подробный дневник, а затем написал статью.

«Дорогой Иван Аркадьевич, Вашу (? книжку) Катя (старшая дочь Горбуновых-Посадовых) выслушала с большим интересом.

(далее письмо повреждено на 6 строчек)

<...> Так что с вас Ваше второе путешествие. На одной лошади со всеми подробностями. Предложение Ваше тоже пойдет, напечатаем в одном из первых №№ «Маяка». Если бы можно было надеяться на Вас, то я с удовольствием бы послала Вам для детей, п.ч. всякие подробности особенно интересны <...>

(повреждение письма на 5 строчек)

Вы все подробности внесите в другую поездку и пишите ее так же просто, как и эту написали.

У нас все то же — суета, работа, контора и проч. А, вероятно, видали в газетах, что на этих днях Л. Н. был болен <...>

(повреждение письма на 4 строчки)

Как будто бы эта (? болезнь) и моменты, когда Л. Н. был близок к смерти внесли (? успокоение) в Ясную, т.ч. теперь там мир и покой. Дай Бог, чтоб надолго. С<офья> Анд<реевна> примирилась с Ал<ександрой> Льв<овной> и даже, кажется, смирилась с близостью к Ясной Черткова.

У нас все благополучно и жизнь идет обычной колеей. Всех (?...) благ.

Ив. Ив., Е. Е. Горбунова»

В письме от 21 августа 1913 г. И. И. и Е. Е. Горбуновы-Посадовы выражали соболезнование Ивану Аркадьевичу по случаю смерти его отца — Аркадия Семеновича Беневского:

«Дорогой друг Иван Аркадьевич!

Я слышал о вашем горе, но не знал, куда писать вам. Обнимаю вас. Знаю, что вы, как ни страдаете (не страдать невозможно), но несете свое горе с верою в бесконечную жизнь души вашего отца в свете и любви Божьей. Иногда эти слова звучат одним утешеньем, но в нашей с вами светлой искренности и дружбы перед Богом это не так — это наша — не вера даже, а глубокое и единое, ничем нерушимое знание.

Бедный отец ваш — страдания его я так представляю себе потому, что мой отец умер от той же болезни в таких же страданиях, и последние недели я провел безотлучно около него дни и ночи.

Спасибо, дорогой, что написали мне.

Всех людей хотелось бы любить, но невольно некоторых любишь особенно, и вы один из самых мною любимых. Много страданий пришлось пережить вам за эти недолгие годы, в какие я вас знал, но всегда вспоминаю с чувством — не умею сказать иначе — истинного умиления о доброй улыбке, светившей на вашем открытом лице, тоже тогда, когда вы о нем говорили. Добрая улыбка эта была преданность Богу, вере в то, что все-то в жизни есть вечное благо, вечная любовь, и что из всех этих страданий надо извлекать все лучшее, все светлое для других и себе, и что они могут дать.

Я никогда не говорю, что страдания сами по себе делаются для блага — этого я не про смерть (не могут быть страдания моего ближнего), не может мой близкий страдать для моего блага, но Богом нам дана возможность того или иного отношения к страданию, и не может Бог желать, чтобы кто-нибудь был тюремщиком, палачом, тираном, мучителем; но Богом нам дана возможность того или иного отношения к нашему собственному страданию, и верующий, в конце концов, извлекает сам из него высшее благо.

Так, конечно, и с вами и в этом, и в прошлых вечных страданиях. Как больно теперь вам и вашей сестре, вероятно, что вы фактически сейчас так далеки друг от друга. Передайте ей мой братский привет, а также вашей жене.

Жена моя также шлет вам сердечный привет. Лето мы провели по-прежнему в Овсянникове. Теперь еще сиротливее здесь стало. Но все же родное место. В конце августа едем в Москву, о чем думаем с тоскою. Но что поделать! А вы как думаете — поселитесь теперь на хуторе, какие у вас о нем планы? Если вздумаете его почему-либо продавать, то известите нас, бывают ищущие. Я сам мечтаю где-нибудь маленький pied à terre[1], главное для детей (не для владения ими, сохрани Боже, а в воспитательных целях и целях нервного отдыха), но где-нибудь ближе к Москве, хотя, может быть, если бы было что-нибудь особо подходящее, то и в другом месте. Это так, на всякий случай, хотя я думаю, вы, скорее всего, там останетесь. Все же отцова среда. Статью вашу пришлю, когда напечатается. По вопросу о заработках вы хотите написать мне, тогда увидим, какие у вас мысли и обсудим. Целую вас. Любящий вас

И. Горбунов. 21 августа 1913 года.

Милый Иван Аркадьевич, я узнала о смерти вашего отца от Чертковых, но не знала, что он умер такой ужасной болезнью. Очень мне хотелось тогда написать, да как-то не знали куда. Ужасно видеть страдания и чужого человека, и тем, что не можешь облегчить их, и все рав-

[1] пристанище (фр.).

но они поведут к одному концу. Очень, очень целую вас и вашу жену. Всего вам хорошего.

Е. Горбунова»

3 сентября 1917 г. И. А. Беневским получено письмо от Г. К. Бремер об организации «Общества свободного труда» с уставом и списком членов-учредителей (36 фамилий), в который внесены фамилии И. А. Беневского, И. И. Горбунова-Посадова и многих других близких им друзей-единомышленников.

В августе 1922 г. Иван Аркадьевич Беневский и его жена Анна Исидоровна умерли. Их дети остались на попечении Е. И. Федоровской, сестры их матери. И каждый год Иван Иванович Горбунов-Посадов ходатайствовал о снятии налога с хутора Беневских.

Приводим одно из таких ходатайств.

На бланке:

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОСРЕДНИК»

Москва, Арбат, № 36.

24 сентября 1925 г.

Е. И. Федоровской

Многоуважаемая Евдокия Исидоровна!

Сообщаю вам, что, по примеру прошлых лет, мною отправлено через Надежду Константиновну Ульянову в Центральный Исполнительный Комитет ССР ходатайство о снятии с хутора сирот Беневских всего продналога за 1925 год. С искренним уважением

Член Ученого Совета Толстовского
Музея Наркомпроса И. Горбунов-Посадов»

По этому же поводу в 1929 г. И. И. Горбунов-Посадов писал:

«Многоуважаемая Евдокия Исидоровна.

Извещаю Вас, что ходатайство о снятии и в нынешнем году продналога с хутора Беневских своевременно препровождено было в ВЦИК РСФСР с препроводительной запиской Надежды Константиновны Крупской-Ульяновой, поддерживающей это ходатайство.

С уважением Член Ученого Совета Толстовского Музея Наркомпроса
И. Горбунов-Посадов 25 ноября 1929 г.»

В 1967 г. в доме № 8 по Хользунову переулку, при разборе книг, оставшихся от семьи Горбуновых-Посадовых, была обнаружена книга «Воскресение» Л. Н. Толстого (гранки), в которой на первой странице было написано: «С позднейшими исправлениями автора» (почерк неизвестен, по-видимому, принадлежал кому-то из сотрудников издательства «Посредник»). Заглянув в издание Л. Н. Толстого, я с моим мужем обнаружила, что эти исправления в 90-томное издание «Собрание сочинений Л. Н. Толстого» внесены не были.

Я сделала ксерокопию этой книги и показала ее моей старшей двоюродной сестре Наталье Ивановне Захава, урожденной Горбуновой-Посадовой. Она эту ксерокопированную книгу передала в Государственный литературный институт своей близкой знакомой, занимавшейся переизданием собрания сочинений Л. Н. Толстого. Кроме того, ею было написано письмо директору музея Л. Н. Толстого с просьбой взять под контроль внесение этих правок в новое издание.

Однако наша попытка выяснить, что же это за книга, не дала никаких результатов.

В начале 2014 г. я обратилась к директору Государственного музея Л. Н. Толстого Наталье Алексеевне Калининой с просьбой помочь разрешить проблему найденных гранок «Воскресение».

Наталья Алексеевна организовала встречу с сотрудниками хранилища музея. Была принесена книга, содержавшая все исправления текста, сделанные самим Львом Николаевичем.

Выяснилось, что был момент, когда торопились с изданием книги «Воскресение», чтобы вырученные за нее деньги пошли на дело переезда духоборов в Канаду, а последующие правки вносились Львом Николаевичем к уже изданному варианту. В книге, представленной для сравнения с принесенной мною, все правки были разнесены по времени, но только в гранках, сохранившихся в архиве семьи Горбуновых-Посадовых эти правки даны в едином виде.

Очень хотелось бы надеяться, что вновь издаваемое «Воскресение» включит и позднейшие исправления Толстого, обогащающие прежний вариант романа.

Е. Д. МИХАЙЛОВА
г. Москва

Письма И. И. Горбунова-Посадова В. Д. Бонч-Бруевичу первых послереволюционных лет

«...исправить несправедливость — есть величайшее счастье»
Лев Толстой. «Война и мир»

Переписка И. И. и Е. Е. Горбуновых-Посадовых с В. Д. Бонч-Бруевичем охватывает огромный период — от 90-х годов XIX в. до середины 50-х XX в. Она дает представление о многолетних творческих и дружеских связях, об общности интересов и ряда жизненных позиций, профессиональных контактах, связанных с издательской работой и общественной деятельностью, сталкивающих этих людей на различных поприщах — от причастности к защите духоборов и их переезду в Канаду до проблем «свободного воспитания» и организации новой школы, от конкретных издательских вопросов до темы сохранения архивов. В их переписке естественно возникают имена А. П. Чехова, В. Г. Короленко Л. Н. Толстого и людей их окружения — родных, друзей, последователей. Столь же свободно появляются в письмах имена В. И. Ленина, Н. К. Крупской, что определено общественным статусом и широтой деятельности авторов переписки.

В настоящей публикации наше внимание остановлено на письмах И. И. Горбунова-Посадова к В. Д. Бонч-Бруевичу первых послереволюционных лет, содержание которых и подсказало возможность взять эпиграфом мысль Л. Н. Толстого: «...исправить несправедливость — есть величайшее счастье».

Однако предварительно хотелось бы включить более ранний эпизод, раскрывающий глубину и сердечность отношений Ивана Ивановича Горбунова-Посадова с Владимиром Дмитриевичем Бонч-Бруевичем.

Одно из первых писем Бонч-Бруевича к Горбунову-Посадову, хранящееся в фондах Российской государственной библиотеки (*НИОР РГБ* ф. 369, к.141, ед. хр. 20, л. 1), датируется 19 марта 1912 г. Оно связано с его участием в хлопотах о прекращении дела Горбунова-Посадова и Буланже[1], суди-

[1] Буланже Павел Александрович (1865–1925), последователь Л. Н. Толстого. Пу-

мых в Тульском окружном суде за гражданскую форму захоронения Марии Александровны Шмидт[1], по ее завещанию, так как она «30 лет как отошла от православной Церкви и не верила в ее догматы и обряды». Горбунов-Посадов обращался к Бонч-Бруевичу с просьбой подсказать, нет ли каких данных по аналогичным преследованиям и канонических указаний на подобные дела. Сведения эти Иван Иванович просил переслать Н. К. Муравьеву, который выступал защитником в этом судебном процессе.

Письмо И. И. Горбунова-Посадова (*НИОР РГБ.* ф. 369, к. 259, ед. хр. 31, л. 5–6) не датировано. Однако оно может быть отнесено к концу 1911 или началу 1912 г. Это подсказывает время смерти М. А. Шмидт (18 сентября 1911 г.) и дата публикуемого письма Бонч-Бруевича, которое является свидетельством его горячей причастности к этому судебному процессу:

«С.-Петербург. 19 марта 1912 г. Дорогой Иван Иванович, спешу сообщить Вам, что Вы вскоре получите радостную весть. Более ничего пока сообщить не могу, но знаю наверное, что Вам решительно не о чем беспокоиться, а надо совершенно спокойно совершать свой путь жизни, который отнюдь не будет ничем нарушен. Передайте мой привет всем Вашим. Любящий Вас Бонч-Бруевич».

Письмо написано на бланке:

«Материалы к истории
и изучению русского
сектантства и старообрядчества.
Адрес редакции:
Владимиру Дмитриевичу
Бонч-Бруевичу. С.-Петербург.
Херсонская ул., д. № 5, кв. 9. Телефон 177–84».

Содержание бланка документально объясняет, почему Горбунов-Посадов со своей просьбой обращается именно к Бонч-Бруевичу, а его ответ от 21 марта — свидетельство о плодотворном участии Бонч-Бруевича:

«Спасибо, милый Владимир Дмитриевич за добрые вести. Большое спасибо. А вам, со своей стороны, сообщу, что только что узнал, что в судебной палате здесь получено известие о приостановлении исполнения приговора надо мною и Муравьевым, но суд думает, что это означает отмену. Не знаю, так ли это, но если это и отсрочка, то и это хорошо. Если отмена, то я бесконечно рад за жену, на которую должно было упасть непосильное бремя[2].

блицист. Переводчик, мемуарист. В 1909–1916 жил вблизи Ясной Поляны.

[1] Шмидт Мария Александровна (1844–1911), последовательница и ближайший друг Л. Н. Толстого. *Жила и умерла в имении Т. Л.* Толстой «Овсянниково», где в течение 12 лет летом жила семья Горбуновых-Посадовых, с которой она была в тесной дружбе. *Незадолго до ее смерти И. И.* Горбунов-Посадов записывает с ее слов биографию, впоследствии вошедшую в книгу Е. Е. Горбуновой-Посадовой «Друг Толстого Мария Александровна Шмидт» (М., Толстовский музей, 1929).

[2] Речь идет о судебном процессе по изданию «Посредником» «Круга чтения» Л. Н. Толстого, по приговору которого И. И. Горбунову-Посадову грозило тюремное заключение на один год и в случае исполнения приговора основная тяжесть руководства «Посредником», редактирования изданий и т. д., легла бы на Е. Е. Горбунову-По-

Еще раз спасибо за добрые вести и за вашу заботу, добрый, дорогой Владимир Дмитриевич.

В несчастии есть столько отрады в них содержанной любви и доброты, которую благодаря ему особенно ценишь.

Сердечный привет Вере Михайловне[1] и поцелуй милой дочурке[2]. Какая она у вас славненькая

Еще раз спасибо. Любящий вас И. Горбунов. 21 III 1912» (*НИОР РГБ.* ф. 369, к. 59, ед. хр. 31, л. 3–4).

Этот эпизод переписки 1912 г. говорит о том, что к этому времени связь И. И. Горбунова-Посадова с В. Д. Бонч-Бруевичем имела прочные основы, позволившие одному обратиться с просьбой о помощи, а другому — безоговорочно откликнуться на призыв. Письма напоминают и о том, что в их взаимоотношения включены их семьи, их жизненные соратницы — каждая из которых оставила значительный след в истории культуры и общественной деятельности, не говоря уже об их взаимных контактах.

А сам эпизод, о котором свидетельствуют письма — бесспорный факт помощи в «исправлении несправедливости».

Тем более оправдано отношение мысли Л. Н. Толстого к предлагаемой публикации: основной пафос писем 1918–1920 гг. — защита несправедливо и бессмысленно арестованных людей, которые вместо отбывания срока в тюрьмах, могли бы приносить пользу трудовому народу, государству. Именно с просьбами вмешаться в дело исправления подобных ошибок обращается Иван Иванович к Владимиру Дмитриевичу, занимающему в это время высокий пост Управляющего Делами Совнаркома.

К сожалению, письменных ответов на эти письма в архиве нет, да и вряд ли они могли быть, так как это сопроводительные записки к обращениям и доку-

---

садову, которая являлась основным соредактором по всем изданиям, включая журналы «Маяк» и «Свободное воспитание».

[1] Величкина Вера Михайловна (1868–1918), первая жена В. Д. Бонч-Бруевича. Большевик, советский партийный деятель, врач, литератор. Общественную деятельность начинала с участия в 1891–1892 гг. в помощи голодающим в Рязанской губернии, организованной Л. Н. Толстым, войдя в круг его семьи и соратников. В дальнейшем — революционные кружки в России и Швейцарии, где при расколе РСДРП вошла во фракцию большевиков. *Революционная работа не помешала связям с кругом Л. Н.* Толстого: живя в Швейцарии, печаталась в «Посреднике»; участвовала в работе журнала для сектантов «Рассвет»; в 1899–1900 гг. вместе с Бонч-Бруевичем провела 13 месяцев с духоборами, сопровождая последний пароход, увозивший их в Канаду, работая врачом и помогая устройству на новом месте. В годы Первой мировой войны 1,5 года была фронтовым врачом. После революции руководила школьно-санитарным делом, работая в Наркомпросе. Сотрудничала с журналом «Свободное воспитание», публикуя статьи по санитарному просвещению. Умерла, заразившись испанкой, 31 декабря 1918 г. И. И. Горбунов-Посадов — один из организаторов и членов создания «*Комитета памяти В. М.* Бонч-Бруевич (Величкиной)».

[2] Бонч-Бруевич Елена Владимировна (Леля; 1904–1985), врач-хирург. В 1918 г., после переезда правительства в Москву, по совету *Горбуновых-Посадовых поступила в гимназию М. Х.* Свентицкой и училась в одном классе с их дочерью Ольгой.

ментам, с которыми приходили те, кого просил принять Горбунов-Посадов, направляя к Бонч-Бруевичу своих подопечных и подкрепляя это своим отношением к тому или иному делу. Его собственные контакты с Владимиром Дмитриевичем, судя по письмам, проходили либо по телефону, либо при деловых встречах — на заседаниях тех или иных Комитетов, при прямом обсуждении тех или иных издательских вопросов.

Как любые свидетельства напряженных моментов истории, письма Горбунова-Посадова дают яркую картину быта Москвы, а через нее и России, в годы первых лет революции: заснеженный город, не ходящие трамваи, нетопленные квартиры, голодные обмороки людей на улицах... И все это в конкретных эпизодах, которые заставляют Горбунова-Посадова вновь обращаться к Бонч-Бруевичу с просьбой о помощи — то переселение в другое жилье семьи, где в заиндевевшей квартире погибает от воспаления легких грудной ребенок, то о жилищных условиях Е. Я. Фортунатовой — «одного из замечательнейших педагогов России», то о бессмысленности «лежанья под печатями вымерзающей картошки и съедаемой мышами муки и крупы, пропадающих для всех», то о неразумности бесчисленных облав на рынках («Неужели нельзя, дорогой В. Д., прекратить облавы на рынках? — спрашивает И. И. Горбунов-Посадов в письме от 1 ноября 1919 г. — Ведь это сейчас в кольце голода возвращается полная нелепость и удушение голодных»).

И каковы бы ни были просьбы, это обращения к другу, имевшему большие возможности реально помочь людям в беде, с абсолютной уверенностью в его высоком чувстве справедливости, душевной доброте и общем понимании ценности человеческой личности. При этом, относясь к интеллигенции, которая с полной искренностью и отдачей включилась в работу на культурном фронте, Горбунов-Посадов не злопыхательски, а искренне огорчаясь, откровенно пишет о том, как часто скоропалительные, неразумные действия представителей власти не только вредят делу, но и подрывают престиж государства.

Свои тревоги Горбунов-Посадов считает необходимым высказать не только Бонч-Бруевичу, но и непосредственно главе государства: «Передали ли вы мое письмо Владимиру Ильичу?», обеспокоенно спрашивает он неоднократно Бонч-Бруевича.

В этом теплом «Владимиру Ильичу» прочитывается то, что Ленин воспринимался им (а тем более — Бонч-Бруевичем) не только как глава государства, но как живой человек, давний единомышленник в самой идее служения трудовому народу, просто обязанный прислушиваться к мнению тех, кто служил и служит этой идее. В сознание Горбунова-Посадова Владимир Ильич реально вошел по переписке с Н. К. Крупской, которая со времен эмиграции сотрудничала с журналом «Свободное воспитание», а в эти годы контактировала с Иваном Ивановичем и Еленой Евгеньевной по проблемам построения новой школы и изданиям необходимых для нее книг. Часть учебников, издаваемых Госиздатом, использовалась из «портфеля» «Посредника» (о чем свидетельствуют и письма), хотя деятельность самого издательства резко сокращалась, несмотря на охранную грамоту за подписью В. И. Ленина. Сама же Надежда Константиновна до конца жизни оставалась другом семьи Горбуновых-Посадовых.

Сюжет этот, давая штрих взаимоотношений деятелей культуры с властью, в то же время подчеркивает человеческие контакты, скрепляющие внутреннюю связь наших героев, как скрепляли ее близость к Л. Н. Толстому, дружба с П. И. Бирюковым, В. Г. Чертковым, многолетние пересечения по издательским делам, совместная работа после революции в «Комитете по борьбе с антисемитизмом».

Именно к этому периоду относятся публикуемые ниже письма. У них есть еще одна черта, характеризующая время: их облик. Пишущий черными чернилами автор использует любую бумагу — иногда старые бланки, иногда листы, вырванные из блокнота, из большемерной «амбарной» книги, или просто обрывок бумаги. Почерк часто трудно читаемый — рука мерзнет, буквы меняют свое начертание. Адресат указывается на задней стороне то вдвое, то втрое сложенного письма — конвертов нет. Но главное — суть, главное — успеть помочь в той или иной беде.

А читающий поймет и простит — давний друг, еще с 1893 г., когда юный Бонч-Бруевич пришел в издательство «Посредник» за книжками, которые распространял как книгоноша, начав свое общественное служение так же, как когда-то в молодости Горбунов-Посадов, к этому времени ставший одним из ведущих работников издательства.

Шли годы, по разному складывались пути, постоянно пересекаясь и укрепляя рабочими контактами дружбу. Свидетельства тому — письма.

И, забегая вперед, позволю себе привести текст письма Бонч-Бруевича от февраля 1940 г. (датируется по дню смерти И. И. Горбунова-Посадова — 12.02.1940), рукописный черновик которого также хранится в фондах Российской государственной библиотеки:

«Москва, Трубецкой пер., д. 8, кв. 2

Елене Евгеньевне Горбуновой-Посадовой

Позвольте выразить мне Вам мое самое глубокое соболезнование по случаю утраты дорогого и незабвенного Ивана Ивановича, которого так искренне любила покойная Вера Михайловна.

Владимир Бонч-Бруевич»

(*НИОР РГБ*. Ф. 369, к. 141, ед. хр. 20).

Все публикуемые письма хранятся в фондах Научно-исследовательского отдела Российской государственной библиотеки (*НИОР РГБ*. Ф. 369, к. 259, ед. хр. 31, 32; к. 456, ед. хр. 8). При каждом письме обозначен номер единицы хранения и листа (л. 1). При повторении писем, написанных на бланках, текст бланка воспроизводится лишь в первом случае, далее указывается лишь его наличие. При печатание текстов используется современная орфография. При необходимости введены пропущенные знаки препинания.

ПИСЬМА И. И. ГОРБУНОВА-ПОСАДОВА В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧУ

1. *8 декабря 1894 г. Москва*

8 дек. 1894

Многоуважаемый Владимир Дмитриевич,

Насчет Иоанна Воина вышло маленькое недоразумение — мы вовсе не предполагаем перестать издавать его и готовим новое его издание. Екатерина же Степановна думала, что мы больше не издаем его. Это одна из старейших наших книг, которой мы весьма дорожим и распространяли уже во множестве экземпляров. Я сообщил все это Екатерине Степановне [1], и она разрешила нам продолжить издание ее книги по-прежнему, при этом однако считаем должным сообщить вам, что никаких исключительных прав на эту книгу мы за собой не признаем, и вы, разумеется, можете ее издавать, если найдете это желательным.

Всего хорошего.

С искренним уважением И. Горбунов

Простите, что замедлил ответом.

Приложен конверт:
«Здесь
Владимиру Дмитриевичу
Бонч-Бруевичу
Мясницкая ул. Козлинский пер.
д. Прянишникова»
штамп получения 8 XII 94
На бланке «Посредника»: «Иван Иванович Редакция
Горбунов изд. «Посредник»
Москва
Зубово. Долгий пер.
Дом Иванова».

Автограф черными чернилами, двойной лист, бланк «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 1–4.

[1] Некрасова Екатерина Степановна (1847–1905), журналист, писатель, историк литературы. Книга «Иоанн воин» издана «Посредником» в 1886 г.

2. *1911 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич, я звонился к вам в Питер на днях, но не дозвонился, 30-го меня судят в Тульском окружном суде за погребение М. А. Шмидт без обряда (по 78 статье), хотя она и оставила завещание, в котором просит схоронить ее без обряда ввиду того, что она уже 30 лет как отпала от правосл<авной> Церкви и не верила в ее таинства, догматы и обряды. Нас с Буланже судят, потому что она все же по паспорту была православная и не была отлучена. Нет ли у вас каких-либо данных по этому вопросу, примеров таких погребений, за которые не преследовали и т.д. Затем нельзя ли разузнать, нет ли каких-либо канонич<еских> указаний на этот счет. Если возможно, разведайте, голубчик, дайте списать или продиктуйте — очень прошу, за мой счет, и вышлите, если возможно, не мне (так как я сегодня еду в деревню, от-

куда и 30 проеду в Тулу на суд) а Ник<олаю> Конст<антиновичу> Муравьеву[1], Москва, Тверская ул., дом 66. Чрезвычайно буду вам благодарен.

Дело ведь принципиальное. Выслать надо — самое лучшее 27-го или же никак не позже 28-го с почтовым.

Не знаете ли, что слышно на счет Н. А. Морозова? Мне отсрочили до окончания нового моего дела за издание книги «Кругом света, ч. II. Европа».

Крепко жму руку.

Ваш И. Горбунов

Какие канон<ические> правила о погребении вообще и инаковерующих в частности и достаточно ли одного паспорта и неотлучения для определения православным, хотя всем известно, что он не таковой?

Любопытные вопросы.

Автограф, черными чернилами. Ед. хр. 31. Л. 5–7.

Помета синим карандашом: «Отв. 24/III 1912 г.»

[1] Муравьев Николай Константинович (1870–1936), юрист, ученик Ф. Н. Плевако, член адвокатской палаты Москвы. Практически вел все судебные дела (в основном связанные с изданиями «Посредника») И. И. Горбунова-Посадова.

3. *21 марта 1912 г.*

Спасибо милый Владимир Дмитриевич за добрые вести. Большое спасибо. А вам, со своей стороны, сообщу, что только что узнал, что в судебной палате здесь получено известие о приостановлении исполнения приговора надо мною и Муравьевым, но суд думает, что это означает отмену. Не знаю, так ли это, но если это и отсрочка, то и это хорошо. Если это отмена, то я бесконечно рад за жену, на которую должно было упасть непосильное бремя.

Еще раз спасибо за добрые вести и за вашу заботу добрый дорогой Владимир Дмитриевич.

В несчастии есть столько отрады, (?) в них содержанной (?) любви и доброты, которую благодаря ему особенно ценишь.

Сердечный привет Вере Михайловне и поцелуй милой дочурке. Какая она у вас славненькая.

Еще раз спасибо.

Любящий вас

И. Горбунов
21 III 1912.

Простите плохо пишу, рука немного болит.

Автограф карандашом, двойной лист. Ед. хр. 31.

В левом углу письма помета синим карандашом рукой В. Д. Бонч-Бруевича: «Ответ. 24 III 1912».

4. *1917 г. Москва*

Желательно еще вставить:

Идут, проходят дни за днями (кн. 4, 157).

Не для вас я, люди братья (кн. 4, 221).

Записка черными чернилами с подписью карандашом. Ед. хр. 31. Л. 9.

На обороте рукой В. Д. Бонч-Бруевича: «Издательству «Посредник» и И. И. Горбунову-Посадову от Толстовского Петроградского музея и от Академии наук.

Самые приветствия Всеволод Иванович предполагает доставить лично в Москву в марте месяце». Текст перечеркнут.

5. *7 сентября 1918 г.*

7 сентября 1918.

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Беспокоя вас еще этой просьбой, пользуюсь случаем, чтобы крепко поблагодарить вас за ваше всегдашнее доброе дружеское отношение к нашим проблемам. Дай Бог вам за ваше внимание к тяжким человеческим переживаниям. Всего лучшего.

Горбунов-Посадов

Автограф черными чернилами на бланке «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 10.

Помета: «в архив».

6. *8 октября 1918 г. Москва*

8 октября 1918.

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Ввиду неотложности еще раз очень беспокою вас просьбой об очистке школы, где солдаты все сидят и сидят.

Не предполагают ли товарищи Веры Михайловны устроить публичное заседание в ее память. По-моему, это было бы очень важно для закрепления ее заветов по горячим следам. Я бы с большой отрадой сказал бы на нем речь, и что помню ее личность, все готовившееся ею было особенно близко моему сердцу, и у меня немало мыслей на этот счет. Известите, если затевается такое. Я пишу об этом и (*нрзб*) ее Годину.

Пред таким заседанием я повидал бы вас, чтобы расспросить о ней.

Все такое заседание можно бы стенографировать, и тогда все запечатлелось бы, и дорогой облик яснее бы выступил для всех, и закрепилось бы ее значение. Так мне думается.

Сообщите, что думаете об этом.

Ваш И. Горбунов-Посадов

Автограф, черными чернилами на бланке «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 11.

7. *16 января 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич,

Очень, очень прошу вас помочь вашими советами и содействием моей приятельнице и соратнице по «Свободному воспитанию» Надежде Алексеевне Угримовой, жене известного профессора электротехники Угримова, прошу очень помочь ей в деле (*нрзб*) ее племянника Игоря Валентиновича Кожевникова, сына литератора, издателя журнала «Правда»[1], где участвовал когда-то А. В. Луначарский.

Горячо надеюсь что вы, охватив положение, укажете, что им делать, как хлопотать, и поможете содействием в деле освобождения или облегчения положения этого, по-видимому, безвинно совсем попавшего в такое положение, очень порядочного и очень болезненного молодого человека.

Глубоко надеюсь на вас.

Ваш И. Горбунов-Посадов. 16 января 1919

Автограф черными чернилами. Ед. хр. 31. Л. 12, 13.

В левом углу л. 12 помета карандашом; «5.2.19. Э. Кр.».

На обороте л. 13:

«Воздвиженка.

Д. Советов, кв. 9.

Управление Совнаркома.

Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу».

[1] «Правда», социал-демократический журнал, посвященный вопросам искусства, литературы и общественной жизни, редактор-издатель — В. А. Кожевников.

8. *12 февраля 1919 г. Москва*

12 /II 1919

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Вчера не мог попасть к вам, т.к. трамваи из-за снегу стали. И очень жалел об этом, т.к. дел всяких очень много и хотелось бы их двигать

Сейчас же очень прошу вас! во 1) если можно поскорей переслать прилагаемое письмо мое В. И. Ленину. Я пишу ему по поводу безобразного надвинувшегося изгнания гимназии нашей[1] ради тамбовских юнкеров. Дело экстренное очень!

во 2) очень прошу передать дочери моей ту рекомендательную записочку для мужа моей племянницы[2], о которой я позволил себе несколько раз надоедать вам.

в 3) прошу также передать ей пропуск для меня в Кремль на февраль месяц.

Очень бы надо поскорее увидеться с вами по крайне нужным издательским делам. Есть выгодные новые (*нрзб*) заказы экстренные и притом требующие немедленного соображения и движения. Постараюсь при первой трамвайной возможности приехать к вам. Так хотелось бы двинуть разные дела для удовлетворения школы и учительства, ожидающих.

Живется тяжело. Обиды и стеснения «Посреднику» не прекращаются. К сожалению, жизнь строят кругом не вам подобные. И дико, насильно ломают то, что и необходимо для народной культуры. Насильничество, хулиганство над культурой — это даром не проходит. Сейчас это разрушает деятельность, настроение, всю готовность работать нас, деятелей культуры, а потом это разрушит и дело самих правящих, которые до всего этого допустили и потворствуют. И это так будет, в этом я теперь глубоко убежден. Горечь и бесконечное чувство протеста накопилось в душе! Слепые поводыри слепых! А если зрячие, того хуже!

Ваш И. Горбунов-Посадов

Очень бы просил иногда звонить ко мне. Самому к вам невозможно дозвониться.

Автограф черными чернилами, на бланке «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 14.

[1] Очевидно, имеется в виду школа, располагавшаяся в доме 21 по 7-му Ростовскому пер. и объединившая гимназии А. Д. и А. С. Алферовых (которой и принадлежало ранее здание) и М. Х. Свентицкой, где учились дочери Бонч-Бруевича и Горбунова-Посадова. Гимназии в 1918 г. были переданы в ведение Наркомпроса.

[2] Имеется в виду Давид Васильевич Вярьвильский (1878–1961).

9. *12 февраля 1919 г. Москва*

12 /II 1919.

Предыдущее написано до разговора с вами по телефону.

Теперь простите еще просьба опять насчет телефона — опять испортился и 2 недели не можем упросить починить. Вы маг и чародей! Помогите!

Мой телефон 2.37.68. А то теперь так трудно и без трамвая и без телефона. Ко мне действует, а от меня нет.

Ваш И. Горбунов

Не будут ли посылать чего либо Вярьвильскому — тогда можно и мне переслать вашу записку насчет Спискова[1] — ведь мы с Вярьвильским в одном доме.

Автограф черными чернилами, на бланке «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 15.

[1] Списков Владимир, внук Н. И. Горбунова, брата И. И. Горбунова-Посадова.

10. *24 февраля 1919 г. Москва*

24 II 1919

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Простите, что вчера я горько настонал вам в телефон. Я живу все это время в самом подавленном настроении.

Среди наставшего и для «Посредника» угнетенья, насилья и угроз, наваливающегося и на него сплошным косяком насилья, порою со-

вершенно опускаются руки у меня, надеющегося работать, и чаша, порою, проливается через край. — Еще раз простите. Сегодня мне, к сожалению, не придется быть у вас на собрании. Чувствую себя нервно слишком разбитым и физически слишком слабым для путешествия.

Ваш И. Горбунов-Посадов

Автограф, черными чернилами, на бланке «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 16. На обороте письма: «Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу».

11. *4 мая 1919 г. Москва*

4 мая 1919.

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Моя сотрудница Лендеберг очень укоряет меня за великую задержку ее книги «Летняя работа с детьми», которая, как вы знаете, пошла через издательство памяти Веры Мих<айловны>: ожидают месяца 1 ½ печать, но до сих пор она и не набирается, несмотря на ваше напоминание. Книга страшно нужна к лету для организации (*нрзб*) и т.д. Как ее сдвинуть. Видно, что у симпатичного Аржанова все же есть силы, чтобы ее двинуть. Не принажмете ли, дорогой друг. Я бы не беспокоил, но она глубоко и справедливо меня укоряет и (*нрзб*) с этой книгой. Книга небольшая, нужда в ней большая и самая по сезону, и одна из самых нужных по идеям нашему отечеству! Ради Бога, ускорьте и скажите мне по телефону, что я могу ей точного сказать, когда корректура?

Дорогой друг, если вы знакомы с Красиковым, нельзя ли вам попросить его, нельзя ли отменить смертный приговор несчастному осужденному отцу 4-х детей (из них 3 девочки) Лейбе Абрамовичу *Зенгеровичу*. Дело его будет рассматриваться завтра — 5 мая в кассационном трибунале. Передано из Витебского революционного трибунала. Я не пишу и не говорю о полном помиловании (хотя, по-моему, он невинен — дело идет о даче им взятки под угрозой расстрела), но лишь бы и не казнили. Только бы не казнили.

Председатель — Красиков.

Члены трибунала Платонов.

Пашуканис.

М<ожет> б<ыть>, кто-нибудь из этих еще двоих?

Простите за беспокойство, но т<ак> жаль несчастную семью.

Всего, всего лучшего.

Сердечно ваш

И. Горбунов-Посадов

Автограф, черные чернила, на бланке «Посредника». Ед. хр. 31. Л. 17–18.

12. *6 августа 1919 г. Москва*

Комитет Председателю Комитета
Памяти Владимиру Дмитриевичу
Веры Михайловны Бонч-Бруевичу
Бонч-Бруевич (Величкиной)
6 августа 1919
№ 201
Адрес для писем
Москва. Земляной вал
Гороховая ул., 18

Настоящим Комитет просит Вас, как своего председателя, взять на себя труд представительства Комитета памяти В. М. Бонч-Бруевич (Величкиной) в Государственном издательстве.

Члены комитета *И. Горбунов-Посадов*
В. Ивани (?)
Евг. Радек
Виктор (?)
Ученый секретарь *Аржанов*

Машинописный текст с подписями красными и черными чернилами, на бланке Комитета памяти Веры Михайловны Бонч-Бруевич (Величкиной). Ед. хр. 31. Л. 19.

13. *17 сентября 1919 г. Москва*

Редакция журнала
«Свободное воспитание».
Москва. Девичье поле.
Трубецкой пер.
Д. Осипова. Ив. Ив. Горбунов.
17 сентября 1919.

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Из тюрьмы освобождены учительница Костомарова и адвокат Ордынский, за которых я ходатайствовал.

Глубоко благодарю вас за доброе содействие ваше их освобождению.

В таких случаях, как в случае с С. П. Ордынским, благодаря вам уничтожается случайное большое нарушение Советской властью справедливости.

Обращаюсь теперь к вам по такому же делу случайного нарушения, как мне кажется, справедливости в аресте уважаемого (бывшего князя) С. Д. Урусова[1], о чем я подробно пишу в приложенном. Не сомневаюсь в вашем внимании к этому.

Надеюсь, что вы, дорогой В. Д., передали по назначению пакет В. И. Ленину, т.к. базируясь на нечто как им полученное уже, я начал писать ему новое, более личное отношение по поводу происходящего.

Ваш И. Горбунов-Посадов

Автограф, черные чернила, лист со штампом «Свободного воспитания». Ед. хр. 31. Л. 20.

[1] Урусов Сергей Дмитриевич (1862–1937), князь, общественный и политический деятель. Автор книги «В тисках законов. Очерк о положении евреев в России»: М.: изд-во В. М. Саблина, 1907. После революции неоднократно арестовывался, но освобождался. 27 декабря 1919 г. был призван на службу в Красную армию, служил бухгалтером управления штаба морских сил Республики. В 1920–1930-е гг. служил в различных советских учреждениях, в том числе в разработках Курской магнитной аномалии. Последние годы был бухгалтером в Союзе писателей.

14. *20 сентября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Горячо прошу вас, если возможно, о немедленнейшей передаче Владимиру Ильичу приложенного моего обращения. Глубоко надеюсь на ваше внимание.

Сердечно ваш И. Горбунов-Посадов

Пакет, взглянув, прошу вас, дорогой, заклеить.

Письмо это передаст вам моя давняя знакомая, друг Алферовых[1] О. А. Чупрова-Сперанская, дочь А. И. Чупрова[2], младшие дочери (и ее сестры) которого были воспитаны при содействии Алферовых.

Автограф, черные чернила, лист со штампом ж. «Свободное воспитание». Ед. хр. 31. Л. 21.

[1] Алферовы — Александр Данилович (1862–1919) и Александра Самсоновна (ур. Коссович, 1868?–1919), известные московские педагоги, деятели народного просвещения, основатели женской гимназии, славящейся высоким уровнем воспитания и образования и составом учителей (Г. Г. Шпет, А. Б. Гольденвейзер и др.). В 1919 г. Алферовы были арестованы (по делу «Национального центра») и в ноябре расстреляны. В посмертном письме А. С. Алферова писала: «Дорогие девочки. Участь моя решена. Последняя просьба к вам — учитесь без меня так же хорошо, как и при мне. Ваши знания нужны будут Родине, помните постоянно об этом. Желаю вам добра, честной и интересной жизни». (По памяти И. Ф. Шаляпиной, выпускницы гимназии.)

[2] Ольга Александровна Сперанская (урожд. Чупрова), дочь Александра Ивановича Чупрова (1842–1908), ученого-экономиста, члена-корреспондента Академии наук.

15. *20 сентября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень прошу вас, если возможно, принять вне очереди дочь покойного А. И. Чупрова О. А. Чупрову-Сперанскую с моим поручением.

Ваш И. Горбунов-Посадов

20сентября 1919.

Автограф, черные чернила, лист со штампом ж. «Свободное воспитание». Ед. хр. 31. Л. 22.

16. *24 сентября 1919 г. Москва*

Штамп 24 сентября 1919

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Письмо это передаст вам дочь одного из самых дорогих моих друзей, покойного замечательного религиозного деятеля из народа, Евангельского книгоноши Старинина (его чрезвычайно интересные записки «Записки книгоноши» я хотел предложить вам для издания)[1]. У этой дочери его, в судьбе которой я принимаю горячее участие, есть маленький (6 мес.) ребенок, который прямо гибнет от их квартиры, отравленный ядовитыми сернистыми газами, врывающимися в квартиру. Переменить квартиру можно только по ордеру жилищно-земельного отдела, который получить весьма трудно. Поэтому очень-очень прошу вас о содействии ей в этом ради жизни ее ребенка. У нее есть медицинское о нем свидетельство.

Глубоко надеюсь на ваше особенное всегда к детской судьбе внимание.

Ваш И. Горбунов-Посадов

Тверской-Ямской пер. № 2, кв. 60, Триумфальная Садовая, Колобовой

На обороте:

Владимиру Дмитриевичу

Бонч-Бруевичу.

Воздвиженка, вход с Воздвиженки, кв. 9,

где бывш<ая> гост<иница> «Петергоф».

От И. И. Горбунова-Посадова.

Автограф, черные чернила, лист со штампом ж. «Свободное воспитание». Ед. хр. 31. Л. 23.

[1] Старинин Иван Игнатьевич, книгоноша «Библейского общества», автор «Записок библейского книгоноши» («Голос минувшего». 1914. № 10. Гл. V и XII).

17. *25 сентября 1919 г. Москва*

Штамп 25 сентября 1919

Дорогой друг!

Очень-очень прошу вас помочь этой милой, бедной девочке Бошняк, хлопочущей об отце своем, офицере, арестованному с неск<ольк<ими> другими, в Самар<арской> губ<ернии> в июле, после того как несколько офицеров из их части ушли к белогвардейцам. Отец-то ее

и не думал совершенно бежать, и ни о чем подобном, но почему-то взят и содержится в Бутырках. Несчастная семья ничего не знает о нем.

Как бы бедной девочке получить свидание с отцом? Как ей его получить? Он числится за особым отделом ЧК, а туда она проникнуть не может. Горячо прошу вас, дорогой, помочь этой милой дочери, горячо страдающей об отце, о котором она горячо и твердо знает, что он совершенно ни причем — посоветовать ей, как хлопотать, т.к. некому вступиться за семью их (мать — учительница, больна).

Ваш И. Горбунов-Посадов

На обороте листа:

Владимиру Дмитриевичу

Бонч-Бруевичу.

Кв. 9.

От И. И. Горбунова-Посадова.

Автограф, черные чернила, лист со штампом ж. «Свободное воспитание». Ед. хр. 31. Л. 24.

18. *25 сентября 1919 г. Москва*

Штамп 25 сентября 1919

Дорогой Владимир Дмитриевич! Очень прошу вас с добрым вниманием отнестись к просьбе подательницы, хлопочущей о брате своем, симпатичном и дельном агрономе Рейне (?), который по недоразумению, совершенному вместо того, чтобы служить своими знаниями народу и Советской республике, Бог знает для чего, засунут в концентрационный лагерь. Очень надеюсь на ваше внимание. Прилагаю докладную записку.

Вы обещали прислать мне копию с моей выписки об Урусове. Буду очень благодарен — для составления новой.

Ваш И. Горбунов-Посадов

На обороте листа:

В. Д. Бонч-Бруевич.

Автограф, черные чернила, лист со штампом ж. «Свободное воспитание». Ед. хр. 31. Л. 25.

19. *30 сентября 1919 г. Москва*

Управляющему делами Совнаркома Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу от члена Комитета по борьбе с антисемитизмом при Наркомпросе.

Искренно уважаемый Владимир Дмитриевич!

Как член комитета по борьбе с антисемитизмом обращаюсь к вам и как к Управляющему делами Совнаркома и как к члену Комитета по борьбе с антисемитизмом при Наркомпросе с просьбою о содей-

ствии (освобождению из заключения С. Д. Урусова, так бесконечно много сделавшего для гонимого и травимого еврейства вообще и еврейского пролетариата в частности в дни кровавых гонений на евреев в последние времена царизма.

Хотя вам, наверно, хорошо в общем известна деятельность С. Д. Урусова в этом направлении, я позволю все же себе напомнить о ней в кратких словах.

Назначенный губернатором в Бессарабскую губернию после ужасного кишиневского погрома С. Д. Урусов употребил все свои усилия для того, чтобы в это убийственное для еврейского населения время, когда над ним висел рок ненавидящего его правительства, охранить еврейство от новых ужасов и страданий и создать для него лучшие человеческие условия существования, делая для этого, что только было в его, Урусова, силах.

Переведенный в ноябре 1904 г. в Тверь, Урусов весной 1905 г., как только был назначен временщик Трепов, подал в отставку из принципа, не желая служить с людьми, о которых в последующей своей думской речи выразился: «по воспитанию вахмистры и городовые и по убеждению погромщики». После объявления Виттевской конституции был в качестве одного из редчайших среди самых строптивых лиц либералов, Урусов был приглашен на один из административных постов. Поверив в искренность перемены, Урусов согласился, но через 3 месяца, убедившись в ложности правительства, вышел в отставку.

И вот в разгар кровавых расправ правительства в союзе (с) им учрежденным Союзом русского народа, одним из главных лозунгов которого был «бей революционеров и бей жидов», Урусов, выбранный в 1-ю Государственную Думу, в качестве члена Думы выступил с поразительной для бывшего администратора сочностью, с громовым разоблачением погромной деятельности правительства.

Речь Урусова разнеслась по телеграфу по всему миру. Впечатление ее, пишет Львов-Рогачевский в своей книжке «Гонения на евреев», было подобно внезапно разорвавшейся бомбе. Урусовской речью был нанесен страшный удар правительственному и черносотенному чиновничеству.

Вот почему травившееся русское еврейство и с ним защитники гонимых евреев во всем мире навсегда останутся глубоко благодарны С. Д. Урусову.

Летом 1908 года Урусов был заключен в тюрьму за Выборгское воззвание, которое он подписал. В 1907 году он издал свою интереснейшую книгу «Записки губернатора», в которой описал происходившее вокруг него в послепогромное время. Подстрекаемые правительством, вожди бессарабских черносотенцев-погромщиков привлекли его яко-

бы за клевету на них в этой книге. Это было сделано для того, чтобы правительство через свою судебную палату могло отомстить ему за его разоблачения. Палата применила к нему 6 месяцев тюремного заключения (тягчайшее наказание по инкриминировавшейся ему статье). Вышел он из царской внутренней тюрьмы в январе 1915 года.

В виду громадных, по-моему, заслуг Урусова в защиту гонимых и травимых при царском режиме, я и прошу у вас всяческого содействия освобождению из тюрьмы этого высоко благородного человека. Находится он уже давным-давно в Бутырской тюрьме.

Здоровье его (он страдает бронхиальной астмой) требует немедленного освобождения.

Обращаюсь к вам с полною надеждою на вашу поддержку в этом как члена Комитета по борьбе с антисемитизмом.

Член Комитета по борьбе с антисемитизмом при Наркомпросе.

И. Горбунов-Посадов
30 сентября 1919.

Автограф на листе большого формата, черными чернилами. Ед. хр. 31. Л. 26.

20. *7 октября 1919 г. Москва*

Душевно уважаемый Владимир Дмитриевич,

податель сего С. Н. Борков (Барков?) — 20 лет работал по книжному делу, скопил трудом маленькие средства, которых теперь может лишиться. Не дадите ли ему добрый совет, не посодействуете ли ему чем в сохранении заработанного не в качестве хозяина, а в качестве работника. Всего лучшего.

Ваш И. Горбунов-Посадов

7 октября 1919 г.

(*На обороте листа*) — В. Д. Бонч-Бруевичу.

Автограф, черные чернила, тетрадный лист со штампом «Свободного воспитания». Ед. хр. 31. Л. 27.

21. *1 ноября 1919 г. Москва*

1 ноября 1919

Дорогой Владимир Дмитриевич!

1) По поводу моей Азбуки-картинки я был у Пистряка, и он обещал сделать то же, что сделаю я с Азбукой — Фортунатовой и Шегер, и переслать ее к вам с заказом тоже тысяч в 100–75.

2) Для экономии я подготовил к печати Азбуку-картинку[1] без обложки — с титулом-картинкой на первой странице — полагаю, что вы против этого не будете ничего иметь — в Азбуке два больших листа (формата моих учебных книг) — отсутствие обложки сократит цену Азбуки, наверно (*нрзб*) на ¼.

3) Условия наши насчет Азбуки очевидно будут те же, что и с «Первым шагом» — т.к. содержание того же размера, там три малые листа, здесь 2 больших.

4) Пожалуйста, перешлите прилагаемую записку Сергею Петровичу, предварительно прочитав ее.

Для того, чтобы двинуть эти книги, ввиду того, что Сергею П<етровичу> трудно сегодня добираться, я сам снесу их Пистряку, а он пришлет вам заказ и книги, т.к. они у меня в одном экземпляре.

Рад был сегодня услышать, что вы включили,— значит поправились. А я третьего дня у нас в Вегетарианском немножко оплошал,— придя на заседание делать доклад, упал в обморок. Очевидно от желудка! К скверному питанию теперь присоединился и (*нрзб*) и желудок — вновь дает себя знать сиденье в замерзающем состоянии у себя в нетопленной комнате и спать в ней с совершенно ледяной печкой, которая согревается лишь к утру. Не знаю, чем это кончится.

Ну, всего вам хорошего и светлого. Желаю вам тепла душевного и физического.

Сегодня передал вашему секретарю для передачи Владимиру Ильичу письмо об Урусове. Его перевели, правда, в тюремную больницу, но, несмотря на все посулы освободить, все продолжают держать в тюрьме. Мне приходит в голову, нет ли старых черносотенцев, опять сводящих с ним счеты за его очень сильное для бывшего администратора обличение деятельности Министерства внутренних дел. Странная история.

Ваш И. Горбунов-Посадов
1 ноября 1919 г.

Неужели нельзя, дорогой В. Д., прекратить облавы на рынках?! Ведь это сейчас в кольце голода возвращается полная нелепость и удушение голодных.

Автограф, черные чернила, лист с оборотом. Ед. хр. 31. Л. 28.

[1] «Азбука-картинка» с разрезными буквами, подготовленная И. И. Горбуновым-Посадовым, впервые издана в 1889 г., неоднократно переиздавалась и пользовалась широкой популярностью.

22. *4 ноября 1919 г. Москва*

Управляющему делами Совнаркома В. Д. Бонч-Бруевичу.

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Горячо прошу вас о поддержке прилагаемой просьбы в ВЧК от племянника моего Л. Н. Горбунова[1] ввиду сумасшествия, угрожающего Н. И. Каменской, за которую он ходатайствует.

Несчастная больная женщина взята заложницей за побег сына, который порвал связь с родителями и не имеет уже с ними ничего общего.

Ради Бога, посодействуйте ее освобождению для лечения.

Глубоко надеюсь, что просвещеннейшие из деятелей ВЧК отнесутся с товарищеским вниманием к просьбе, подкрепленной вашим авторитетным отзывом. Горячо на это надеюсь.

Искренне ваш

И. Горбунов-Посадов
4 ноября 1919 г.

Автограф, черные чернила, большеформатный лист. Ед. хр. 31. Л. 29.

[1] Лев Николаевич Горбунов, сын Николая Ивановича Горбунова, брата И. И. Горбунова-Посадова

23. *7 ноября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Пишу вам, п<отому> что просил у вас, к сожалению, ваш телефон, а телефон мой несчастный (12 37 68) от меня все не хочет звонить. Такая беда!

Я вам говорил о моих корректорах — сестрах Борисовых[1], работающих у меня 25 лет. Теперь они корректируют и те наши книги, которые идут в вашем издательстве. Это такие мои помощники, которым я бесконечно обязан за их верную службу. Теперь им предстоят, пожилым и слабым людям, не имеющим, как и многие рабочие женщины вокруг, ни дров, ни муки, ни жилья — гибель. Но я, хотя и сам в тяжелом положении, напрягаю все усилия, чтобы этого не случилось — и по дружбе и ради дела. Для этого я хочу непременно перевезти их к себе,— все-таки мне верится, что найдутся на Руси и в Москве друзья, которые не дадут мне пропасть от холода и голода, а со мной спасутся и они. Во всяком случае, у меня нет сырости, которая вдобавок у них к ледяному холоду.

Так вот, дорогой Владимир Дмитриевич, к вам глубокая просьба! Нельзя ли как-нибудь достать грузовик, чтобы перевезти их ко мне, потому что не могу достать подводу. Расстояние от них до меня близкое — грузовику 10 минут езды. Так что если бы грузовик был порядочный, средний (у них вещи большие, да и мелочь еще всякая), так сразу же можно было.

А если бы малый, это раза два. И если бы можно было с грузовиком какого-нибудь еще человека, чтоб помочь вытащить (конечно, ему было бы к<ак> след<ует> заплачено).

Простите за эту просьбу, но она очень важна для меня. Устраивая их, я и себя отчасти устраиваю! Ведь я сейчас совершенно один в квартире — не на кого ее оставить во 1). Во вторых некому помочь мне в обиходе, и если я свалюсь, некому даже узнать об этом.

Переехать они могут тотчас и страшно, конечно, жаждут этого.

Нельзя ли, может быть, в понедельник — вторник устроить это, предупредив меня, чтобы я мог способствовать их перевозке.

Адрес их прилагаю.

Совестно очень беспокоить вас, но ведь до такой степени все трудно. А милые мои корректоры поблагодарят вас и дальнейшей ревностной читкой корректуры (они прочли теперь уже корректуры 4-х книг для издательства Комитета Веры Михайловны и читают теперь начало корректур 5-й и 6-й книг). А сколько книг Веры Михайловны они с глубокой любовью корректировали за все годы! Они так стоят поддержки. Буду ждать вашего доброго ответа.

Прилагаю адрес Борисовых.

Передали ли вы Владимиру Ильичу, как хотели, мою записку о голоде. Как бы ее ни встретили, очень прошу вас передать.

Мне сообщают (и ведь это случайные люди, очевидцы) о двух еще случаях — одного простого падения на улице от голода и другого со смертью — обе женщины. А ведь это еще только начало зимы! Представляют ли себе в Кремле и в Верхних Рядах все переживаемые страдания до самой их глубины?

У моих родственников Мартышкиных — Вярьвильских арестованные тогда Чрезвычайкою продукты все лежат запечатанными, и их едят мыши. Продуктов этих, с одной стороны, немного ($1\,^1/_2$ пуда муки, фунтов 30 пшена, 25 пудов картофеля — все это на 10 человек), но, с другой стороны, чего это сейчас стоит, когда хлеб уже 150, а пшено 170 р., и когда обе семьи остались без этих, с величайшим трудом добытых продуктов. Как чрезвычайно гадко. Ведь это какая жестокость — отбирать у людей пищу в такое время и отдавать на съедение мышам. Это какое-то безумное самовластничество.

Очень прошу вас, Владимир Дмитриевич, если возможно, написать записку в роде прилагаемой для Давида Васильевича Вярьвильского и, если возможно, вообще как-нибудь подтолкнуть Чрезвычайку, поскорее вернуть эти продукты для 10-ти.

Признаюсь, я помимо человечности и эгоистически несколько заинтересован, потому что в трудные минуты иногда они делятся, чем могут, со мною. А мое собственное продовольственное положение становится все труднее.

Я бы тогда в понедельник, будучи у вас на заседании (если вы пришлете за мною) взял бы у вас эту записочку.

Еще раз простите за все просьбы и беспокойство.

Ваш душевно

И. Горбунов-Посадов

7 ноября 1919 г.

Пишу в нетопленной комнате. Один. Кругом Советское празднество. Руки оледенели. Дай Бог вам всего светлого и спасибо за вашу сердечность, которую я так глубоко чувствую.

Приложены вариант текста и адрес:

Прошу Московскую Чрезвычайную Комиссию о пропуске в нее заведующего снабженческого продовольственного северо-западного хранилища отдела главснабпродуктами товарища Давида Васильевича Вярьвильского, а также прошу о содействии удовлетворения его просьбы об освобождении опечатанного продовольствия для его семьи, о чем уже я писал в М.Ч.К.

Приблизительный текст.

Адрес Борисовых:

Девичье поле. От города левый проезд. Большая Царицынская улица. Д. № 5, Кв. № 8 (во втором этаже). Александра Ивановна Борисова.

Автограф, черные чернила, на 5 листах, 1 и 2 с оборотом. Ед. хр. 31. Л. 32–34.

[1] Александра Ивановна и Августа Ивановна Борисовы. Первая умерла в 1919 г., вторая до конца жизни жила около Горбуновых-Посадовых в Трубецком пер., 8, кв. 2.

24. *14 ноября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень, очень прошу вас посодействовать тяжелому положению 70-летней глубоко почтенной женщины Анны Львовны Чехович, которая создала в деревне деревенский детский сад, много работает для деревенской школы, живет со своими родными теперь, всегда сама работая, и подвергается глубочайше незаслуженным притеснениям со стороны человека, которому Губернским землеустроительным отделом решено отвести землю в другом месте по соседству (помимо того, что у него есть свой надел в Смоленской губернии) и который не желает очищать помещение в доме Чехович, и, мало того, всячески оскорбляет почтенных людей, пользуясь, кроме того без спроса их имуществом и т.д.

Ваше вмешательство в ряде подобных случаев уже помогало восстановлению справедливости, а потому глубоко надеюсь на ваше внимание к этому заслуживающего полного уважения семейству.

Ваш И. Горбунов-Посадов

14 ноября 1919 года.

Автограф. Черные чернила. Ед. хр. 31. Л. 35.

25. *20 ноября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич! Очень, очень прошу вас оказать самое большое внимание племяннице общего нам с вами дорогого друга Александра Н. Коншина[1] — Капитолине Николаевне Полуэктовой, у которой случилось тяжелое несчастье — арест сына ее от первого брака (Г. М. Шепелева) *16-ти<летнего> мальчика* осужденного в (*нрзб*) коме. Горячая просьба к вам посодействовать его освобождению. Запутать его могло только какое-нибудь юношеское знакомство — мальчишеское — с другими юношами, подвергшимися аресту.

Глубоко надеюсь на самое сердечное ваше внимание к делу этого мальчика во имя памяти дорогого друга нашего!

Жму крепко вашу руку

Ваш И. Горбунов-Посадов
20 ноября 1919 г.

Пишу вам в день смерти Л. Н. Толстого. Освободите, дорогой, этого мальчика в его память.

На обороте:

В. Д. Бонч-Бруевичу

От И. И. Горбунова-Посадова.

Черные чернила (надпись карандашом — 4экз. — репринт?). Ед. хр. 31. Л. 36.

[1] Коншин Александр Николаевич, сын Н. Н. Коншина, организатора и главы фирмы «Товарищество мануфактур Коншин и сыновья» (Серпухов). С юности увлекался философией Л. Н. Толстого, переписывался с ним в студенческие годы. В 1899–1890 гг. участвовал в организации бесплатных столовых, в 1899 г. финансировал переезд духоборов и год оставался с ними в Канаде. Материально поддерживал «Посредник» при его переходе на самостоятельное, независимое от Сытина, издательство. Возвращаемые деньги употребил на колонии для детей трудящихся. В школах, построенных его отцом в Серпухове, старался внедрить идеи свободного воспитания. Перевел несколько книг для «Посредника» (см. «Сорок лет служения людям». М., 1925, с. 145–147).

26. *20 ноября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень прошу вас с вашим чутким вниманием отнестись к тяжкой квартирной опасности подательнице, ассистентке по химии Высших женских курсов А. И. Виноградовой, у которой ребенок болен воспалением легких. Глубоко надеюсь на ваше доброе внимание.

Ваш И. Горбунов-Посадов. 20 ноября 1919 г.

На обороте:

В. Д. Бонч-Бруевичу

От И. И. Горбунова-Посадова.

Черные чернила, четверть листа. Ед. хр. 31. Л. 37.

27. *Без даты. Москва*

Елена Яковлевна Фортунатова

Одна из замечательнейших педагогов в России. Создательница превосходной экспериментальной школы.

Семейная. С детьми, мужем и братом занимает маленькую квартиру.

Муж — преподаватель Университета народного и школы 3-ей ступени. И она, и муж по роду занятий имели бы право еще на кабинеты в квартире, которых у них нет. Вместо этого их маленькую квартиру (8 кв. саженей) уплотняют, лишая их какого-нибудь отдыха после напряженных занятий.

Комиссариат народного просвещения выдал ей очередную грамоту. Местная власть ее презрела. Она направилась в жилищную комиссию. Там сказали, в такие дома (как их) с центральным отоплением будут вселять жителей из Марьиной рощи, а деревянные дома жителей Марьиной рощи будут ломать на топливо (sic!).

Так вот, возможно ли основательнице и руководительнице замечательнейшей школы для детей пролетариата надеяться на то, что у нее останется спокойный угол, или и ей, подобно другим, придется с детьми бежать куда-нибудь из Москвы, бросая свою работу?

Я писал о ней в Комиссариат просвещения по поводу охранной грамоты, а теперь теряю уж голову и не знаю, чем ей помочь,— ей, одной из полезнейших русских женщин.

Адрес ее: Бутырки. Новослободская ул. Д. Панина.

Елена Яковлевна Фортунатова.

И. Горбунов-Посадов

Записка на отдельном листе, черные чернила. Ед. хр. 31. Л. 38.

28. *25 ноября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Вероятно, вчера у вас было заседанье, но за мною автомобиль не мог приехать, так как сильно занесло снегом.

Поэтому пишу к вам.

Прежде всего очень, очень прошу вас, если возможно, позвонить ко мне и сказать, не получили ли вы какие-нибудь сведения о Маргарите Александровне Порецкой (сестра Сергея Ал.)[1], арестованной в Петербурге 5 сентября и 19 сентября перевезенной в Москву, вероятно, в концентрационный лагерь.

Родные ее умоляют меня узнать и помочь ей и переслали мне для нее деньги и вещи, а я до сих пор ничего не знаю. Я писал до вас (через

вас) Надежде Константиновне, прося ее помочь, но только от нее, вероятно, по болезни ее, никакого ответа

Ради Бога, узнайте о М. А. Порецкой и позвоните мне, если возможно,— я очень тревожусь о ней. Времена такие тяжелые и запутанные. Все может случиться. И сыпняк еще кругом! Ради Бога! Ведь за нею ничего ровнешенько нет. Одно недоразумение. Где она? Что с ней?

2) Отсылаю вам рукопись Дауге (?) о поэте Райнисе. Очень хорошая его работа о Райнисе, прекрасный этюд с такою любовью и чуткостью написанный. Хорошая будет книга в вашей серии.

Пожалуйста, дорогой, позаботьтесь, чтобы рукописи его были тщательно ему переданы. Спешу отослать, чтобы не задерживать.

3) Позволю себе напомнить доброе обещание ваше о дровах. Очень извиняюсь, но холод жестокий враг работы, а работать так надо!

4) Все не имею новостей об освобождении С. Д. Урусова, и что меня глубоко беспокоит, почему это все просьбы о нем не имели никакого результата?

Еще раз! Горячая просьба о М. А. Порецкой и просьба о дровах!

Мой телефон *23768.*

Не захожу сам, потому что на днях упал на улице и пока что больно спине, не могу еще далеко пойти. Жму руку!

И. Горбунов-Посадов
25 ноября 1919 г.

Черные чернила. Лист с оборотом. Ед. хр. 31. Л. 39.

[1] Порецкий Сергей Александрович (1860–1916) окончил Петербургский ун-т, преподавал историю и географию в гимназии К. Мая, читал лекции в Смоленской вечерней школе на Петербургском тракте. В 1897 г. проходил по делу «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», но был освобожден за отсутствием улик. Был выслан в Калугу, до 1907 г. лишен права преподавать. Оставил более 40 работ: руководства по различным ремеслам, публикации в детских журналах, в т.ч. в «Маяке». Второй муж Е. А. Караваевой-Порецкой. Семья Караваевых близка к Горбуновым-Посадовым, тесно связана с Н. К. Крупской, В. М. Величкиной по просветительской и подпольной работе.

29. *26 ноября 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Прошу вас отнестись с добрым вниманием к просьбе о Василии Михайловиче Новожилове, честном рабочем, мастере по ювелирной части, работающем теперь на железных дорогах, арестованном по недоразумению по делу, по которому он совершенно не виноват, о чем мне хорошо известно. Если нужно было бы поручительство, могли бы поручиться за него почтенные люди, и я также мог сделать это. Это, безусловно, честный и благородный труженик.

Заключение тяжело психически на нем сказывается. Если возможно, окажите ваше доброе содействие к его освобождению.

И. Горбунов-Посадов
26 ноября 1919 г.

Об этом человеке, повторяю, у меня самые лучшие сведения.

На обороте:
Управляющему делами Совнаркома
Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу
От И. И. Горбунова-Посадова.
Черные чернила, лист с оборотом. Ед. хр. 31. Л. 40.

30. *2 декабря 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Вы обещали дружески мне посодействовать, если будет возможно, устройству моего племянника не на фронтовой службе. Напоминаю, что он был из числа подписавших протест против империалистской войны и сидел за это.

Это глубоко искренний и правдивый молодой человек. Все написанное им совершенная и глубокая правда.

По его записке вы увидите его искренность, сердечность и дельность. Горячо рекомендую его.

В записке все сказано, так что только еще раз горячо прошу ему помочь, чего он глубоко достоин. Он будет прекраснейшим культурным работником. В культурной работе у него теперь и хорошая подготовка, и глубокое влечение и одушевленье. До педагогических курсов он превосходно работал среди дефективных.

Горячо надеюсь на доброе энергичное ваше содействие племяннику. Его мать, моя кузина, порою бывает чуть жива, и оставление сына в Москве имеет огромное для нее значение.

Ваш И. Горбунов-Посадов
2 декабря 1919 г.

Черные чернила, лист с оборотом. Ед. хр. 31. Л. 41.

31. *2 декабря 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Будьте добры, пожалуйста, напишите записку Манцеву *для меня лично* на счет провизии, отнятой у Вярьвильского Давида Васильевича, так как лежанье ее под печатями ставит и меня, как председателя Домового комитета, в самое тяжелое положение ответственности *за вымерзающую картошку и съедаемую мышами муку и крупу* — пропадающую для всех.

Вы обещали также устно сказать Манцеву.

Очень бы хотелось выручить Вярьвильских, переживающих тяжкую болезнь дочери. Помогите, дорогой.

Провизия отнята больше месяца назад и брошена в запечатанную комнату. Когда и где принимает Манцев?

Ваш И. Горбунов-Посадов
2 дек. 1919.

Черные чернила, 1 лист. Ед. хр. 31. Л. 42.

32. *19 декабря 1919 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень, очень прошу вас посодействовать освобождению советского служащего государственного контроля в Петрограде Евгения Осиповича Шкурко, арестованного по недоразумению, оправданного на суде и неизвестно почему продолжающего содержаться. Он психически расстроенный, к нему приближается сейчас рецидив психоза. Спасите его от помешательства. За него в Петрограде есть коммунистические поручительства.

Хлопочущая о нем сестра его — симпатичная давняя работница для народа рабочего в воскресных школах и т.д.

Очень на вас надеюсь.

Ваш И. Горбунов-Посадов
19 декабря 1919 г.

На обороте:
Воздвиженка. Д. Советов, кв. № 9.
Управление Совнаркома.
Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу
От И. И. Горбунова-Посадова.
Черные чернила, лист с оборотом. Ед. хр. 31. Л. 43.

33. *13 января 1920 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень, очень, очень прошу вас глубоко вникнуть в дело судящегося сейчас звенигородского учителя Максимова, обвиняющегося сейчас в (*нрзб*) процессов. Скажу только, в обвинении, возведенном на него, действовал всего успешнее Шпицберг. И этого достаточно. Дело это совершенно раздуто. Ерунде с (*нрзб*) придан характер контрреволюционного заговора. Из мухи сделали слона. Максимов самый обыкновенный учитель, по роду православный, не (*нрзб*) — ничего совершенно контрреволюционного. Нельзя ли воздействовать на оказание справедливости в этом направлении.

Горячо прошу вас выслушать подательницу, о чем очень прошу вас.

Когда глупостям (?) с мошкой придается характер заговора, государство, благодаря легкомыслию г<оспо>д Ш<пицберг>, может оказаться виновным (?).

Я уверен, что вы могли бы пролить ясный свет среди этих ревнителей (?)

Ваш сердечно

И. Горбунов-Посадов
13 января 1920 года.

Автограф, черн. чернила, штамп ж. «Свободное воспитание». Ед. хр. 32. Л. 1.

34. *28 марта 1920 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Прошу вас, если возможно, оказать внимание лицу, написавшему прилагаемое ко мне обращение, в смысле *пересмотра* его дела, т.к. лица Чрезвычайки, устроившие его заключение, были сами потом прогнаны и арестованы за лихоимство, а у него было небольшое торговое дело: и очевидно с него желали получить и, не получив, его запрятали.

Письмо это передаст вам бывший созаключенный его, очень порядочный человек *архитектор* Амлонг, освобожденный благодаря вашему доброму вмешательству и, освободясь, не забывающий своих оставшихся товарищей по заключению, что делает ему честь.

Всего доброго.

Ваш И. Горбунов-Посадов
28 марта 1920 г.

Автограф, черн. чернила. Ед. хр. 32. Л. 2.

35. *10 февраля 1920 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень присоединяюсь к ходатайству об освобождении Петра Ивановича Крашенникова. Я не представляю себе его вины — очевидно, не политической, так как он *чужд всякой политической деятельности* — потому что он пострадал уже очень сильно, пробыв в заключении почти целые *2 года*.

Я знаю о нем как о выдающемся специалисте по типографскому и вообще издательскому делу. Даже в тюрьме, где он содержался, он наладил хорошо работающую типографию.

По-моему, такого специалиста не только следует освободить из тюрьмы, но следует тотчас же использовать его как деятельного, энергичного работника — специалиста, который может быть весьма ценен в дни разрухи типографского производства.

Что касается до личности Крашенникова, то я знаю, что это человек, превосходно относившийся ко всем, работавшим в его доме. Я знаю это от двух моих работавших у него родственников, одна из которых передаст вам это письмо.

Было бы очень отрадно, если бы вы, дорогой Владимир Дмитриевич, посодействовали освобождению П. И. Крашенникова, который, вместо вредного для здоровья и бесполезного пребывания в тюрьме, мог бы немедля приступить к энергичной работе на свободе на общую пользу как выдающийся специалист.

Ваш И. Горбунов-Посадов
10/II 1920 г.

Двойной сложенный лист. На обороте: Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу.

Автограф, черн. чернила. Ед. хр. 32. Л. 3–4.

36. *18 февраля 1920 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Очень-очень-очень прошу вас дать добрые советы, указания и оказать всяческое ваше содействие подательнице, дочери Павла Александровича Буланже, Наталье Павловне, нежно заботящейся о больной и совершенно ослабевшей матери в очень трудных материальных условиях.

Нельзя ли ей как-нибудь устроить Марью Викторовну Буланже в какой-либо санаторий — это было бы, может быть, для нее спасением.

И еще! Нельзя ли придумать для Натальи Павловны какую-либо работу на дом, чтобы, пока мать дома, она могла не отлучаться от нее. Она работница, видимо, добросовестная (по специальности-то она агрономического направления и может и вообще тщательно работать).

Пожалуйста, дорогой Владимир Дмитриевич, поддержите девушку в ее святой заботе о бедной тяжело истощившейся матери.

Ваш сердечно

И. Горбунов-Посадов
8 февраля 1920 года.

Записка была сложена, на чистом поле: Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу.

Автограф, черн. чернила, лист с обрывом. Ед. хр. 32. Л. 5.

37. *14 марта 1920 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Всех не отмеченных крестиком клише в «живых числах» (они уже набраны) у нас не достает. Велите их немедля сделать. Это все мелочь.

Я думал их найти, но не найду. Затребуйте в Наркомпросе заказ на эту книжку повторно: тысяч 50–100 понадобится. Но экземпляр этот надо вернуть метранпажу Сахарову, так на книжке написано. Корректуру пусть почтут уж у Кушнарева, п<отому> что наша корректорша умерла[1]. Хорошо эту книжку быстро двинуть в виду принятого на нее требования. — Поторопите, дорогой, вместо инбук (*нрзб*) Ч-х и моей книги «Освобождение человека»[2].

Ваш И. Горбунов-Посадов. 14 марта 1920 г.

Автограф, оборванный лист на тонкой бумаге. Ед. хр. 32. Л. 6.

[1] Имеется в виду Александра Ивановна Борисова.

[2] Поэма И. И. Горбунова-Посадова «Освобождение человека», издание которой датируется 1918 г. по дате в предисловии автора. Судя по данному письму, книга вышла из печати в1920 г.

38. *18 марта 1920 г. Москва*

Адрес: Москва.
Кремль.
Управление Совнаркома.
В. Д. Бонч-Бруевичу
От И. И. Горбунова-Посадова.
18 марта.

Дорогой Владимир Дмитриевич, уезжаю только сегодня — задержала погода. Горячо прошу (ужасно!) распорядиться, чтобы поскорее выпустили мою книгу «Освобождение человека». Ваше слово оч<ень> много значит! А то уезжаю, страшно волнуясь о ее выходе. Затем прошу перевести мне (если возможно, в Полтаву) 10000 руб. (два раза по 5) почтою. Адрес: г. Полтава, Митрофану Семеновичу Дудченко[1] для меня (до востребования). Прошу теперь п<отому>, что деньги очень долго не доходят.

Еще раз обнимаю вас за все. Всем привет.

Ваш И. Горбунов

Открытка, карандаш. Ед. хр. 32. Л. 7–8.

Дудченко Митрофан Семенович (1967–1945), единомышленник Л. Н. Толстого, с которым переписывался с 1896 по 1910 г., общественный деятель, организатор Толстовского об-ва в Полтаве.

39. *20 марта 1920 г. Москва*

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Два дня меряю ногами Москву, все в хлопотах об отъезде, теперь в санитарном поезде. Окончательно обещали в субботу разрешения и проч. Ходить приходится с Девичьего поля на Страстной бульвар. Измучился я страшно, ноги без калош, только бы не заболеть.

Завтра я хочу послать утром пропитать для нас белье, а посушить белье можно уже в субботу, потому что поезд может пойти и в воскресенье. Возможно ли это? Возможно ли получить белье всего через сутки? Если нет, тогда м<ожет> б<ыть>, вы поможете просто на выдачу К. В. Носовой (моей посланной) новой порции насекомояда на нас троих, и мы уж дома как-нибудь сделаем. Так будет удобнее.

Затем я прошу вас на ее имя подписать и выдачу лекарств для меня и написать ей пропуск в Кремль, чтобы она могла совершить завтра то и другое. Но открыты ли будут аптека и санитарный отдел.

Это первая просьба.

Вторая просьба, это нельзя ли мне получить от Совнаркома бумагу, где говорилось бы приложенное — почти в этом роде. Это в случай, если я все же поеду через Харьков в пассажирском, и для санитарного в случае чего может пригодится при каких-либо осмотрах. Надеюсь, повторно Владимир Ильич не откажется подписать.

Это 2-е.

И 3-е. Это о свидании с вами, которое перед отъездом необходимо, чтобы поговорить о делах. Т. к. я поеду, м<ожет> б<ыть>, в воскресенье, то видится желательно либо в субботу вечером, либо в пятницу, когда назначите, но очень просил бы, если можно прислать за мной автомобиль, который мог бы доехать до угла нашего переулка (там дорога ладная), и меня бы предупредить по телефону, и я бы подождал его.

В субботу днем я должен быть на Страстном бульваре. Тогда я перед этим мог бы зайти к вам, но очень рано, от 9 до 9.30, или после часа дня — когда я пойду обратно. Тогда уж все равно мне идти пешком.

Может быть, удастся попасть на санитарный поезд, который пойдет с Николаевской товарной. Это будет гораздо удобнее доехать.

И. Горбунов-Посадов

Прошу все советские власти содействовать профессору Академии народного просвещения Ивану Ивановичу Горбунову-Посадову при проезде его в г. Полтаву с двумя его спутниками — Е. Коротковой[1] и А. Борисовой и провозу им с собой необходимого для него багажа (книги и вещи).

Автограф. Ед. хр. 32. 3 листа линованной бумаги, один с оборотом, черные чернила, машинопись расшифровки. Л. 9–12.

[1] Короткова Екатерина Евгеньевна (1879–1956), сестра Е. Е. Горбуновой-Посадовой, медицинский работник, училась на Высших женских курсах в Петрограде, затем в Швейцарии, где не закончила образования, считая необходимым начать работу и быть ближе к народу. Несколько лет работала с Д. В. Никитиным в больнице в Звенигороде. Затем — в Москве старшей медсестрой хирургического отделения Морозовской детской больницы. В 1953 г. награждена Орденом Ленина.

40. *17 февраля 1922 г. Полтава*

Полтава. 17 февраля 1922.

Дорогой Владимир Дмитриевич!

Шлю вам сердечный привет! Два года прошло с тех пор, как я уехал из Москвы, и мы с вами с моим отъездом точно умерли друг для друга Я писал вам несколько раз, но от вас никогда не получал никакой вести. Я точно умер для вас и для Комитета памяти Веры Михайловны, с тех пор как я выехал из Москвы. Никаких ни душевных, ни деловых отношений Комитет не стал вести со мною после моего отъезда,— точно, повторяю, я умер для Комитета. Но я был жив, ломал голову над этим, и до сих пор это остается для меня глубокой загадкой. Единственно, чем могу объяснить это — это каким-нибудь трудным комплексом забот для вас. С грустью узнал я впоследствии (все по слухам и по слухам) о прекращении деятельности издательской Комитета, хотя уже 2 года тому назад она, вследствие оставления Комитетом меня без всяких ответов и оповещений, уже прекратила (*нрзб* — совсем?) для меня.

Я не мог и не могу подумать о прекращении вашего личного старого доброго ко мне отношения. И старые воспоминания, и наше глубокое соединение в памяти дорогой Веры Михайловны были, казалось мне, таковы, что ничто не могло и не может, надеюсь, их уничтожить.

А теперь, когда чувствуешь всегда себя так особенно близким к смерти, теперь все, особенно старые дружеские отношения, особенно дороги.

Надеюсь, вскоре увидимся в Москве. А пока очень прошу вас передать нашему сотруднику М. О. Хорошу все оставленные в Комитете корректуры наших изданий, которые я оставил у вас перед отъездом из Москвы. Список их я ему передал. В настоящее время я приступаю к посильному возобновлению нашей издательской работы, хотя бы в самых скромнейших размерах. Очень больно было для меня это прямое прекращение нашей деятельности в эти два года, особенно когда пропали все надежды на выход наших изданий в части их и в какой-либо другой форме. — Это одна просьба. А другая просьба — это, если возможно, разыскать маленький сверточек (и при нем веер), содержащий некоторые дорогие по памяти реликвии нашей семьи и семьи покойного друга моего доктора Караваева (убитого в Екатеринославле)[1]. Простите, дорогой, что я тогда обременил вас этим. И сверточек этот также передать М. О. Хорошу, который сохранит их в толстовском музее до нашего переезда.

Жена моя просит передать вам сердечный привет, а дочери мои шлют Лёличке дружеские приветы. Скажите ей, что скоро, вероятно, они увидятся с нею.

В смысле литературной продуктивности мне не удалось так поработать в эти 2 года, как я мечтал, но все же подготовил материал для нескольких больших работ художественных и мыслительных. Многое подготовил в углубленной душевной работе.

И так, надеюсь, до скорого свидания.

Я так и не знаю даже, вышел ли предполагающийся томик надгробных речей о Вере Михайловне, где должно было появиться и слово Елены Евгеньевны. Как-то работает школьно-санаторный отдел? Продолжает ли в нем жить деятельный светлый дух Веры Михайловны? Увы, люди так жестоко забывчивы!

Еще и еще раз всего вам, дорогой Владимир Дмитриевич, самого светлого и доброго. Я был рад увидеть вашу подпись под обращением к сектантам и с грустью читал некоторые места в вашей статье о толстовцах, написанных, увы, (и) как будто в тоне неприязни. А я, повторяю, чем ближе к смерти, тем все больше и больше бесконечно дорожу дружественностью. Перед отъездом вы обещали мне портрет Веры Михайловны. Если можно, передайте и его Хорошу. Надеюсь, в одной большой, важной для меня работе нарисовать ее образ со всей любовью, на какую лишь я способен, для широких и глубоких кругов читателей.

Любящий вас
И. Горбунов-Посадов

Полтава
Улица Шевченко
Кв. д-ра А.А.Вилькенштейна[2]
В. Д. Бонч-Бруевичу (рукой Бонч-Бруевича — *Е. М.*).

Автограф, красными чернилами. Сдвоенный лист (4стр.). К. 456. Ед. хр. 8. Л. 1–2.

[1] Караваев Александр Львович (1855–1908), врач, общественный деятель, первый муж Е. А. Караваевой. Сын крестьянина, окончил гимназию в Екатеринбурге, Мед. Академию в Петербурге, земский врач Екатеринбургского уезда Пермской обл. С 1880 г. врач Шлиссельбургского участка в Петербурге. За близость к рабочим выслан в 1887 г. Работал в Минске, Екатеринославе, был учредителем Крестьянского союза, в 1906 г. избран во II Думу: речи по земельному вопросу, брошюра «Партии и крестьянство» под псевдонимом Львов. Ростов-Дон, 1906. Убит черносотенцами в 1908 г.

[2] Ошибка в написании фамилии — надо: *Волкенштейн*. Волкенштейн Александр Александрович (1852–1920-е), земский врач, с юности близок к революционному движению. В первом браке с известной революционеркой Людмилой Александровной Волкенштейн (урожд. Александровой), проходившей по одному делу с Верой Фигнер. После ее высылки на каторгу выезхал за ней на Сахалин, работал врачом в тюремной больнице. В 1906 г. после ее освобождения Волкенштейны выехали во Владивосток, где Людмила Александровна погибла во время одной из антиправительственных демонстраций. Волкенштейн уехал в Полтаву, где работал врачом и участвовал в организации и деятельности Толстовского общества. Идеями Л. Н. Толстого был увлечен с 1879 г.

В. Н. ЧИСНИКОВ
г. Киев (Украина)

«Дело» о тайном письме киевского арестанта А. А. Васильева графу Льву Толстому

«...Распечатка корреспонденции составляет один из средств тайной полиции и при том самый наилучший, потому что он действует постоянно и охватывает все пункты империи».

А. Х. Бенкендорф (1826 г.)

В Центральном государственном историческом архиве Украины хранится «Дело по письму товарища министра внутренних дел, заведующего полицией о слабом надзоре за политическими арестантами в Киевском тюремном замке, выявленному посылкой Антоном Васильевым писателю графу Льву Толстому письма» (1895 г.)[1]. Находящиеся там материалы дают возможность ознакомиться с малоизвестным эпизодом из жизни великого русского писателя и внести некоторые уточнения в его творческое наследие.

Судя по документам, хранящимся в деле, 1 февраля 1895 г. Киевский губернатор А. П. Игнатьев получил письмо, подписанное товарищем (заместителем) министра внутренних дел, заведующим полицией и командующим Отдельным корпусом жандармов генералом Н. И. Шебеко. В письме за № 753 от 29 января сообщалось:

«Совершенно доверительно.

Его Сиятельству

Графу А. П. ИГНАТЬЕВУ

Милостивый Государь

Граф Алексей Павлович.

Препровождая при сем совершенно доверительно копию полученного совершенно секретным путем письма, содержащегося в Киевском тюремном замке политического арестанта Антона Антонова

Васильева к писателю графу Льву *Толстому*, свидетельствующего, что арестованные в названной тюрьме лица имеют возможность вести секретную переписку вне контроля тюремного начальства, имею честь покорнейше просить Ваше Сиятельство не отказать в распоряжении в тщательном и совершенно негласном расследовании обстоятельств этого дела, а также в принятии зависящих мер к прекращению на будущее время политическим арестантам возможности тайных сношений с лицами, находящимися на свободе.

В ожидании отзыва Вашего Сиятельства, прошу Вас, Милостивый Государь, принять уверение в совершенном почтении и преданности.

Товарищ министра внутренних дел,

Заведующий полицией Шебеко»[2]

Из прилагаемой «Выписки из письма А. Васильева...» губернатор Игнатьев убедился, что действительно, письмо графу Льву Толстому в Москву было тайно направлено политическим арестантом Антоном Васильевым из стен подведомственного ему учреждения — Киевского тюремного замка, именуемого обывателями Лукьяновской тюрьмой. Заметим, что содержание этого письма толстоведам неизвестно[3], поэтому процитируем вышеуказанный документ полностью:

«Выписка из письма А. Васильева, Киев, от 12 января 1895 г., графу Льву Николаевичу Толстому, в Москву, Хамовники, собственный дом.

Прошло уже столько времени с тех пор, как мы виделись, что считаю нужным напомнить некоторые подробности нашего знакомства: я, Васильев, привезший к вам <письмо> от Л. Ф. Потом я уехал заграницу, и теперь, по возвращении арестован и посажен в Киевскую тюрьму по обвинению в принадлежности к революционному обществу

Я и мои товарищи просим вас употребить ваше влияние на *Кузминского*, дабы он ускорил наше дело. Для некоторых моих товарищей *предварительное заключение* тянется 20 и более месяцев. Один из них, *Хинчук*, кашляет кровью, другой, *Розанов*, со страшно развитой анемией. А им еще предстоит заключение. Два года томительной неизвестности, два года лишения свободы, это такая мука, которую может представить себе только переживший ее. Я прошу вас повлиять на Кузминского и просить еще о замене заключения в кресте ссылкой в Сибирь. Из этого вы можете видеть, каково наше положение здесь, что даже Сибирь нам кажется обетованной страной.

О себе скажу — я, морально, чувствуя себя хорошо; идея становится все ясней и ясней. Уверенность, что она не сегодня-завтра осуществится, думается, все крепче и крепче. Эту уверенность не сломят ни тюрьма, ни каторга, ни сама смерть.

Письмо это написано секретно, с громадным риском и громадной ответственностью в том случае, если факт отправки этого письма дойдет до нашего тюремного начальства. Вы не упоминайте о нем в своем ответе, который вы адресуйте в Киевское Жандармское Управление, для передачи заключенному в тюрьме Антону Антоновичу Васильеву»[4].

Как видим, то чего так боялся киевский арестант, случилось. О его «секретном» письме ко Льву Толстому стало известно полиции. Почему так произошло?

Со слов генерала Шебеко известно, что письмо Васильева было получено «совершенно секретным путем». За этим выражением речь, безусловно, шла о «черных кабинетах», которые занимались перлюстрацией корреспонденции не только иностранцев, но и подданных Российской империи.

Следует отметить, что, начиная с конца XIX в., вся корреспонденция Л. Н. Толстого, которая поступала писателю и которая шла от него, как в Москве, так и в Ясной Поляне. по указанию спецслужб подлежала перлюстрации. Об этом свидетельствуют многие архивные материалы департамента полиции. Например, 5 июня 1901 г. заведующий Особым отделом департамента полиции Л. А. Ратаев направил начальнику Московского охранного отделения С. В. Зубатову «Выписку из письма графа Л. Н. Толстого, Ясная Поляна, от 26 мая 1901 г., к графине С. А. Толстой, в Москву». В сопроводительном письме с грифом «Секретно» он писал:

«Милостивый Государь

Сергей Васильевич.

Имею честь совершенно доверительно препроводить при сем к Вашему Высокоблагородию для соображений выписку из полученного агентурным путем письма графа Льва Толстого.

Примите, Милостивый Государь, уверение в совершенном почтении и преданности.

Заведующий Особым Отделом Департамента полиции,

Чиновник особых поручений V класса Л. Ратаев»[5].

О перлюстрации писем Л. Н. Толстого откровенно писал в своих мемуарах бывший директор департамента полиции А. Т. Васильев. В частности, он подчеркивал, что «на протяжении некоторого времени все письма Льва Толстого распечатывались и фотографировались цензором, а некоторые с его посланий, в которых Толстой высказывал свои антивоенные взгляды, были представлены на рассмотрение Императору»[6].

Однако возвратимся в киевскому «Делу». Ознакомившись с министерской депешей, губернатор Игнатьев в тот же день дал поручение киевскому губернскому тюремному инспектору провести служебное

расследование с целью установить виновных, которые дали возможность политзаключенному Васильеву, содержавшемуся в Киевской тюрьме, послать без разрешения тюремного начальства письмо графу Льву Толстому. При этом Игнатьев требовал от подчиненного принять самые решительные меры «по прекращению всяких возможных тайных сношений политических арестантов с лицами, которые находятся на воле». Таким образом, в канцелярии Киевского губернатора и появилось «*Дело* по письму товарища министра внутренних дел заведующего полицией о слабом надзоре за политическими арестантами в Киевском тюремном замке, выявленное посылкой Антоном Васильевым писателю графу Льву Толстому письма».

Служебное расследование по данному делу было поручено провести губернскому тюремному инспектору действительному статскому советнику Прокоповичу. Он установил, что согласно существующим правилам арестанту разрешается посылать письма и прошения 4 раза в неделю: в понедельник, среду, четверг и пятницу. После написания письма в специальной камере под надзором присутствующего помощника дежурного по тюрьме, арестант возвращается в свою камеру. При этом помощник дежурного следит, чтобы он не вынес с собой письменных принадлежностей. Написанные письма и прошения отправляются прокурору судебной палаты на его усмотрение и дальнейшее направление. Следовательно, делал вывод тюремный чиновник, невозможно допустить, чтобы политический арестант Васильев ухитрился написать письмо, о котором идет речь, в камере тюрьмы. Если такое произошло, то в этом виновный кто-то из лиц тюремного надзора мужского пола.

Допрошенные по поводу написания и передачи на волю письма Васильева тюремные надзиратели своей вины не признали. Один из них, Кужилев, высказал предположение, что это мог сделать выводной надзиратель Сучков. 1 февраля он был изобличен в проносе вина политзаключенному Розанову и на следующий день самовольно оставил службу.

В результате проведенного обыска в камере № 14, где содержался Васильев с 30 декабря 1894 г., был найден и изъят карандаш величиной в 2 сантиметра и отрывок от оберточной бумаги, но «...ни пера, ни чернил, ни бумаги в камере Васильева не было найдено». Тюремной администрацией Васильев характеризовался человеком молодым, но «весьма развитым и хитрым». В своем заключении Прокопович отмечал, что материалы служебного расследования с большой достоверностью говорят в пользу того, что именно Сучков есть главным виновником и возможно именно он принес арестованному Васильеву письменные приборы и бумагу для написания письма[7].

4 февраля проверяющий доложил губернатору о выполнении его поручения и «оргвыводах», которые были осуществлены по результатам служебного расследования. В частности, сообщалось об увольнении со службы выводного надзирателя политического отделения Терентия Сучкова, а также дежурного Легулеева, который пропустил Сучкова в прогулочный дворик женского отделения. Помощнику начальника Киевской тюрьмы Пономареву предложено до 1 апреля представить рапорт об освобождении от занимаемой должности. При этом губернатору сообщалось, что на протяжении 1894 г. из Киевского тюремного замка было уволено 39 лиц за различные нарушения.

О результатах расследования и принятых мерах Киевский губернатор Игнатьев доложил столичному начальству и 10 февраля надзорное производство по делу о письме арестанта Васильева к графу Льву Толстому было закрыто.

Необходимо отметить, что перлюстрированное жандармами письмо Васильева Лев Николаевич получил. 15 января он дал ему ответ на почтовой открытке. «Случайно узнал, что вы находитесь в заключении в Киевской тюрьме. — писал он. — Очень бы желал, чем могу, облегчить ваше положение. Я знаю, как тяжело для людей нервных одиночное заключение, и поэтому всегда особенно желал служить людям, находящимся в вашем положении... Напишите мне, если можете. Любящий вас Лев Толстой». На открытке, как и советовал ему Васильев, он написал адрес: «Киев. В Киевское жандармское управление, для передачи заключенному Антону Антоновичу Васильеву»[8]. В тот же день Лев Николаевич написал письмо и А. М. Кузминскому, в то время занимавшему должность председателя Киевского окружного суда, прося Александра Михайловича ускорить решение дела и заменить Антону Васильеву тюремное заключение ссылкой.

Почтовая открытка с ответом Толстого к арестанту Васильеву не дошла. Она была задержана Киевским губернским жандармским управлением и переслана в департамент полиции. Начальник Киевского ГЖУ в сопроводительном письме от 27 января 1895 г. писал, что полученное письмо графа Толстого, судя по его содержанию, он «не нашел удобным выдать таковое по принадлежности»[9].

Непосредственное участие в судьбе Васильева приняла и супруга писателя С. А. Толстая, гостившая в Киеве у сестры в апреле 1895 г. В своих мемуарах Софья Андреевна вспоминает: «...Когда я приехала в Киев, Лев Николаевич мне сказал, что там в тюрьме сидит очень молодой человек, революционер, некто Васильев, и нельзя ли смягчить его участь. С изумленным сердцем, готовым на всякое доброе дело, я рада была хлопотать о Васильеве. Для этого зять мой А. М. Кузминский вызвался пригласить вечером князя Ливена, тогдашнего прокурора Палаты. Князь Ливен был очень любезен, устроил мне свидание

с молодым Васильевым, обещал сделать все от него зависящее, чтобы облегчить участь Васильева... Васильева привезли, кажется, в участок. Он говорил потом, что после стольких месяцев тюремного заключения он почувствовал восторг от этой поездки, весной, с чудным видом всего расцветающего Киева. Но Васильев произвел на меня нехорошее впечатление. Он был задорен, легкомыслен, по-видимому, совсем без всякой религии. Я пыталась его смирять, призвать к более доброму отношению к людям и к более религиозному состоянию души, но он как-то иронически улыбался. Вместо каторги его сослали просто в Архангельскую губернию, но потом кто-то рассказал, что неизвестно куда бежал»[10].

Об Антоне Антоновиче Васильеве известно, что он родился в 1873 г. в г. Павловске Петербургской губернии. Его мать А. П. Васильева была актрисой, а отец — командир лейб-гвардии казачьего полка генерал-майор Новицкий. В 1892 г. Антон окончил Александровский кадетский корпус, однако от дальнейшей армейской службы отказался и был зачислен студентом Петербургского горного института. Не проучившись и года, он был исключен из института за революционную деятельность и подвергнут негласному полицейскому надзору.

В начале июля 1893 г. Васильев посетил Ясную Поляну и познакомился с Л. Н. Толстым, передав ему письмо от знакомой писателя Л. Ф. Анненковой. Отвечая ей 10 июля, Лев Николаевич писал: «Дорогая Леонила Фоминична. Спасибо вам за ваше доброе отношение к Васильеву. Вы своим добрым сердцем и ясным умом поняли его лучше меня и нашли, что делать. Я не беру на себя дать совет, но верю вам. Он мне тоже понравился: натура хорошая, но уж очень изуродована, изломана...» (66, 364). 8 октября того же года Толстой сообщал ей: «... Васильев первое впечатление, начал горячо и самоуверенно спорить с Никифоровым, доказывая социалистические теории, произвел нехорошее, но потом чем больше я его видел, тем больше полюбил его. Совершенно согласно с вами повторяю: милый мальчик. И жалко его, и страшно за него. Наши также полюбили его» (66, 403).

О пребывании в Ясной Поляне поднадзорного Васильева тайной полиции было известно, о чем свидетельствует секретный документ охранки «Сведения о графе Толстом лично, находящиеся в делах департамента полиции» от 28 июля 1896 г. В нем, в частности, упоминается, что «...в 1894 г. у Толстого проживал студент Антон Васильев, связанный с эмигрантами-революционерами»[11]. Жандармам также удалось перлюстрировать переписку Л. Ф. Анненковой и узнать, что «разыскиваемый Антон Васильев думает вернуться в Москву, а Анненкова озабочена тем, как его укрыть, о чем переписывается с Изюмченко и Дунаевым. Несколько позднее департамент полиции сообщил: Васильев в Москве, посещает Татьяну Толстую»[12]

Спустя некоторое время Васильеву удалось нелегально выехать в Швейцарию, где он поддерживал связи с российскими социал-демократами, которые находились в эмиграции, в том числе и со знакомой писателя В. М. Величкиной. В письме к ней от 5 января 1894 г. Лев Николаевич писал: «Поклонитесь Васильеву. Он милый малый» (67, 13). О том, что Васильев находится за границей охранка узнала от... В. М. Величкиной. Бывший сотрудник департамента полиции Л. П. Меньщиков в своих мемуарах утверждал, что корреспонденция Величкиной тщательно контролировалась сотрудниками охранки. Именно благодаря перлюстрации охранка знала, что, находясь за границей, она «была замечена в знакомстве с эмигрантом Антоном Васильевым...»[13]

В декабре 1894 г. Антон Васильев был арестован российскими жандармами за нелегальный переход границы и содержался в Киевской тюрьме. 16 августа 1895 г. он был выслан в Архангельскую губернию сроком на три года, с воспрещением проживания в столицах, столичных губерниях и университетских городах. Отбывая ссылку в Холмогорах, Васильев привлекался к суду за богохульство, но был оправдан. Следующим местом его ссылки стал Шенкурск, где он также «проходил» по делу о кассе взаимопомощи ссыльных. И на этот раз ему повезло: в декабре 1898 г. дело было прекращено за недостаточностью улик. Вскоре Васильев переехал из Шенкурска в Архангельск, где устроился на службу в губернскую казенную палату.

В 1899 г. ему разрешили временное проживание в Петербурге, куда он и возвратился в начале августа того же года. В столице бывший ссыльный начал работать в газете В. В. Барятинского «Северный курьер», заведуя одним из отделов. При этом он тесно сотрудничал с редакцией журнала «Жизнь», публикуя статьи под собственным именем и псевдонимом «А. Сурков».

В начале осени 1900 г. издатель и редактор журнала «Жизнь» В. А. Поссе, желая напечатать драму Толстого «Живой труп» и опасаясь, что рукопись может попасть к другим издателям, поручил Васильеву вести с писателем личные переговоры. Вскоре Поссе получил от Васильева телеграмму: «Толстой согласен, должны провести через цензуру»[14] Обрадованный редактор 3 октября направил Льву Николаевичу благодарственное письмо, которое вызвало у писателя недоумение. «...Васильев, вероятно, меня не понял,— отвечал он Поссе 6 октября,— или вы не поняли его. Я не только не обещал драмы, которой у меня нет, но и *ничего не обещал*. Очень сожалею, что это так, но *я не могу* иначе. Я дал прочесть ему одно место из нецензурной статьи, говоря, что это я бы мог отдать. Вот и все. Пожалуйста, не сетуйте на меня...» (72, 482).

В начале 1901 г. Васильев привлекался в качестве обвиняемого по делу о Комитете рабочей организации Петербургского Союза борь-

бы за освобождение рабочего класса. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило его выступление на нелегальной вечеринке 28 января, организованной Комитетом для рабочих кружков Шлиссельбургского района столицы. Опасаясь ареста, он в марте 1901 г. сумел выехать за границу и дело в отношении его по согласованию министров внутренних дел и юстиции в июне 1902 г. было приостановлено до его явки или задержания.

Находясь в Париже, Васильев во второй половине 1902 г. инициировал создание революционной социал-демократической группы «Свобода», которая ставила своей целью объединение различных социал-демократических организаций, находящихся за границей. От ее имени Антон Антонович выпустил прокламацию «В единении сила». Позднее он порвал с социал-демократами и после октябрьской амнистии 1905 г. возвратился в Россию, где примкнул к партии конституционных демократов (кадетам). В течение 1906–1907 гг. проживал в Самаре, редактировал газету «Самарский Курьер», а после ее закрытия — «Волжское слово», печатные органы партии кадетов. Васильев избирался членом Самарского комитета кадетов, был делегатом от Самары на съезды этой партии. В 1906 г. выпустил брошюру «Крестьянские наказы Самарской губернии». В январе 1907 г. во время избирательной компании во вторую Государственную Думу был арестован за опубликование в «Самарском курьере» наказа крестьян с. Архангельского депутатам первой Госдумы. В мае того же года выездная сессия Самарской судебной палаты присудила редактора А. А. Васильева, обвиняемого в преступлении, предусмотренном ст. 129 Уголовного уложения, к штрафу с заменой недельным арестом при полицейском участке.

В 1908–1909 гг. Антон Антонович активно сотрудничал в петербургской газете «Слово» (72, 484). Под псевдонимом «А. Любимов» он опубликовал ряд беллетристических произведений в журналах «Русская мысль», «Вестник Европы», «Жизнь для всех» и т.д.

После Февральской революции Васильев снова уезжает в Самару, где его избирают членом Самарского комитета партии кадетов и членом так называемого Исполнительного комитета народной власти. От самарских избирателей он баллотировался кандидатом в Учредительное собрание. Дальнейшая судьба Антона Антоновича Васильева, одного из знакомых Толстого, к сожалению, остается неизвестной.

В заключение отметим, что материалы рассмотренного нами архивного дела дают основания внести некоторые уточнения в 67 том Полного (Юбилейного) собрания сочинений Л. Н. Толстого, где напечатаны письма писателя за 1894 г. Во-первых, в научном комментарии к письму Л. Н. Толстого к В. М. Величкиной от 5 января указывается,

что А. А. Васильев был арестован и посажен в Киевскую тюрьму *в начале* 1894 г. (67,14), хотя в действительности это произошло *в конце декабря* того же года. Во-вторых, в «Списке писем Л. Н. Толстого, тексты которых неизвестны» за *1894* г. указываются письма к А. А. Васильеву и А. М. Кузминскому от 16 января 1894 г. (67, 297), хотя они были написаны 15 января *1895* г. и их текст теперь уже известен.

---

[1] Центральный государственный исторический архив Украины (ЦГИА Украины). Ф. 442. Оп. 845. Д. 393. Л. 1–15.

[2] Там же. Л. 1 — об.

[3] *Опульская Л. Д.* Лев Николаевич Толстой. Материалы к биографии с 1892 по 1899 год. М., 1998. С. 188.

[4] ЦГИА Украины. Ф. 442. Оп. 845. Д. 393. Л. 2.

[5] ОР ГМТ. В / 6-а. Кн. 9401/9. Л. 71.

[6] *Васильев А. Т.* Охрана: Русская секретная полиция // «Охранка»: Воспоминания руководителей охранных отделений. М., 2004. Т. 2. С. 386.

[7] ЦГИА Украины. Ф. 442. Оп. 845. Д. 393. Л. 5–7.

[8] Литературное наследство. Т. 69. Кн. 1. С. 546 (публикация Р. Я. Бусс).

[9] Там же. С. 519.

[10] *Толстая С. А.* Моя жизнь: В 2 т. М., 2011. Т. 2. С. 408.

[11] *Опульская Л. Д.* Указ. соч. С. 188.

[12] *Меньщиков Л. П.* Охрана и революция. М., 1929. Ч. 2. Вып. 2. С. 19.

[13] Там же. М., 1925. Ч. 1. С. 208.

[14] *Поссе В. А.* Мой жизненный путь. М., 1929. С. 190.